This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 471898 DUPL

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

Михневич, Иванъ Порфирьевич.

КАРТИНКИ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ.

Бродячій Петербургъ.
Святочные разсказы.
Два Юмористическихъ романа.

Вл. Михневича.

Съ 10-тью картинками художника М. Е. Малышева, исполненными въ Вѣнѣ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ Ф. С. СУЩИНСКАГО
Екатерининскій каналъ, 168.

1884.

891.78
M635ka

Stacks
Exchange
Salt Shelf
10-26-71
898432-293

БРОДЯЧІЙ ПЕТЕРБУРГЪ.

Было бы въ высшей степени интересно и, во многихъ отношеніяхъ, важно для «отчизновѣдѣнія», еслибъ, кто-нибудь умудрился начертать полную и точную статистику и энтографію *бродячаго* Петербурга, подъ каковымъ слѣдуетъ разумѣть многочисленный, выдѣляемый городскимъ, главнымъ образомъ—интеллигентнымъ населеніемъ, весьма пестрый классъ всякаго рода и вида праздныхъ людей и дармоѣдовъ, съ наклонностями культированныхъ кочевниковъ, а отчасти и не имѣющихъ постоянной осѣдлости, «по домашнимъ обстоятельствамъ», праздношатаевъ и разгильдяевъ, коптителей небесъ и фланеровъ, con amore гранящихъ мостовыя и вылащивающихъ паркеты, и тому подобныхъ представителей разнородной «богемы» и уличной «публики», которыми кишитъ столица и безъ которыхъ, по крайней мѣрѣ на половину противъ нынѣшняго, были-бы пусты наши «публичныя» мѣста, сады, театры, кафе-шантаны, кафе-дансаны, загородныя гулянья и дачныя окрестности.

Къ сожалѣнію, численность и квалификація этого бродячаго Петербурга не приведены въ извѣстность и, хотя былъ какъ-то слухъ о предположеніи произвести однодневную перепись всѣхъ обитателей столицы, «не

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

Сановникъ не у дѣлъ (стр. 17).

I.

Сановникъ „не у дѣлъ.“

Слѣдуя, съ одной стороны, классификаціи Линнея, а съ другой—табели о рангахъ, нужно начать, конечно, съ самыхъ крупныхъ и наиболѣе привиллегированныхъ, по положенію, особей обозрѣваемаго разряда позвоночныхъ.

Нужно начать, значитъ, съ сановниковъ, потому что, хотя не доказано, чтобы въ хребтѣ у сановника было, напр., больше позвонковъ, чѣмъ у простого смертнаго, или, чтобы въ обладаніи сановника, кромѣ обыкновенныхъ пяти человѣческихъ чувствъ, находились еще какія нибудь высшія, спеціально этому званію присвоенныя, тѣмъ не менѣе, «отвѣтственное» положеніе каждаго истиннаго сановника, въ глазахъ «черни непросвѣщенной», обязываетъ его содержать себя такимъ приподнятымъ образомъ, какъ еслибъ у него, въ самомъ дѣлѣ, было и позвонковъ и чувствъ больше, противъ ординара, и ему ничего не стоило бы воспарить, напр., къ облакамъ, безъ помощи летательныхъ снарядовъ, или нырнуть на дно Фонтанки и просидѣть подъ водою полчаса, не дышавши...

Какъ увидимъ, эта отвѣтственная noblesse, обязывающая насъ отдать первое мѣсто въ нашихъ очеркахъ сановникамъ, причиняетъ имъ самимъ нерѣдко большія неудобства на поприщѣ бродяжничества и бонвиванства.

Тутъ можетъ возникнуть еще одинъ деликатный вопросъ:—мыслимо-ли, чтобы сановникъ, говоря вообще, находился въ бродячемъ состояніи, не имѣлъ «опредѣленныхъ занятій» и проводилъ свою драгоцѣнную жизнь въ презрѣнной праздности и въ отчужденіи отъ судебъ отечества?

Если говорить вообще, то конечно немыслимо, ибо, по самому вкоренившемуся въ насъ традиціонному представленію, вполнѣ подтверждаемому и портретными галлереями отечественныхъ мужей разума и совѣта, сановникъ имѣетъ повсечастно стремительный видъ, съ выраженіемъ неослабной готовности распорядиться или же, что еще чаще, онъ рисуется намъ въ пылу самой распорядительности. (На портретахъ: голова гордо и порывисто загнута, въ три четверти оборота, на сторону, взоръ пронзительно устремленъ въ верхній уголъ рамы, грудь выпячена колесомъ, правая длань, вооруженная свиткомъ, не то—подзорной трубкой, а въ экстренныхъ случаяхъ волшебнымъ жезломъ, творчески протянута надъ погруженной пока въ хаосъ, но долженствующей сейчасъ, по манію жезла, благоустроиться, «юдолью плача», лѣвая согнута и ея большой палецъ покоится на бортѣ форменнаго фрака между четвертой и пятой пуговицами, правая нога на отлетѣ, лѣвая упруго приподнята на носкѣ, какъ-бы въ готовности сдѣлать гигантское па учебнымъ шагомъ въ три пріема).

Но если съ основнымъ, догматическимъ понятіемъ сановника не вяжется ни бродяжничество, ни праздность, что,

безъ сомнѣнія, вполнѣ согласно и съ натурою вещей, то, къ сожалѣнію, нельзя не признать, что сановники, наравнѣ со всей земной тварью, подвержены тлѣнію и всѣмъ, сопряженнымъ съ этимъ процессомъ, печальнымъ матаморфозамъ. Напримѣръ, изъ исторіи и повседневной практики достовѣрно извѣстно, что бываютъ такіе случаи, когда сановники, въ порядкѣ постепенности, упраздняются: «остаются за штатомъ» и «не удѣлъ», «увольняются по прошенію» и безъ онаго (въ крайне рѣдкихъ случаяхъ), «выходятъ въ чистую отставку», съ надеждой и безъ надежды на «зачисленіе» и возобновленіе, а то бываетъ, что они даже и умираютъ... Что дѣлать?—Таковъ удѣлъ всѣхъ земнородныхъ!

Такимъ образомъ, вопросъ рѣшенъ, кажется, удовлетворительно, и—надѣюсь, послѣ этого никто не заподозритъ автора въ злонамѣренномъ измышленіи бродячаго и празднаго сановника, состоящаго «не у дѣлъ».

Такой сановникъ безспорно существуетъ и въ очень большомъ числѣ экземпляровъ, именно, въ Петербургѣ, такъ какъ Петербургъ, вопервыхъ, все-же столица, представляющая наиболѣе усовершенствованныя и многостороннія приспособленія pour passer le temps и для всевозможныхъ видовъ праздношатайства, а, во-вторыхъ, по своей обширности, онъ, лучше муромскихъ дремучихъ лѣсовъ, можетъ служить убѣжищемъ для сановниковъ, сконфуженныхъ своимъ упраздненіемъ и ищущихъ, поэтому, уединенія.

Вслѣдствіе этого, въ Петербургѣ водворяются на жительство упраздненные и подвергнувшіеся тлѣнію сановники, не только мѣстные, но и провинціальные, за незначительными исключеніями. Это объясняется еще, свойственной сановникамъ «не у дѣлъ», нѣкоторой честолюбивой мечта-

тельностью, поддерживающей въ нихъ пищевареніе и бодрость духа. Многіе изъ нихъ, не сознавая, что ихъ пѣсенка спѣта, продолжаютъ упорно питаться мечтою, нерѣдко совершенно фантастической, на «призваніе» вновь и «зачисленіе» въ ряды дѣйствительныхъ статскихъ сочинителей «исторіи государства россійскаго».

Для этого-то они и стекаются въ столицу, къ источнику «назначеній» и «зачисленій», и въ этомъ смыслѣ съ большимъ усердіемъ вылащиваютъ паркеты разныхъ великолѣпныхъ «пріемныхъ».

«Хожденіе» это представляетъ, собственно, одинъ изъ видовъ праздношатайства, которымъ утруждаются въ Петербургѣ весьма многіе «скитальцы», и въ томъ числѣ— не одни упраздненные сановники; но мы беремъ для нашего этюда сановника «не у дѣлъ», впавшаго уже въ періодъ безнадежности и болѣе или менѣе примирившагося съ своей грустной участью.

Разлагающійся сановникъ, въ состояніи безнадежности (имѣющей много степеней), не только не обладаетъ какими нибудь сверхъестественными чувствами, но даже перестаетъ отчасти владѣть и тѣми, которыми безвозбранно пользуются смертные самыхъ низшихъ ранговъ, включительно до обывателей, не имѣющихъ никакого ранга.

Онъ, напримѣръ, перестаетъ различать времена года, и вы можете встрѣтить его въ маѣ мѣсяцѣ въ шубѣ, а въ декабрѣ—въ лѣтнемъ пальтецѣ. Вообще, лѣтосчисленіемъ онъ начинаетъ пренебрегать, да и какое ему до него дѣло, если въ текущую лѣтопись «государства россійскаго» его имя не будетъ болѣе занесено? Это у него протестъ и месть неблагодарнымъ современникамъ... По той-же причинѣ, онъ

никогда не помнитъ ни дней недѣли, ни чиселъ мѣсяца, за исключеніемъ лишь числа, когда онъ получаетъ въ государственномъ казначействѣ пенсію или «пособіе», въ той или другой формѣ.

Внѣшній видъ его, съ перваго взгляда, совершенно въ порядкѣ, и сейчасъ-же видно, что это—сановникъ, положимъ, въ упадкѣ и въ уныніи, но сановникъ quand même. Таже величавость походки; то-же привычное выраженіе готовности распорядиться, «распечь» и «упечь»; тотъ-же, наконецъ, аппломбъ олимпійства, требующій, чтобъ передъ нимъ сторонились съ дороги и ежеминутно готовый ошарашить каждаго встрѣчнаго невѣжу зычнымъ окликомъ: «Знаете-ли милстивъ сссдарь, съ *кѣмъ* вы говорите?..»

Но при ближайшемъ обозрѣніи, вы замѣтите, что все это въ безнадежномъ сановникѣ какъ-то поистерлось и поизмялось, начиная съ подозрительной свѣжести манжетъ и перчатокъ. При ближайшемъ обозрѣніи, можетъ даже оказаться, что подъ этой оболочкой величавости и сановности движется олицетворенная безчувственность, въ которой ничего не осталось кромѣ примитивныхъ способностей семенить ногами, пучить глаза, жевать челюстями и, время отъ времени, испытывать притоки желудочныхъ и плотоядныхъ инстинктовъ. Все остальное: престижъ и сознаніе своей упраздненной сановности, даръ мышленія и слова, энциклопедія и законовѣдѣніе, даже самая грамотность—совершенно въ немъ атрофированы, за изъятіемъ ихъ изъ употребленія и за ненадобностью, и если остались ихъ слѣды, то только какъ результатъ долголѣтняго навыка.

Вообще, навыкъ у разочарованнаго сановника «не у дѣлъ»—вторая натура, и еслибъ не навыкъ, то пришлось-бы

устроить особое «сиропитательное заведеніе» для упраздненныхъ сановниковъ, въ которомъ ихъ кормили-бы молочной кашей съ ложки.

Все сказанное здѣсь относительно всѣхъ безнадежныхъ сановниковъ «не у дѣлъ», вообще, спеціально характеризовало и моего героя, отставнаго дѣйствительнаго статскаго сочинителя «исторіи государства россійскаго», Помпея Ивановича Децемвирова.

Помпей Ивановичъ жилъ здѣсь положительно, яко птица небесная, и постоянной осѣдлости не имѣлъ. Онъ, какъ пріѣхалъ сюда нѣсколько лѣтъ тому назадъ *налегкѣ*, такъ налегкѣ и остался, и вѣроятно такъ-же налегкѣ отправился во благовременіи и на Преображенское кладбище.

Пріѣхалъ-же онъ тогда изъ *своей* губерніи, послѣ какой-то очень скорой, очень безпощадной и очень непріятной для него ревизіи, которая, налетѣвъ подобно урагану, низринула его съ насиженнаго пьедестала не безъ срама и, притомъ, безвозвратно.

На первыхъ порахъ Децемвировъ сгоряча не повѣрилъ своему окончательному паденію и, съ курьерскимъ поѣздомъ, прискакалъ въ Петербургъ искать своего возобновленія и возстановленія на пьедесталѣ.

На петербургскомъ Олимпѣ у него была кое-какая «рука», съ помощью которой онъ и надѣялся выходить себѣ здѣсь воскресеніе изъ мертвыхъ. Начавъ «хожденіе», онъ думалъ, что это случится вдругъ, моментально; но проходили дни, недѣли, мѣсяцы и, наконецъ, годы, «а счастье», которое, казалось «было такъ близко, такъ возможно»—все болѣе и болѣе становилось для Помпея Ивановича маловѣроятнымъ, пока онъ постепенно не впалъ въ совершенно безнадежное состояніе, въ которомъ мы его и застаемъ.

По пріѣздѣ своемъ въ Петербургъ, онъ остановился въ отелѣ «Демутъ», въ увѣренности, что ему придется жить здѣсь недолго; но мы и въ моментъ нашего разсказа находимъ его въ числѣ «господъ пріѣзжающихъ» этого отеля, съ тою только разницей, что, со времени сознанія своей безнадежной упраздненности, онъ перемѣнилъ занимаемый имъ до той поры довольно роскошный и дорогой номеръ, на скромный, въ двѣ комнатки, за три рубля въ сутки.

Собственно, и эта цѣна была ему не по карману, потому что весь его бюджетъ составлялъ теперь какихъ-нибудь три, четыре тысячи въ годъ, да и что за радость, казалось-бы, жить постоянно въ гостинницѣ, по-цыгански, и это—послѣ сатраповскаго роскошества въ пышныхъ казенныхъ хоромахъ? Но Помпей Ивановичъ пересталъ мечтать о хоромахъ,—а главное, привыкъ къ отелю, привыкъ къ его незатѣйливому комфорту, къ его готовымъ удобствамъ, о которыхъ не нужно самому хлопотать, привыкъ къ «коррiдорной» прислугѣ и дорожилъ тѣмъ, что она называетъ его заочно «генераломъ», а при личныхъ сношеніяхъ титулуетъ «вашимъ превосходительствомъ» и обращается довольно подобострастно, если только не забывать ее поощрять, время отъ времени, «тринкгельдами».

Это была въ немъ не претензія къ суетному тщеславію, а скорѣе опять-таки одна привычка, воспитанная долголѣтнимъ фигурированіемъ на пьедесталѣ, окуренномъ губернскимъ ѳиміамомъ, и ея нарушеніе причиняло-бы ему просто рефлективную боль.

Жилъ Децемвировъ такимъ номадомъ налегкѣ еще потому, что ему рѣшительно некуда было «переѣзжать» и своего «дома» у него не существовало или, точнѣе

сказать, онъ самъ собой упразднился отъ долголѣтняго запустѣнія.

О своемъ семейномъ состояніи Помпей Ивановичъ не любитъ распространяться, но достовѣрно, что въ той губерніи, гдѣ онъ помпадурствовалъ, у него остались жена и дочь, вышедшая замужъ, во время силы papa, за мѣстнаго зажиточнаго землевладѣльца и пріютившая у себя бѣдную maman, пока papa будетъ хлопотать въ столицѣ о своемъ возстановленіи.

Возвратиться къ нимъ въ объятія, на лоно семейнаго счастія, въ качествѣ окончательно упраздненнаго и безнадежнаго, онъ, понятно, не можетъ—гордость, страхъ пренебреженія и насмѣшекъ не позволяютъ. Даже въ письмахъ къ роднымъ Помпей Ивановичъ, изъ-за этого побужденія, скрывалъ печальную истину, а въ послѣднее время старался переписываться съ ними какъ можно рѣже и короче, въ неопредѣленныхъ выраженіяхъ, да, и въ самомъ дѣлѣ, онъ такъ сжился съ выпавшимъ на его долю процессомъ тлѣнія, такъ свыкся со своимъ холостецкимъ пустынножительствомъ въ столицѣ, со своимъ непріютнымъ номеромъ въ гостинницѣ, со своими безцѣльными скитаніями по улицѣ и, наконецъ, со своей ежедневной, неизбѣжной партіей въ «винтъ» въ сельско-хозяйственномъ клубѣ, что его никуда не тянуло въ сторону съ наторенной, покойной колеи прозябанія и праздношатайства, и онъ въ полномъ правѣ былъ бы сказать о себѣ стихомъ Лермонтова:

Ужь не жду отъ жизни ничего я
И не жаль мнѣ прошлаго ничуть...

Полная безнадежность и равнодушіе усугублялись еще въ Помпеѣ Ивановичѣ довольно пожилымъ возрастомъ, хотя

постарѣлъ онъ и опустился какъ-то вдругъ, съ того момента, когда созналъ, что портрета съ него писать уже не будутъ для украшенія внутреннихъ стѣнъ публичныхъ зданій и картинныхъ галлерей!

Вотъ его обычный день, разсказавши который, мы изобразимъ все его житье.

Проснувшись утромъ, Децемвировъ звонилъ къ корридорному слугѣ, который, не спрашивая, зналъ, чего требуетъ отъ него пробудившійся «генералъ». Въ ожиданіи его, «генералъ» садился въ халатѣ, немытый и нечесанный, къ письменному столу; съ не обыкновенно озабоченнымъ и глубокомысленнымъ видомъ, отмыкалъ тутъ-же лежавшій шагреневый портфель, вынималъ изъ него бумаги, просматривалъ ихъ и вооружался перомъ.

Долго и внимательно испытывалъ онъ перо, чистилъ его раскепъ, пробовалъ на пальцѣ и, наконецъ, мокалъ въ чернила.

Слѣдовала длинная пауза глубокаго раздумья надъ потокомъ мыслей, который сейчасъ имѣлъ вылиться на бумагу...

Помпей Ивановичъ ближе подвигался къ столу, вторично макалъ перо и начиналъ энергично писать...

На работѣ этой заставалъ его слуга, внося на подносѣ трактирную порцію чая, и еслибы «генералъ», съ его приходомъ, не пряталъ поспѣшно своихъ бумагъ въ портфель, то тотъ могъ бы замѣтить, что всѣ письменныя занятія его превосходительства исчерпывались многократнымъ повтореніемъ подписи, съ росчерками: «Децемвировъ», «Помпей Децемвировъ», «Помпей Ивановичъ Децемвировъ» и т. д.

И это каждый день... Такова сила привычки!

Дѣло въ томъ, что Помпей Ивановичъ, въ качествѣ упраздненнаго сановника, давно вознамѣрился украсить страницы «Русской Старины» своими мемуарами и, дѣйствительно, началъ ихъ, подъ заглавіемъ: «Я и мое время»; но далѣе заголовка работа у него не шла.

Каждое утро принимался онъ за нее и, неощутительно для самого себя, кончалъ однимъ лишь художественнымъ воспроизведеніемъ своей подписи, по старой привычкѣ къ этому литературному занятію.

Къ чаю, вмѣсто сухарей и булокъ, Децемвирову приносили свѣжій нумеръ «Голоса», къ которому онъ тоже привыкъ и отстать не могъ, хотя давно пересталъ интересоваться успѣхами «дофина республики», Гамбетты, непринужденными ораторскими импровизаціями князя Бисмарка и, вообще, всей «иностранной политикой», а изъ «внутренней» его нѣсколько волновали и возбуждали одни только «назначенія», «перемѣщенія» и «производства». Когда онъ встрѣчалъ имена своихъ сверстниковъ и соперниковъ, идущихъ «въ гору», въ немъ просыпался обойденный и оскорбленный помпадуръ; но и то, какъ мимолетный уколъ.

— Все это пустяки, а, вотъ, гдѣ мы сегодня будемъ обѣдать?—мысленно заключалъ онъ чтеніе газеты и, пробѣжавъ бросившееся ему въ глаза на страницѣ объявленій извѣщеніе о привозѣ «свѣжихъ устрицъ и гомаровъ», начиналъ плотоядно чмокать губами.

Въ головѣ его возникалъ рядъ всезахватывающихъ вопросовъ, которые все болѣе заостривались, по мѣрѣ приближенія къ «адмиральскому часу»: не отвѣдать-ли въ самомъ дѣлѣ свѣжихъ устрицъ, послѣ которыхъ потребуется,

конечно, и бутылочка хорошаго «Шабли»? Потомъ маленькая прогулка... Кстати, сегодня и погода отличная... Затѣмъ, обѣдъ... Въ хозяйственный-ли клубъ идти, или... ба! да, вѣдь, Балашовъ въ Лѣтнемъ саду «открылся»... Надо провѣдать, каково онъ нынче кормитъ?.. И такъ, resumons: сперва въ Милютиномъ ряду устрицы, потомъ прогулка въ Лѣтнемъ саду, далѣе обѣдъ у Балашова, далѣе... Ну, тамъ увидимъ!

Вопросы слѣдовали за вопросами, и программа дня подвергалась многостороннему и обстоятельному обсужденію. Матеріалъ для этого у Помпея Ивановича былъ всегда богатый, потому что онъ постоянно находился au courant всѣхъ гастрономическихъ новостей Петербурга, хотя не всегда въ состояніи былъ ими пользоваться, по ограниченности своихъ средствъ.

Въ первомъ часу дня, онъ покидалъ свой номеръ и начиналъ свой курсъ бродяжничества. Въ неизмѣнномъ цилиндрѣ на головѣ, въ темнаго цвѣта перчаткахъ, въ несовсѣмъ свѣжемъ, но хорошо сшитомъ пальто, съ чисто выбритымъ подбородкомъ на поблекломъ, но солидно-величавомъ лицѣ, онъ степенно и важно выступалъ коротенькими шажками по тротуару, опираясь на трость или на зонтикъ и не безъ граціи закинувъ лѣвую руку за спину.

Отпечатокъ порядочности и сановитости лежалъ на каждомъ его движеніи и никогда ему не измѣнялъ. При взглядѣ на него, каждый думалъ, что, вотъ, государственный мужъ,—изможденный гемороемъ и худосочіемъ отъ великихъ думъ и непрестанныхъ трудовъ, едва урвавшій свободную минутку для прогулки и моціона, и никому не приходило въ голову, что это—одинъ изъ самыхъ полныхъ и неограниченныхъ праздношатаевъ интеллигентнаго Петербурга!

Единственный предметъ, который Децемвировъ весьма старательно изучалъ и наблюдалъ, это—собственный желудокъ. Онъ зналъ его въ превосходствѣ, берегъ, какъ зеницу ока, и холилъ, какъ мать свое дѣтище. Можетъ быть, даже онъ пересаливалъ въ этомъ ухаживаньи, потому что вѣчно пичкалъ себя какими-нибудь «крѣпительными» пилюлями, прочищалъ «слабительными» и, вообще, школилъ свой желудокъ на всякія манеры. За то и служилъ онъ ему великолѣпно.

Позавтракавъ въ часъ устрицами съ бутылкой «Шабли» и подремавъ, послѣ того, съ открытыми глазами, на уединенной скамейкѣ въ Лѣтнемъ саду, но съ такимъ разсчетомъ, чтобы во время отдыха желудокъ отогрѣвался на солнцепекѣ, Помпей Ивановичъ къ пяти часамъ уже мужественно шествовалъ подъ сѣнь Балашовскихъ маркизъ и навѣсовъ, съ совершенно дѣвственнымъ аппетитомъ.

Къ сожалѣнію, аппетитъ его далеко превосходилъ его рессурсы, и потому онъ довольствовался двухрублевымъ обѣдомъ, вмѣсто желаннаго трехъ съ половиною рублеваго. Всего обиднѣе было у Балашева то, что ограничивающіе свои прихоти гости обречены были на постоянную пытку сравнивать свою скудную трапезу съ пиршественнымъ изобиліемъ какого-нибудь, по сосѣдству обѣдающаго, Сарданапала.

— Вишь, по третьей рюмкѣ померанцовой горькой лакаютъ... мальчишки!.. Свѣжую икру, какъ кашу, ложками жрутъ... Тьфу!—досадливо размышлялъ Помпей Ивановичъ, искоса наблюдая за чревоугодіемъ какихъ то двухъ, по сосѣдству съ нимъ, раскутившихся юныхъ статскихъ юнкеровъ, въ то время, какъ передъ нимъ стояла единственная рюмка

презрѣнной «очищенной», да, въ видѣ «закуски», кусочекъ селедки и завядшая рѣдька.

Обѣдъ, понятно, не удовлетворялъ Помпея Ивановича, и онъ даже начиналъ ругаться, больше, впрочемъ, про себя.

— Вонъ, молокососамъ цыплятъ пронесли, а у меня— ржавая тетеричья нога прошлогодняго убоя... Скоты!—негодовалъ онъ, пристально, но, конечно, украдкой, слѣдя за всѣмъ, что подавалось «молокососамъ» и какъ они ѣли.

«Молокососы», между прочимъ, сейчасъ послѣ супа стали душить шампанское.

— Вотъ свиньи!—отъ всей души ругался Помпей Ивановичъ.—Понятія не имѣютъ, что и когда нужно пить, а—туда-же, на благородные напитки налегаютъ... Какъ, однако, они развращены!

Среди такихъ наблюденій и размышленій проходилъ немногосложный обѣдъ; но, чтобы подолѣе остаться in's Grüne, подышать свѣжимъ лѣтнимъ воздухомъ и, при этомъ, послушать музыку безплатно, Децемвировъ прочно водворялся на балашовскомъ стулѣ до самаго вечера, не взирая на негостепріимные взгляды прислуги, которые онъ отражалъ, въ случаѣ ихъ назойливости, грознымъ, уничтожающимъ взоромъ.

Все это время, онъ слушалъ, сквозь полудремоту, незатѣйливые польки и вальсы, прохлаждался зельтерской водой, а, главное, наслаждался лицезрѣніемъ живой красоты мимопроходившихъ сильфидъ Лѣтняго сада, составлявшихъ неизбѣжный и самый сладкій десертъ балашовскихъ обѣдовъ.

Помпей Ивановичъ, почти ежедневно бродяжничая по Лѣтнему саду, отлично изучилъ ихъ пріемы, манеры и тактику, запримѣтилъ наиболѣе пикантныхъ изъ нихъ и

встрѣчалъ ихъ уже, какъ старыхъ пріятельницъ, да и онѣ сами отличали его отъ другихъ «старичковъ» и—не прочь были иногда канальски подмигнуть ему, показать языкъ и сдѣлать глазки, такъ, что Помпея Ивановича иной разъ въ потъ бросало.:.

Не разъ закрадывались ему въ сердце грѣшные помыслы и на разъ уже готовъ онъ былъ устремиться за какой-нибудь, соблазнившей его, сиреной; но—noblesse oblige—каждый разъ воздерживало его отъ такого легкомыслія сознаніе своего сана, положимъ, упраздненнаго, но все-же сана.

Какъ онъ, солидный мужъ и, въ нѣкоторомъ родѣ, сановникъ, побѣжитъ за какой-нибудь вертопрашливой Катькой и скажетъ ей, среди бѣлаго дня: «Мамзель! перметте васъ проводить, силь вупле?..»

А, вдругъ, на эту самую сцену изъ за куста выйдетъ другой упраздненный сановникъ, товарищъ Помпея Ивановича по безнадежности и злосчастію, и захватитъ его на мѣстѣ преступленія?.. Стыдъ и позоръ!

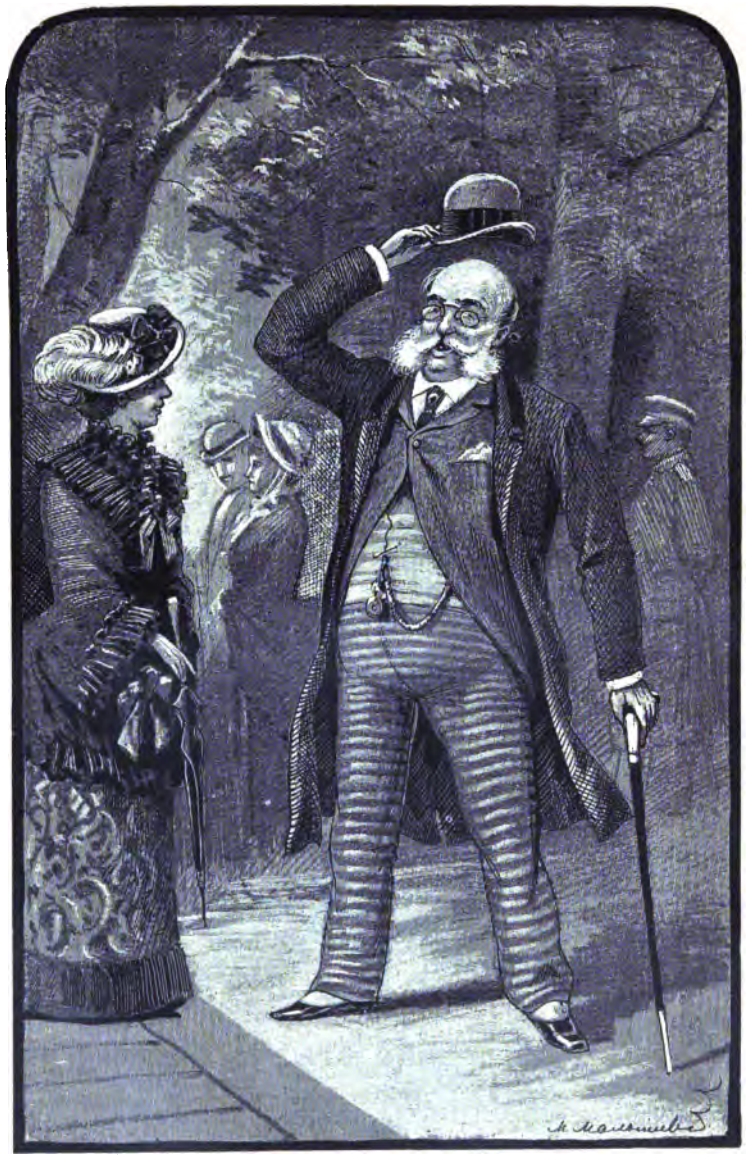
Такъ, въ силу этихъ соображеній, Децемвировъ никогда и не отваживался привести въ исполненіе свои грѣховныя поползновенія и мужественно противустоялъ соблазнамъ Катекъ. Онъ довольствовался тѣмъ, что обозрѣвалъ ихъ издали, мысленно снималъ съ нихъ «одежды и поясъ», внутреннимъ окомъ прозрѣвалъ всѣ ихъ сокровенныя прелести и лобызалъ ихъ въ воображеніи. На эту эстетическую гимнастику онъ былъ большой мастеръ и — ей-то, главнымъ образомъ, посвящалъ вечерніе часы между обѣдомъ и «винтомъ».

Въ девять часовъ онъ уже присутствовалъ въ сельскохозяйственномъ клубѣ, который, сказать къ слову, служитъ пріютомъ почти всѣхъ обрѣтающихся въ Петербургѣ упраздненныхъ сановниковъ.

Клубъ этотъ скучный и угрюмый; «сельское хозяйство» въ немъ воздѣлывается постолько лишь, поскольку «зеленое *поле*», на четырехъ ножкахъ, имѣетъ общаго съ дѣйствительнымъ, сельскимъ полемъ. Ѣда и карты, да въ промежуткахъ сплетни и разсказы о вліятельныхъ «сферахъ»— вотъ все содержаніе «общественной жизни» этого клуба! За то Помпей Ивановичъ тутъ среди *своихъ*, какъ дома. Есть съ кѣмъ подѣлиться своею безнадежностью и «убить» время съ удовольствіемъ.

Вечеръ, обыкновенно, посвящался «винченію» по четверти; но пока разыгрывались шесть роберовъ, сановники-партнеры успѣвали наговориться и наспориться, изъ-за неправильныхъ «объявленій» и ошибочныхъ «ходовъ», столько и такъ горячо, что и парламента имъ было ненужно.

Часа въ три Помпей Ивановичъ завершалъ курсъ своего дневнаго бродяжничества: спокойно укладывался въ постель и сладко спалъ до радостнаго пробужденія, чтобы снова, капля въ каплю, такимъ-же порядкомъ убить слѣдующій день.



Всеобщій „папочка“ (стр. 35).

II.

Всеобщій „папочка.“

Такихъ «папочекъ», которые, въ сущности, лишены всякаго чувства семейственности и чадолюбія и сами всю жизнь, до сѣдыхъ волосъ и могилы, остаются неисправимыми «блудными сынами», въ Петербургѣ безчисленное множество и — ровно столько, сколько числится въ немъ солидныхъ мужей, зрѣлыхъ лѣтъ и зажиточнаго класса, посвящающихъ свои досуги и избытки тайному адюльтеру... Посчитайте-ка? Умъ вскружится.

Нашъ герой разнится отъ этой категоріи «папочекъ», во-первыхъ, тѣмъ, что въ то время, какъ каждый изъ сихъ послѣднихъ пользуются обыкновенно титуломъ «папочки», болѣе или менѣе продолжительное время и болѣе или менѣе дорогою цѣною, у какой нибудь одной представительницы полусвѣта, онъ — «папочка» всеобщій, у всего почти полусвѣта высшаго сорта; во-вторыхъ, титулъ этотъ достается ему большею частью безъ всякаго съ его стороны гонорара, на основаніи совершенно платонической интимности и есть только результатъ его необыкновенной популярности среди «милыхъ, но погибшихъ созданій».

Передъ нами бродяга профессіональный, на лбу котораго, какъ-бы, начертанъ извѣстный афоризмъ «хлѣба и зрѣлищъ», въ парафразѣ—«зрѣлищъ и женщинъ».

Что касается «хлѣба», то какъ и гдѣ онъ добываетъ его для своего довольно роскошнаго пропитанія—это секретъ, который быть можетъ могла-бы намъ повѣдать зазорная хроника столичныхъ тайныхъ картежныхъ и рулеточныхъ притоновъ, гдѣ, подъ видомъ «честной» игры, спеціально ощипываются «пижоны» изъ «золотой» молодежи, въ томъ числѣ—«тятенькины» сынки, транжирящіе въ столицѣ родительскія «тыщи».

Но мы этого деликатнаго пункта касаться не будемъ, тѣмъ болѣе, что господинъ Рѣзвовъ (имя нашего «папочки») пользуется репутаціей вполнѣ «порядочнаго» человѣка изъ «хорошаго» общества.

— Да *мы* на это имѣемъ и всѣ права. Было время когда *мы* блистали въ свѣтѣ, имѣли прекрасныя связи, быстро достигали по службѣ «степеней извѣстныхъ», отличались въ походахъ на Красный Кабачекъ и, вообще, мѣтили высоко... Положимъ, карьеру *мы* испортили и попромотались; но въ насъ остался неувядаемый аппломбъ «порядочности», генеральская осанка, «благородныя черты», теперь уже поношеннаго, но нѣкогда мужественно-красиваго лица, съ марсовскими усами и бакенами, посеребренными почтенной сѣдиною; остались и кое-какія знакомства на Олимпѣ, весьма невредныя «въ минуту жизни трудную»...

Главное же, что осталось въ Рѣзвовѣ отъ лучшихъ временъ и всосалось ему въ плоть и въ кровь—это бонвивански-кавалерскія наклонности къ зрѣлищамъ и «бабенкамъ». Съ этой стороны, онъ извѣстенъ едва-ли не всему «интелли-

гентному» Петербургу вообще и положительно всему, столичному demi-mond'у, съ одной стороны, и, съ другой всѣмъ столичнымъ артистамъ и, въ особенности, артисткамъ.

Нѣтъ такого театра, кафе-шантана и увеселительнаго мѣста, нѣтъ такого «дебюта», «бенефиса», «бала», «маскарада» и вообще сколько-нибудь чрезвычайнаго зрѣлища, включительно до зрѣлищъ публичной казни, гдѣ представлялась-бы малѣйшая возможность не встрѣтить Рѣзвова. Всюду онъ неизбѣженъ и непреложенъ, какъ укоръ совѣсти!

Какъ ужь онъ изловчается вездѣ поспѣвать—аллахъ вѣдаетъ; но достовѣрно, что его нерѣдко можно встрѣтить въ одинъ и тотъ-же вечеръ, напр., и на музыкѣ въ Павловскѣ, и на «дебютѣ» Луизы Филиппо въ «Демидронѣ», и на новой опереттѣ въ «Ливадіи» и еще гдѣ-нибудь.

Такая юркая погоня за эстетическими ощущеніями и зрѣлищами, преодолѣвающая даже физическія препоны времени и пространства, должна-бы предполагать необыкновенную подвижность, впечатлительность и большую художественность натуры, а, между тѣмъ, нельзя представить болѣе апатичнаго и равнодушнаго и менѣе проницательнаго зрителя, какъ Рѣзвовъ.

Плавно, не торопясь и осанисто неся передъ собою свое брюшко, взойдетъ онъ въ театръ, безъ шуму займетъ свое мѣсто, всегда въ первыхъ рядахъ креселъ, и, вскинувъ на породистый носъ черепаховое пенснэ, безъучастно устремитъ на сцену свои какъ-бы отяжелѣлые, полусонные, мутные глаза, безъ всякаго диллетантскаго огонька и возбужденнаго вниманія къ сценѣ, что-бы на ней ни происходило, безъ всякихъ мускульныхъ рефлексовъ на монументально-флегма-

тическомъ, никогда почти не улыбающемся лицѣ, да съ такимъ осовѣлымъ выраженіемъ на весь спектакль и застынетъ.

Очень похоже на то, что впечатлительность въ немъ, отъ такого чрезмѣрнаго и долголѣтняго ея насилованія, совершенно притупилась, такъ что къ зрѣлищамъ его тянетъ теперь уже не страсть, не потребность, а—просто верблюжья привычка къ извѣстнаго рода стойлу, съ подобающей обстановкой, къ *процессу* спектакля, подобно тому, какъ гоголевскій Петрушка услаждался процессомъ чтенія, вовсе не интересуясь содержаніемъ книги.

Рѣзвовъ какъ-бы исполняетъ культъ меломана, по долгу и обязанности, и добросовѣстно продѣлываетъ все, что въ этомъ культѣ положено—весь его символъ вѣры и всѣ заповѣди. Онъ, напр., со всѣми театральными рецензентами знакомъ и иногда, неизвѣстно для чего, прислушивается, съ своей неизмѣнной флегмой, къ ихъ мнѣніямъ въ театрѣ; онъ непремѣнно участвуетъ въ подпискѣ на бенефисныя «поднесенія» всѣмъ «любимцамъ», а, въ особенности, «любимицамъ» публики, и назойливо ищетъ случаевъ познакомиться съ ними и сблизиться—тоже, неизвѣстно для какой цѣли. При этомъ, у каждой артистической знаменитости онъ съумѣетъ выпросить себѣ фотографическую ея карточку, и такихъ карточекъ у него набрались цѣлые альбомы. Особенно богаты его женскія коллекціи, въ которыхъ имѣются портреты почти всѣхъ, когда-либо за послѣднія тридцать, сорокъ лѣтъ, славившихся въ Петербургѣ знаменитостей, отъ Бозіо до Юліи Пастраны, отъ Гранцевой и Патти до Эммы Братцъ и какой-то «дѣвицы Амаліи», на исполинскомъ бюстѣ которой помѣщался цѣлый чайный сервизъ съ кипящимъ самоваромъ.

Страсть или привычка къ зрѣлищамъ, къ сценѣ сливается въ Рѣзвовѣ съ женолюбіемъ и даже—точнѣе сказать—изъ него вытекаетъ. На сценѣ и всюду, гдѣ есть пища глазамъ, Рѣзвовъ прежде всего ищетъ *женщину*, въ самомъ «ташкентскомъ» смыслѣ слова. Поэтому, всѣмъ зрѣлищамъ онъ предпочитаетъ балетъ, французскую оперетку и каскадные куплетики парижскихъ полураздѣтыхъ diseuses.

При видѣ хорошенькихъ женщинъ на театральныхъ подмосткахъ, въ плѣнительныхъ балетныхъ костюмахъ и въ соблазнительныхъ сценахъ любви и куртизанства, Рѣзвовъ, казалось, даже наружно выходилъ изъ неподвижнаго состоянія своей апатіи и флегмы. Въ немъ просыпался старый сластолюбецъ и «ташкентецъ», но очень оригинальнымъ образомъ: оставаясь неподвижнымъ, лицо его, а въ особенности лобъ и плѣшь начинали покрываться обильной испариной, ротъ скашивался гримасой сатира, а въ патетическихъ мѣстахъ игры онъ теръ себѣ колѣнки и, въ минуту высшаго пафоса, хлопалъ себя по лядвеямъ...

Такимъ-же почти специфическимъ способомъ онъ выражалъ свое возбужденное женолюбіе и въ личныхъ сношеніяхъ съ заинтересовавшими его дамочками, при ухаживаніи за ними. Чѣмъ больше восхищала его красавица, тѣмъ онъ больше при ней потѣлъ, пыхтѣлъ, мялъ сластолюбиво губами и очень напоминалъ собой сентиментальнаго мандрила. Другихъ человѣкоподобныхъ рессурсовъ галантерейности онъ не обнаруживалъ.

Вообще, онъ былъ неразговорчивъ, выражался всегда лаконически, такъ что даже никто съ точностью не зналъ, въ какой степени онъ глупъ или уменъ, просвѣщенъ или невѣжественъ. Въ припадкахъ-же чувствительности, Рѣзвовъ

молчалъ уже какъ пень, но и какъ пень за то былъ неискоренимъ и неотступенъ въ своемъ ухаживаньи за прекраснымъ поломъ.

Онъ не давалъ прохода предметамъ своего поклоненія, держалъ ихъ постоянно какъ-бы въ осадѣ и, такъ сказать, подавлялъ своей назойливостью и усидчивостью. Въ театрѣ-ли, на гуляньѣ-ли, въ обществѣ—всюду онъ, съ невозмутимымъ нахальствомъ, вскакивалъ въ глаза своему предмету, всюду умѣлъ примоститься къ нему, завязать «пантомимъ любви», присѣсть и приковать къ мѣсту обворожившую его красотку своими любезностями...

Женщины брезгливыя и порядочныя, дѣлавшіяся предметомъ его потогонительнаго вниманія, получали къ нему отвращеніе съ первыхъ-же встрѣчъ, да онъ съ такими и разъучился обращаться, а, можетъ быть, никогда и не умѣлъ. Въ «большомъ» даже свѣтѣ есть особенный типъ кавалеровъ, которые, всюду нося съ собой атмосферу конюшни, казармы и ресторана, съ его холостецкими оргіями, шагу ступить не умѣютъ въ кругу порядочныхъ, чистоплотныхъ и изящныхъ женщинъ. Кажется, къ этому типу принадлежитъ и Рѣзвовъ.

Разсказывали про него, что, будучи однажды представленъ одной знаменитой пѣвицѣ, онъ усѣлся передъ ней, выпучилъ на нее глаза и, по своему обыкновенію, пропотѣвъ не малое время отъ избытка чувствъ, разразился такой единственной хвалебной фразы:

— Vos atours, madame, sont charmants, et votre voix, madame, est... aussi charmante... trés charmante, je vous assure...

Въ другой разъ онъ чуть-было не накликалъ на себя

бѣды, отпустивъ при встрѣчѣ, послѣ балета, одной славной, но очень строгой балеринѣ такую отборную любезность:

— Сударыня, ваши ножки столь очаровательны, что я счелъ-бы за счастье, если-бы вы позволили мнѣ превратиться въ одинъ изъ ихъ чулочковъ и хотя-бы даже подвязокъ... Прелесть! прелесть!

Эту восторженную и безъ дурнаго умысла высказанную хвалу Рѣзвовъ, вдобавокъ, адресовалъ при воздушномъ поцѣлуѣ. Балерина вспыхнула, а случившійся при этомъ мужъ ея—ревнивый итальянецъ, чуть не выцарапалъ глаза галантному меломану. Рѣзвова это очень удивило и озадачило.

— Полоумный какой-то... Не понимаю, изъ-за чего тутъ было взбѣситься?—говорилъ онъ, разсказывая объ этомъ эпизодѣ.

Но если герой нашъ былъ неудобенъ и даже невозможенъ въ обществѣ порядочныхъ и благовоспитанныхъ женщинъ, за то среди нецеремонной вольницы каскадныхъ пѣвицъ, балетныхъ танцовщицъ и т. п. «артистокъ», болѣе или менѣе примыкающихъ къ пестрымъ рядамъ demi-mond'a а также среди представительницъ сего послѣдняго, Рѣзвовъ былъ уже совершенно свой человѣкъ и по праву носилъ почетный титулъ ихъ общаго «папочки».

Хотя, по своей деревянности, тупости и пошлости, онъ никакъ, казалось-бы, не могъ назваться, даже когда былъ помоложе, «интереснымъ» и эгалантнымъ кавалеромъ на салонно-эстетическій вкусъ дамочекъ, падкихъ до куртизанства, тѣмъ не менѣе довольно часто имѣлъ у нихъ успѣхъ и, случалось, добивался «толку», выражаясь дѣловымъ терминомъ тургеневскаго Базарова. Конечно, о чувствѣ, о любви и увлеченіи, въ человѣчномъ смыслѣ слова, тутъ не шло и рѣчи.

Нужно войти въ этотъ—такой снаружи элегантный и шикарный—мірокъ куртизантскаго шелопайства и суетнаго безпутства, чтобы постичь до какой иногда каннибальской одичалости и примитивности нравовъ могутъ доходить современные «цивилизованные» люди, въ большинствѣ—представители «сливокъ» общества, въ деликатныхъ сношеніяхъ двухъ половъ на почвѣ «лямура».

И, пожалуй, чистокровный каннибалъ гораздо нравственнѣе и натуральнѣе въ своемъ животномъ цинизмѣ и грубости: въ немъ есть хоть темпераментъ, его плотоядный инстинктъ естественно возбуждается эротическимъ пароксизмомъ здоровой крови, а здѣсь ни искры поэзіи и даже физической страсти—одна худосочная, искусственная похотливость, взвинчиваемая разными наркотиками, одинъ холодный, вялый развратъ для разврата и—больше ничего!

Отсюда становится понятнымъ то, отличающее эту среду, извращеніе всякаго чутья самой природы любовнаго инстинкта, которое, при подборѣ интимныхъ паръ, исключаетъ всякіе запросы сердца и даже темперамента.

Люди сходятся до послѣднихъ границъ короткости безъ малѣйшаго взаимнаго влеченія и увлеченія; толкаютъ ихъ въ холодныя объятія другъ друга просто—деньги, вино, мода, прихоть, наконецъ, механическая случайность и всего рѣже чувство истинной красоты. Женщины, какъ *личности*, тутъ нѣтъ и признаковъ—въ спросѣ и въ цѣнѣ одинъ ея, такъ сказать, внѣшній футляръ въ пикантно-безстыдной драпировкѣ и отдѣлкѣ, по послѣднему фасону парижскихъ каскадныхъ лупанаръ высшаго полета. Съ своей стороны, и она ни во что не цѣнитъ личность мущины, какъ съ внутренней, такъ и съ внѣшней стороны, и отдается съ пол-

нымъ безразличіемъ всякому, кто въ состояніи заплатить за ея костюмы, за ея экипажъ, за ея ужинъ и пр.

Рѣзвовъ имѣлъ снаружи и по осанкѣ, физіономію такого, именно, тароватаго цѣнителя женской красы, но въ этомъ отношеніи разсчеты на него не всегда оправдывались. За то онъ имѣлъ еще нѣчто другое, подкупавшее въ его пользу полусвѣтскихъ дамъ.

Во-первыхъ, у него были знакомства съ богатыми и вліятельными особами и, при случаѣ, онъ умѣлъ, съ сохраненіемъ собственнаго достоинства, ловко смаклеровать болѣе или менѣе краткосрочный марьяжъ между ними и своими худородными фаворитками. Для послѣднихъ это былъ, конечно, кладъ.

Во-вторыхъ, онъ обладалъ какой-то необъяснимой способностью сразу, съ первой встрѣчи втираться въ дружбу и въ довѣріе этихъ сиротливыхъ существъ и вступать съ ними на почву фамильярнаго амикошонства, доходившаго иногда до совершенно-родственной короткости. На этомъ-то основаніи, онъ и стяжалъ у нихъ титулъ «папочки», который вполнѣ шелъ ему къ лицу, неизмѣнно благосклонному, съ отпечаткомъ добродушной осовѣлости.

Но, кромѣ всего этого, Рѣзвовъ, въ случаѣ препятствій и отпора его исканіямъ, умѣлъ быть невозмутимо-наглымъ и настойчивымъ въ своемъ стѣнобитномъ, сказать-бы, донъжуанствѣ, а въ этомъ, какъ извѣстно, заключается весь секретъ куртизанской тактики и политики, даже въ салонахъ и будуарахъ поопрятнѣе, пореспектабельнѣе, чѣмъ у львицъ и тигрицъ полусвѣта.

Наглость и настойчивость его ухаживанья выражались, какъ мы уже знаемъ, въ его способности настигать пред-

метъ своего женолюбія рѣшительно всюду, куда бы тотъ ни сдѣлалъ шагу, въ его, наконецъ, феноменальной усидчивости. Онъ можно сказать, *высиживалъ* свою жертву, какъ завзятый охотникъ высиживаетъ звѣря изъ засады. Другихъ рессурсовъ для болѣе рѣшительной и легкой ловитвы неподатливой дичинки у него не было: не было ни молодости, ни красоты, ни престижа сильныхъ міра сего, и, имѣя въ своемъ распоряженіи очень много свободнаго времени и очень мало «свободныхъ» капиталовъ, которые часто съ удобствомъ замѣняютъ въ этомъ дѣлѣ всѣ вышеисчисленные рессурсы, Рѣзвовъ поневолѣ бралъ терпѣніемъ и усидчивостью то, что, при другихъ болѣе счастливыхъ обстоятельствахъ, онъ, не хуже какого нибудь доморощеннаго Юлія Цезаря, съумѣлъ-бы — «придти, увидѣть, побѣдить».

Высиживанье и неотвязчивое преслѣдованіе Рѣзвова дѣйствовали иногда неотразимо, особенно, если жертва была слабонервное, молодое и мало еще искусившееся въ испорченности полусвѣта, созданіе. А онъ на такихъ-то чаще всего и лакомился!

Слѣдуя плотоядной сноровкѣ всѣхъ столичныхъ «ташкентцевъ» разсматриваемаго типа, онъ набрасывался съ алчностью на всякую интересную, въ женской юбкѣ, свѣжинку и новинку, появляющуюся на театральныхъ-ли подмосткахъ, въ кафе-шантанахъ-ли (будь—то даже «дѣвицы Амаліи» съ монструозными бюстами), или-же, просто, въ пестрыхъ рядахъ шаловливаго полусвѣта.

Собственно, въ этомъ вѣчномъ поискѣ *свѣжихъ женщинъ*, выражаясь «ташкентскимъ» терминомъ, ради пришпориванья въ себѣ угасшаго, притупившагося сластолюбиваго

инстинкта, и заключалась спеціализированная Рѣзвовымъ отрасль бродяжничества.

Куда бы онъ ни явился въ публику, все его вниманіе сосредоточивается на предметахъ его поисковъ. Нюхъ у него, на этотъ счетъ, чисто-собачій!

Проходя равнодушно и безъучастно мимо женщинъ, которыя, по его безъошибочнымъ примѣтамъ, принадлежатъ къ «порядочному» обществу, онъ нагло впивается своими тусклыми буркулами въ каждое смазливое личико, на лбу у котораго, болѣе или менѣе явственно проступаютъ «роковыя слова...»

При такихъ встрѣчахъ, если онѣ интересны, въ немъ какъ будто возвращается даже былая «ловкость почти военнаго человѣка», и—онъ иногда позируетъ такимъ фертомъ, что, вотъ-вотъ, кажется, отломитъ сейчасъ колѣнце изъ канкана.

Конечно, всѣхъ съ упроченной извѣстностью героинь demi-mond'a Рѣзвовъ знаетъ наперечетъ и съ большинствомъ изъ нихъ знакомъ интимно; но ихъ однѣхъ ему мало, да онѣ для него и выдохлись. Ему непремѣнно подавайте *свѣжую женщину*, у которой, какъ на нетронутомъ персикѣ, серебрился-бы дѣвственный пушекъ на рдѣющихъ румянцемъ юности щечкахъ, чтобъ въ ея молодомъ упругомъ тѣлѣ переливалась по голубымъ жилкамъ чистая, непорочная кровь, чтобъ ея лебяжья грудь вся трепетала стыдливымъ чувствомъ... Вообще, онъ зналъ толкъ въ этой отрасли физики.

Запримѣтивъ новенькій въ такомъ вкусѣ сюжетецъ, Рѣзвовъ скоропостижно впадалъ въ какое-то хищническое безпокойство, подобное тому, которое обнаруживаетъ кошка, при видѣ воробья, начиналъ, по своему обыкновенію, потѣть

и пыхтѣть, съ тяжелой одышкой стариковскаго волненія, и тотчасъ-же бросался по слѣдамъ лакомаго звѣрька.

— Кто такая, не знаете-ли?—наводилъ онѣ по пути спѣшныя справки у такихъ-же, какъ онъ, побродягъ-«ташкентцевъ».

— Вы это про кого?—прикидывались тѣ недогадливыми или, въ самомъ дѣлѣ, недоумѣвали о комъ идетъ рѣчь.

— Ну, эта... новенькая... Ужели не примѣтили?—Преаппетитный цыпленокъ! Бѣленькая, грудка крутая, словно выточенная, ноженка вся на ладонкѣ умѣстится, а глазища—во, какія, и съ огонькомъ!.. Совсѣмъ *свѣжая женщина*, mon cher!—аматерски изображалъ Рѣзвовъ статьи и примѣты «новенькой» и—бѣжалъ дальше благовѣствовать о ея явленіи и наводить справки.

Кончалось обыкновенно тѣмъ, что онъ въ кратчайшее время доходилъ до первыхъ источниковъ біографіи «новенькой» и всегда находилъ услужливаго пріятеля, который его знакомилъ съ нею лично, если Рѣзвовъ не считалъ болѣе удобнымъ и возможнымъ представиться ей безъ рекомендацій.

А, вслѣдъ затѣмъ, начинался заученный курсъ усыновленія «новенькой», если она, конечно, того стоила: Рѣзвовъ всюду ее настигалъ, грузно усаживался возлѣ нея, потѣлъ, пыхтѣлъ, оказывалъ разныя любезности и маленькія услуги, словомъ, продѣлывалъ весь свой несложный «пантомимъ любви», пока наконецъ она, тронутая и польщенная этимъ вниманіемъ «почтеннаго старичка», не начинала звать его «папочкой», и—нерѣдко на основаніи совершенно платоническаго родства.

Эту школу сближенія съ Рѣзвовымъ и какъ-бы посвященія отъ него на истинный путь профессіональнаго пре-

любодѣянія прошли положительно всѣ звѣзды и кометы, восходившія на горизонтѣ петербургскаго полусвѣта за послѣднюю четверть столѣтія.

Всѣ онѣ были въ свое время «новенькія» и—ни одна изъ нихъ не миновала теплой и внимательной опеки «папочки», такъ что въ описываемое мною время г. Егаревъ, напр., смѣло могъ-бы устроить ему юбилей въ своемъ «Семейномъ саду», какъ истинному патріарху процвѣтающей въ этомъ саду *семейной* жизни и возросшей въ его нѣдрахъ многочисленной *семьи* обольстительныхъ Альфонсинокъ, Сюзетокъ, «Катекъ-Чижиковъ», «Капсюлекъ»... имъ-же имя легіонъ!

Посѣтители этого сада не разъ, конечно, были очевидцами трогательной, во вкусѣ «демидроновскихъ» *семейныхъ* нравовъ, картины появленія Рѣзвова въ разгаръ веселаго «семейнаго» вечера, когда со всѣхъ сторонъ къ нему неслись нѣжные оклики и привѣтствія изъ соловьиныхъ горлышекъ:

— Ахъ, милый папка!..

— Здравствуйте, папочка!..

— Подите сюда, папочка!..

— Къ намъ, къ намъ, папка, у насъ свѣжій крюшончикъ!..

— Душка-папочка, проведи меня на сцену: я сегодня пою!..

— Милый папка, угости коньячкомъ!..

— Скверный папка, ты мнѣ шлейфъ оттопталъ!.. У!..

И такъ далѣе.

Даже у вновь пріѣзжающихъ изъ Парижа «демидроновскихъ» пѣвицъ, едва-ли не первое русское слово, которому онѣ здѣсь выучивались, былъ интимный титулъ Рѣзвова,

и—нужно было слышать какъ онѣ очаровательно картавили, дѣлая ему глазки изъ подъ насурмленныхъ пробочной сажей рѣсницъ и вѣкъ:

— Cher papotchka! Eh bien, nous serons-nous souper aujourd'hui?.. Карррашо?.. Hé-hé!

Безъ сомнѣнія, почтенный титулъ «папочки» и сопряженная съ нимъ фамильярность отношеній не всегда означали здѣсь родственную близость, за предѣломъ которой цѣнителю благосклонныхъ женскихъ прелестей ничего ужь не оставалось больше желать.

Рѣзвовъ не только мирится съ неавантажнымъ положеніемъ, которое обозначается пословицей «глазъ видитъ, да зубъ нейметъ», но даже находитъ его весьма пикантнымъ и отраднымъ въ свои преклонные лѣта, и только заботится о томъ, что-бы глазу его представлялись какъ можно большія перспективы въ области женской пластики и чтобъ онъ не утомлялся однообразіемъ портретовъ и пейзажей порнографическаго жанра.

Онъ съ неостывающей ревностью постоянно и всюду ищетъ *женщину* и, преимущественно, *свѣжую женщину*, хотя-бы въ фальсификаціяхъ парижскаго, напр., происхожденія,—ищетъ, притомъ, какой-то, собственнаго сочиненія, ни съ чѣмъ несообразный идеалъ *женщины-артистки*, которая-бы въ одно и то-же время была и великимъ сценическимъ (особенно, балетнымъ) талантомъ, и общедоступной «международной дамой», и олицетвореніемъ добродѣтели и живымъ воплощеніемъ порнографіи во всѣхъ ея видахъ,—ищетъ потому, что, кромѣ звѣря чувственности, во внутреннемъ мірѣ Рѣзвовыхъ царитъ полнѣйшая мерзость запустѣнія во все ихъ обыкновенно весьма долголѣтнее житіе.

Когда-же этотъ звѣрь просыпался въ немъ, нашъ «папочка» способенъ былъ продѣлывать иногда прегнусныя вещи.

Какъ истый «ташкентецъ» и женолюбецъ, Рѣзвовъ присяжный балетоманъ.

Что такое «ташкентская» балетоманія и какъ много въ ней чистой любви къ искусству—вещь хорошо извѣстная. Здѣсь обыкновенно наслажденіе искусствомъ и «талантомъ» танцовщицы неразлучно сливается съ мечтою и вожделѣніемъ обратить и самую танцовщицу въ предметъ своего «домашняго» хозяйства, комфорта и эпикурейства. И это—не осуществимая мечта для многихъ балетомановъ—признается верхомъ роскоши на рынкѣ петербургскаго сластолюбія.

Имѣть въ метрессахъ балерину—что можетъ быть эстетичнѣе и элегантнѣе во всѣхъ отношеніяхъ!

Долго и упрямо питалъ эту мечту и Рѣзвовъ.

Онъ знакомъ былъ со всѣмъ кордебалетомъ, со всѣми корифейками; но тамъ всегда слишкомъ большая и слишкомъ блестящая конкурренція искателей, чтобы такому застарѣлому любезнику, съ легковѣснымъ карманомъ, можно было разсчитывать взять призъ. Положимъ, Рѣзвову призы доставались, но ужь такіе, которыхъ никто не хотѣлъ брать, какъ совершенно забракованные. «Счастье», однако, само напросилось ему въ руки.

Постоянно посѣщая балетъ, запримѣтилъ онъ, въ числѣ «воспитанницъ» на выпускѣ, одну недурненькую дѣвочку, почти ребенка, и сталъ ее по своему высиживать систематически.

Въ ходъ пошли обычныя орудія соблазна: конфекты, маленькіе подарки—«поднесенія», букетики, въ которые старый селадонъ не стыдился запихивать раздушенныя, на розовой бумажкѣ записочки съ объясненіями въ любви и съ любовными стишками, выписанными изъ «пѣсенника», а въ томъ числѣ и собственнаго сочиненія временъ ранней юности, когда авторъ состоялъ еще кадетомъ и былъ гораздо изобрѣтательнѣе, чѣмъ теперь.

Рѣзвовъ повторялъ теперь всю практику своей «первой» кадетской любви и былъ увѣренъ, что сочиненное имъ тогда двустишіе:

Вонми, вонми, мой другъ сердечный!
Будь ангелъ мнѣ хранитель вѣчный!

—неотразимой стрѣлой вонзится и теперь въ сердце искомой дѣвы. Конечно, и эти кадетскіе стишки, и всю кадетскую любовную механику и фортификацію онъ считалъ глупымъ ребячествомъ; но, такъ какъ въ данномъ случаѣ онъ оперировалъ около неопытной, невинной дѣвочки, съ институтскими воззрѣніями, то и разсчелъ, что другая тактика тутъ была-бы неумѣстна и не принесла-бы желаннаго успѣха.

Наивной и молоденькой затворницѣ, никогда не видавшей свѣта, нравились больше конфекты, чѣмъ стишки, и, въ концѣ концовъ, ей не могло не польстить такое постоянное и тароватое къ ней вниманіе столь солиднаго и почтеннаго господина. Рѣзвовъ съумѣлъ найти способъ встрѣчаться съ нею.

Она была круглая сиротка и имѣла одну лишь какую-то троюродную тетку—бѣдную старуху, которая изрѣдка брала ее къ себѣ изъ училища. Рѣзвовъ все это развѣдалъ,

свелъ знакомство съ теткой, снискалъ ея расположеніе и имѣлъ удовольствіе почти каждое воскресенье видѣться съ предметомъ своего ухаживанья.

На первыхъ порахъ «сюжетецъ» показался, на испытанный вкусъ стараго грѣшника, до того *зеленымъ* и незрѣлымъ, что даже не возбуждалъ въ немъ аппетита; но мысль потщеславиться метрессой-балериной и въ тоже время *свѣжей женщиной* была очень сильнымъ побужденіемъ, чтобы выпустить изъ рукъ лакомую добычу.

Самъ «сюжетецъ» совершенно не сознавалъ, что его, какъ глупую мошку, ловитъ въ паутину и собирается скушать алчный и жестокій паукъ.

Ни съ чьей стороны тутъ и тѣни не было какого-нибудь влеченія, какой-нибудь сердечности: онъ холодно и разсчетливо «высиживалъ» жертву, она—не подозрѣвая этого, относилась къ его вниманію и опекѣ совершенно пассивно, подѣтски. Когда-же онъ усаживался возлѣ нея, пялилъ на нее свои неподвижно тупые глаза и бралъ ее за руку, она чувствовала какое то остолбенѣніе и покорность, смѣшанныя со страхомъ, какъ еслибъ онъ ее магнетизировалъ.

Рѣзвовъ это видѣлъ, понималъ, что въ этомъ состояніи она въ полномъ его распоряженіи, и—это соблазнительно щекотало дремавшаго въ немъ и пока сдерживаемаго на уздѣ звѣря.

Вскорѣ свѣжеиспеченная танцовщица, пущенная на всѣ четыре стороны, въ роли самостоятельной обывательницы по семнадцатому году, чуть-ли не прямо изъ училища, переѣхала на хорошенькую квартирку, нанятую и омеблированную для нея добрымъ «папочкой».

Случилось это какъ-то ужасно просто и безсмысленно.

Никѣмъ не опекаемая, неразвитая, наивная и легкомысленная дѣвочка не отдавала себѣ отчета въ своемъ положеніи: она не понимала истиннаго значенія теплой о ней заботы «папочки», не сознавала того, что она идетъ «на содержаніе», да и самое значеніе послѣдняго было для нее совершенно темно. Она слышала, что многія, послѣ выпуска изъ школы, танцовщицы точно также устраиваются, обмундировываются и водворяются на жительство въ хорошенькихъ квартиркахъ своими покровителями и поклонниками; но цѣною чего—это было ей неизвѣстно. Просто потому, что онѣ—милыя, изящныя, потому что—артистки, балетныя сильфиды, самое предназначеніе которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы имъ всѣ мущины поклонялись, чтобы въ нихъ влюблялись и выражали любовь «поднесеніями», конфектами, цвѣтами, подарками и всякими угожденіями.

Она думала, что это такъ и нужно, что это хорошо. Такъ думали и ея товарки, и всѣ онѣ еще въ училищѣ, до выпуска, уже мечтали о поклонникахъ и ухаживателяхъ, и очень тщеславились, когда таковые являлись у нихъ и заводили съ ними романическія интрижки... Такая ужь балетная среда, таковы традиціонные балетные нравы!

Нужно сказать, что изловленію въ сѣти «папочки» нашей героини много помогла ея тетушка, попросту продавшая племянницу по сходной для себя цѣнѣ.

Такъ или иначе, но Рѣзвовъ достигъ цѣли: птичка сидѣла въ клѣткѣ и звѣрь почувствовалъ себя теперь въ своемъ правѣ и выпустилъ когти...

Произошла отвратительная и возмутительная драма, какихъ, впрочемъ, въ Петербургѣ происходитъ безчисленное множество! Развѣ только въ развязкахъ бываетъ маленькая разница.

Прожито въ хорошенькой квартиркѣ было недолго. Не далѣе, какъ спустя мѣсяцъ съ чѣмъ-то, въ одно прекрасное утро изъ нея выбѣжала на улицу, съ маленькимъ узелкомъ подъ мышкой, молодая женщина, вся блѣдная, взволнованная, съ какой-то гнѣвно-негодующей складкой на углахъ рта, и съ выраженіемъ въ глазахъ брезгливаго омерзенія къ чему-то гадкому и отталкивающему...

Едва можно было узнать въ этой, такъ, повидимому, много горькаго испытавшей и созрѣвшей женщинѣ, ту наивную, беззаботную дѣвочку съ совершенно ребяческимъ личикомъ, которая мѣсяцъ тому назадъ впервые вошла въ эту самую дверь...

Молодая женщина поспѣшно позвала извощика и приказала везти себя на Пески. Больше она не возвращалась и—квартирка опустѣла... Что такое въ ней произошло между ея сбѣжавшей хозяйкой и Рѣзвовымъ—это навсегда осталось ихъ тайной; но только съ той поры, когда имъ случалось гдѣ-нибудь встрѣтиться, она вся блѣднѣла и вздрагивала, какъ еслибы нечаянно наступала ногой на какую нибудь гадину, а онъ дѣлалъ видъ, что ея не замѣчаетъ.

«Папочка» даже не любитъ вспоминать объ этомъ маленькомъ и неудачномъ романѣ, а она, при воспоминаніи о томъ-же, разражается проклятіями и гнѣвными слезами...

Клубскій „дядя“ (стр. 59).

III.

Клубскій „дядя.“

И бродяжничество par excellence имѣетъ свою культуру, и бездѣльничество можетъ стать, въ своемъ родѣ, трудомъ и дѣломъ!

Это въ особенности нужно сказать о культурныхъ слояхъ бродячаго Петербурга, выработавшихъ замѣчательное разнообразіе и совершенство формъ пріятнаго убиванія времени на пустяки.

Быть можетъ, да и навѣрное слѣдуетъ сказать, что и въ другихъ нашихъ большихъ городахъ нѣтъ недостатка среди обезпеченнаго и, такъ называемаго, «образованнаго» класса въ кочевыхъ, гулящихъ элементахъ, прожигающихъ жизнь въ безпросыпномъ, болѣе или менѣе прихотливомъ тунеядствѣ и въ увеселительномъ бездѣльничествѣ; но несомнѣнно нигдѣ эти элементы не достигли такой солидной организаторской группировки, такой систематичности haute école, въ распоряженіи временемъ, силами и средствами, какъ въ Петербургѣ.

Мало того. Не подлежитъ сомнѣнію, что, въ указанномъ отношеніи, эти элементы у насъ далеко оставляютъ позади себя всѣ почти активныя, производительныя функціи нашей

общественности и ея жизни, въ предѣлахъ ихъ *самодѣятельности.* Ни одна изъ нихъ не доразвилась—и доразвиться не всегда имѣетъ просторъ—до такой прочной и правильной организаціи, до такой жизненности и до такого совершенства внѣшнихъ формъ и внутренней интенсивности.

Напримѣръ, *ассоціація*,—которая, какъ очень многія иноязычныя слова, кончающіяся на *ція*, и по созвучію съ ними, представляется нерѣдко блюстительнымъ очамъ чѣмъ-то опаснымъ и тлетворнымъ, въ примѣненіи къ тѣмъ или другимъ творческимъ отправленіямъ общественной жизни,—въ широкой области коллективнаго самодѣятельнаго бездѣльничества, красуется въ полномъ расцвѣтѣ и никакими препонами не стѣсняется.

Ассоціаціями бездѣльничества, тунеядства и праздношатайства Петербургъ переполненъ и — посмотрите, какъ онѣ основательно и крѣпко организованы, какъ богато обставлены и какой пользуются обширной популярностью!

Впрочемъ, иныхъ ассоціацій въ области нашей общественности и вовсе нѣтъ, какъ нѣтъ ихъ обыкновенно во всякомъ молодомъ, малоразвитомъ обществѣ.

Мы не говоримъ о промышленно-экономическихъ коопераціяхъ—это статья особая. Что-же касается разныхъ, такъ называемыхъ, «обществъ» — ученыхъ, художественныхъ, профессіональныхъ, благотворительныхъ и пр., то кому-жь не извѣстны ихъ полная, за немногими исключеніями, искусственность, безжизненность, казенная формальность бытія, а часто и совершенная ихъ фиктивность!

Когда намъ приведется заглянуть въ этотъ особый міръ, мы въ немъ, къ немалому, быть можетъ, удивленію читателя,

встрѣтимъ въ избыткѣ своеобразныхъ представителей того-же празднаго, бездѣльничающаго, «бродячаго Петербурга», но только закостюмированныхъ въ классическія тоги «дѣятелей, мужей разума и совѣта».

Называть ли и пересчитывать-ли по пальцамъ всѣ столичныя ассоціаціи откровеннаго и беззаботнаго ex professo бездѣльничества и «скитальчества»?

Онѣ хорошо всѣмъ извѣстны.

Прежде всего это наши многочисленные и многолюдные клубы, существующіе нерѣдко подъ такими выразительными и многообѣщающими титулами, и въ уставахъ которыхъ прописано часто столько высокихъ общественныхъ задачъ и благихъ намѣреній, что ими можно было бы весь адъ устлать, да, надо полагать, они у сатаны давно уже и на счету, для заплатъ и мозаикъ въ его домашнемъ паркетѣ.

Не думаю, чтобы кто-нибудь сталъ оспаривать классификаторскую вѣрность и тождественность мѣста, отводимаго мною здѣсь для клубовъ въ ряду существующихъ у насъ органовъ нашей гражданственности; но предвижу жестокія возраженія и укоры со стороны коренныхъ, ревностныхъ членовъ петербургскаго рѣчнаго яхтъ-клуба, отваживаясь и это почтенное, веселое и гостепріимное заведеніе причислить къ категоріи столичныхъ ассоціацій празднолюбія, бродячества и бездѣльничества an und für sich.

Въ Петербургѣ существуетъ два яхтъ-клуба: «морской» и «рѣчной». Первый—уже совершенная фикція и пародія, потому что рѣшительно не имѣетъ никакого общенія не только съ морскими, но и съ какими-бы ни было *водами* (за изъятіемъ развѣ зельтерской и содовой, столь не вредными для мореплавателей, *нагрузившихся* «благородными

напитками»). Всѣ его права de facto на названіе «морскаго» клуба, кажется, въ томъ лишь заключаются, что онъ помѣщается въ *Морской* улицѣ, да еще развѣ въ томъ, что въ его стѣнахъ нерѣдко случаются жестокіе *штормы* и *крушенія* на зыбкомъ «зеленомъ полѣ», даже съ такими, порой, «большими кораблями», какъ, напр., пресловутый князь Санъ-Донато.

Рѣчной яхтъ-клубъ уже несравненно больше оправдываетъ претенціозность своего титула и имѣетъ несравненно ближайшее соприкосновеніе съ бурной стихіей и съ навигаторскимъ искусствомъ; но все это въ забавной каррикатурѣ, которая особенно смѣшна потому, что сами почтенные яхтъ-клубисты ее не замѣчаютъ и—напротивъ—преисполнены важности и гордаго сознанія, что они не вѣсть какое серьезное дѣло дѣлаютъ и даже передъ отечествомъ выслуживаются, способствуя, будто-бы, преуспѣянію россійскаго мореплаванія и судостроенія.

Нигдѣ вы не чувствуете себя такъ весело, какъ въ этомъ клубѣ, потому-что — можетъ-ли быть что нибудь потѣшнѣе картины систематическаго бездѣлья, возведеннаго въ своего рода культъ и чуть не въ священнодѣйствіе?!

Въ этомъ отношеніи рѣчной яхтъ-клубъ представляетъ замѣчательно-стройную и законченную организацію, гораздо болѣе законченную и усовершенствованную, чѣмъ всѣ остальные клубы. Имѣя все, что и сіи послѣдніе, онъ, кромѣ того, обладаетъ еще цѣлымъ рядомъ спеціальныхъ учрежденій и установленій, ему одному присущихъ и въ кругу которыхъ истый яхтъ-клубистъ чувствуетъ себя какъ-бы гражданиномъ маленькой самостоятельной державы.

И въ самомъ дѣлѣ, петербургскій рѣчной яхтъ-клубъ,

на своемъ пустынномъ, злачномъ «брегѣ» у взморья, со всѣхъ сторонъ окруженный водою и непроходимыми топями, а потому обрѣтающійся какъ-бы за предѣлами цивилизаціи, весьма походитъ на маленькую обособленную «морскую» державу.

У него есть свой «флагъ», свой мундиръ, свои «командоръ» и «вице-командоръ», своя «команда», есть свой флотъ, своя артиллерія, свои гавани, верфи, даже училища, есть даже свои монументы; но все это, разумѣется, въ миніатюрномъ, игрушечномъ видѣ, приспособленномъ для забавы взрослыхъ дѣтей — точь въ точь сейчасъ взято изъ гостиннодворской лавки Дойникова.

Въ томъ-же игрушечномъ вкусѣ, яхтъ-клубъ имѣетъ свою эру, свое лѣтосчисленіе, свои высокоторжественные дни, съ молебствіемъ, пушечной пальбою и иллюминаціями, производитъ свои «навигаціи», «кампаніи», «гонки» и т. п. экзерциціи; есть у него, наконецъ, свой «сводъ законовъ», своя литература и поэзія, свои яхтъ-клубскіе законодатели, миннезингеры и трубадуры... Словомъ, есть все, и если чего нехватаетъ, такъ только пустяка—навигаторовъ.

Безъ шутокъ, за немногими исключеніями, яхтъ-клубисты не только ничего не смыслятъ въ мореплаваніи и судостроеніи, но многіе изъ нихъ и весла-то въ рукахъ держать не умѣютъ, да вовсе не затѣмъ они сюда и записывались.

Въ большинствѣ, это — молодые гулящіе купчики съ кафе-шантаннымъ образованіемъ, для которыхъ гдѣ-бы ни «убить время» въ гульбѣ—лишь-бы убить, а кромѣ того и лестно, чортъ побери, для купецкаго самолюбія носить

титулъ «дѣйствительнаго члена» такой «благородной», вольной компаніи, какъ яхтъ-клубская, и красоваться въ яхтъ-клубскомъ мундирчикѣ, съ золотыми позументами,—ничего, что мундирчикъ этотъ смахиваетъ на швейцарскую ливрею.

Затѣмъ, яхтъ-клубъ комплектуютъ кутящіе петербургскіе нѣмчики изъ торговыхъ конторъ и банковъ—такіе обыкновенно приличные и смирные, такіе прилежные и педантически-серьезные до обѣда, утромъ, за своими бухгалтерскими конторками, въ присутствіи своихъ принципаловъ, и такіе буйные, разнузданно-пьяные горлодеры и «шкандалисты» послѣ обѣда, подъ вечерокъ, гдѣ-нибудь въ насиженной Bier-Halle, въ загородномъ «Кегель-бан'ѣ» или-же въ «своемъ» клубѣ...

Для всѣхъ этихъ любителей холостецкихъ забавъ и оргій яхтъ-клубъ—находка, домъ родной!

Эти два элемента составляютъ главную массу яхтъ-клубистовъ—его цвѣтъ, а если не цвѣтъ, то, во всякомъ случаѣ, *удобреніе*, такъ какъ у этого народа всегда водятся «шальныя» деньги и—ими-то, главнымъ образомъ, поддерживается матеріяльное процвѣтаніе всѣхъ учрежденій яхтъ-клуба, включительно и преимущественно, разумѣется, до яхтъ-клубскаго буфета.

Впрочемъ, въ настоящее время, кажется, эта бродячая вольница, въ лицѣ своихъ наиболѣе расточительныхъ форсуновъ, куда то отхлынула изъ рѣчнаго яхтъ-клуба, а съ нею вмѣстѣ ушли и его красные дни.

Но было времячко, совпадающее съ эпохой гомерическаго «хищенія» въ петербургскихъ банкахъ, когда въ этомъ прохладномъ вертоградѣ топили свои грѣшныя души въ разливанномъ морѣ пиршествъ и безпутно обогащали яхтъ-

клубскія сокровищницы легко достававшимися «шальными» деньгами такіе, напр., орлы, какъ покойный Бритневъ съ братіей...

Если не ошибаюсь, на щедрыя «пожертвованія» этихъ орловъ, главнымъ образомъ, сооруженъ, днесь существующій, хорошенькій яхтъ-клубскій пароходикъ, носящій, не лишенное аллегоріи, провиденціальное названіе: «Первенецъ».

Какой нибудь, напр., мизантропъ изъ членовъ «общества с.-петербургскаго взаимнаго кредита», посвященный въ тайну сооруженія яхтъ-клубскаго «Первенца», чего добраго, сочтетъ его кличку за зловѣщее предзнаменованіе, въ томъ смыслѣ, что коли-де *первенецъ*, то не предполагается-ли симъ возможность въ будущемъ сооруженіи и *втораго*, *третьяго* и т. д. яхтъ-клубскихъ пароходовъ, при посредствѣ рессурсовъ изъ такихъ-же тароватыхъ рукъ? Вотъ только надъ кассирами нынче больно ужь строгъ контроль, говорятъ...

Кромѣ описанной главной группы членовъ яхтъ-клуба, въ немъ есть небольшое число дѣйствительныхъ любителей и подвижниковъ рѣчнаго спорта, которые поддерживаютъ яхтъ-клубскія традиціи и духъ, а сами стараются изображать собою, съ виду, настоящихъ «морскихъ волковъ», какъ идеалъ яхтъ-клубской красы, хотя своими ухватками они походятъ больше не на «морскихъ волковъ, а просто на рѣчныхъ бѣлугъ.

Должно быть, въ самомъ дѣлѣ, въ натурѣ водянаго спортсмена, по страсти, много есть рыбьяго. Тупы и неразговорчивы они обыкновенно, какъ рыбы, пьютъ, какъ рыбы, и только на водѣ, съ веслами въ рукахъ или подъ парусами, обнаруживаютъ признаки живой человѣческой души

и чувствуютъ себя въ своей тарелкѣ. Такихъ, впрочемъ, въ рѣчномъ яхтъ-клубѣ очень немного. Это—герои «гонокъ», счастливые конкурренты «призовъ», благодаря которымъ яхтъ-клубская забава представляетъ для нихъ, пожалуй, и не безвыгодное дѣльце.

Конечно, и эта категорія дѣятельныхъ яхтъ-клубистовъ всецѣло принадлежитъ къ фаунѣ бродячаго Петербурга; но я хочу остановиться на экземплярѣ другой интересной разновидности обозрѣваемой группы, тѣмъ болѣе, что экземпляръ этотъ вышелъ уже въ «тиражъ погашенія», т. е., волею Божіею помре, и слѣдовательно, составляетъ неоспоримое достояніе исторіи.

Онъ принадлежалъ къ особой категоріи яхтъ-клубистовъ того типа ситойеновъ, которые умѣютъ дѣлаться вездѣ «своими людьми», хотя отъ нихъ никому и ничему ни тепло, ни холодно, а иногда бываетъ скорѣе холодно, чѣмъ тепло, которые обладаютъ способностью вростать во всякую среду и обстановку, но совершенно механически, безъ всякаго внутренняго сродства съ ними и вообще съ чѣмъ-бы то ни было.

По какимъ логическимъ поводамъ и причинамъ попалъ онъ въ коренные яхтъ-клубисты и прослылъ яхтъ-клубскимъ «дядюшкой»—это рѣшительно необъяснимо.

Можно предположить только, что однажды, во время оно, его случайно завезли сюда, усадили на прочномъ стулѣ, хорошо угостили—и онъ такъ тутъ навсегда и приросъ къ мѣсту, такъ и сдѣлался на вѣки «дѣйствительнымъ» членомъ.

Это ужь у него была такая особенность: гдѣ разъ сѣлъ — сидѣть до послѣдней возможности, пока не снимутъ со стула, и куда разъ попалъ—становиться непремѣннымъ завсегдатаемъ насиженнаго мѣста.

Главное, чтобъ были всегда къ услугамъ достаточно прочный стулъ, дружеская компанія для нехитрой, но многой выпивки и закуски, а также сіи послѣднія въ неоскудѣвающемъ обиліи, и чтобъ не нужно было ни ходить, ни слишкомъ далеко протягивать руку за рюмками, стаканами и т. п. посудой—конечно, не порожней.

Никакихъ больше комфортабельныхъ приспособленій и культурно-эпикурейскихъ затѣй пріятной «общественной» жизни для «дяди» не требовалось, и—онъ чувствовалъ себя одинаково хорошо во всякой обстановкѣ, и въ самой роскошной и въ самой мизерной. Не могъ онъ только примириться съ такою, которая отказывала ему въ крѣпкомъ стулѣ и въ безъостановочномъ «распивочномъ» отпускѣ питей надлежащаго градуса... А въ чемъ другомъ—въ этихъ «удобствахъ» рѣчной яхтъ-клубъ недостатка никогда не имѣлъ.

Сіи основныя «черты жизни» и характера «дядюшки» объясняются весьма просто.

Былъ онъ, по натурѣ, человѣкъ необычайно общительный, незлобивый, уживчивый и покладистый, но это въ немъ была не какая нибудь выработанная добродѣтель, даже не практическій разсчетъ, а просто—привычка или, точнѣе сказать, чрезмѣрно развитой инстинктъ стадности, который непрерывно и неодолимо тянулъ его къ пріятельскому собесѣдованію съ подходящими людьми и дѣлалъ для него малѣйшее уединеніе несноснымъ.

Этотъ стадный инстинктъ часто смѣшиваютъ съ добротой

сердца, съ «простотой», но если это доброта, такъ ужь на очень невзыскательную мѣрку.

У насъ такъ еще мало развита общественная жизнь, что на русскомъ языкѣ «водить компанію»—почти синонимъ компанейскаго развлеченія, главнымъ образомъ, питіями. Танцы, карты, ѣда и питье—вотъ почти все, чѣмъ наполняются и поддерживаются наши общественныя и домашнія собранія, за отсутствіемъ болѣе высшихъ интересовъ.

«Дядюшка» танцовать не могъ, въ карты не игралъ, ѣлъ мало; слѣдовательно, для поддержанія компаніи, безъ которой онъ не могъ дня прожить, ему оставалось пить... И онъ пилъ, какъ губка, и впился до такого совершенства, что потерялъ способность пьянѣть, а кто его зналъ—никогда не могъ, съ точностью опредѣлить: на тощакъ-ли «дядя» или уже «подъ парами» и какого, именно, «давленія»?

Его богатырскую несокрушимость въ этомъ отношеніи воспѣла даже яхтъ-клубская поэзія, въ такомъ, приблизительно, стишкѣ, въ числѣ другихъ, посвященныхъ доблестямъ яхтъ-клубистовъ и декламируемыхъ, обыкновенно, въ высокоторжественные дни яхтъ-клуба:

Видали-ль дядю Образцова?—
Вотъ пьетъ-то образцово!...

И «дядя» (его дѣйствительно, звали Образцовымъ) никогда не возражалъ этой несовсѣмъ лестной хвалѣ.

Строго говоря, его нельзя было назвать «пьяницей». По утрамъ онъ что-то такое дѣлалъ, гдѣ-то служилъ и въ немаломъ рангѣ, значитъ—имѣлъ промежутки обязательной трезвости; но, кромѣ того, когда человѣкъ до того сродняется

съ хмѣльной стихіей, что она перестаетъ производить перемѣну въ его температурѣ, то тутъ исключается самое понятіе о пьянствѣ, какъ о нарушеніи извѣстной нормы.

Стадный инстинктъ, это вѣчное исканіе «пріятелей», а съ ними соотвѣтствующихъ, несложныхъ развлеченій — воспитали «дядюшку» въ совершенно-кочевыхъ, цыганскихъ привычкахъ.

Онъ весь вѣкъ, до старости, прожилъ бобылемъ, безъ семьи, безъ дома, въ культурно-гражданскомъ смыслѣ слова, и, въ довершеніе траги-комизма своей судьбы, кончилъ жизнь скоропостижно, съ рюмкой въ рукахъ, въ публичномъ «заведеніи», среди собутыльниковъ... Однимъ словомъ, онъ представлялъ собою самый законченный и чистый типъ петербургскаго «культурнаго» бродяги.

Его бродяжническимъ наклонностямъ, подъ старость, стало мѣшать одно важное препятствіе—подагра, и потому-то онъ былъ такъ усидчивъ и такъ не любилъ покидать разъ насиженное мѣсто, если оно отвѣчало его неприхотливымъ вкусамъ и требованіямъ.

Яхтъ-клубъ ему особенно полюбился не потому, чтобъ онъ питалъ какую-нибудь страсть къ мореплаванію, а потому, что ходить здѣсь не требуется и некуда, стулья—крѣпкіе, все нужное для закуски и выпивки подъ рукою, кругомъ «племянники»—народъ все теплый, во всякую минуту готовый составить компанію милому «дядѣ»; передъ глазами освѣжающій зрѣніе пейзажъ на острова и невскія воды, на которыхъ качается пышная яхтъ-клубская флотилія; воздухъ вольный, а захотѣлъ провѣтриться—яхтъ-клубскіе мореходы молодецки прокатятъ на покойной шлюпкѣ... Не клубъ, а—рай!

И «дядя» былъ однимъ изъ самыхъ постоянныхъ и са-

мыхъ основательныхъ его посѣтителей, такъ что, наконецъ, нельзя было себѣ представить ни «дядю» безъ яхтъ-клуба, ни яхтъ-клубъ безъ «дяди».

Безъ сомнѣнія, посѣщавшіе когда-нибудь это веселое заведеніе хорошо замѣтили и помнятъ грузную, мѣшковатую фигуру «дяди», съ сѣдой, коротко остриженной, головой, неловко прикрытой старой, мятой шляпенкой; помнятъ и его гладко выбритое, широкое, съ глянцемъ испарины, лицо, съ вѣчно улыбающимися какой-то неопредѣленной, благодушно-лукавой улыбкой, узенькими, прищуренными темными глазками, въ которыхъ временами мерцалъ блуждающій огонекъ хроническаго алкогольнаго отравленія.

Его тутъ всегда можно было найти. Пріѣзжалъ онъ спозаранку, тяжело ступая, медленно ковылялъ чрезъ клубскія залы, опираясь на палочку, а, если встрѣчался пріятель, то и на его руку, добирался до излюбленнаго мѣстечка, гдѣ-нибудь у стола, и требовалъ себѣ стулъ.

— Только—смотри—покрѣпче!—приказывалъ онъ слугѣ и прежде, чѣмъ сѣсть, перепробуетъ руками нѣсколько стульевъ, пока выберетъ, наконецъ, вполнѣ надежный.

Дѣйствительно, грузъ его не всякій стулъ могъ бы выдержать, а, имѣя наклонность къ апоплексіи, «дядя» основательно боялся упасть. Притомъ-же, онъ любилъ сидѣть прочно, фундаментально, и, когда усаживался, то ужь большею частью не вставалъ со стула во весь вечеръ.

Нѣсколько компаній, одна за другой, перекочуютъ около его стола; со всѣми по очереди онъ выпьетъ и обмѣняется тѣмъ безсодержательнымъ, пустымъ разговоромъ, которымъ пробавляются у насъ собесѣдники во всѣхъ клубахъ; всѣ отсидятся и уйдутъ, а «дядя» все сидитъ на своемъ мѣстѣ

и, обыкновенно, досидитъ до той поры, пока всѣ не разъѣдутся.

Разъ съ нимъ былъ, какъ разсказываютъ, такой случай.

Какъ-то лѣтомъ, яхтъ-клубисты устроили пикникъ подъ открытымъ небомъ, гдѣ-то на необитаемомъ берегѣ взморья. Поѣхали туда на пароходѣ, взявъ съ собой, конечно, и неизбѣжнаго «дядю». Пикникъ вышелъ на славу, такъ что, когда компанія возвращалась ночью, то очень немногіе помнили, что съ ними, куда они ѣдутъ и зачѣмъ...

На утро хватились «дяди»—«дяди» нѣтъ! Послали искать, и—что-же?

Нашли его, среди необитаемаго берега, цѣла и невредима, и на томъ-же самомъ стулѣ, на которомъ его вчера, въ торопяхъ и съ пьяна, позабыли: сидитъ себѣ преспокойно и, облокотившись на столъ, спитъ богатырскимъ сномъ, какъ ни въ чемъ не бывало...

Нашъ извѣстный любимецъ публики (стр. 91).

IV.

„Нашъ извѣстный любимецъ публики.“

I.

Никита Александровичъ Утробинъ, «нашъ извѣстный любимецъ публики», какъ отзывались о немъ въ газетахъ и какъ онъ самъ о себѣ мнилъ, хотя жилъ и подвизался въ провинціи, временами лишь гостя въ Петербургѣ, но, по своему происхожденію, воспитанію и складу, былъ чистокровнымъ дѣтищемъ петербургскаго интеллигентнаго плебса, постоянно его тянуло въ столицу, постоянно онъ мечталъ прочно въ ней пристроиться навсегда, да такъ съ этою мечтою и кончилъ свою треволненную жизнь гдѣ то далеко на чужбинѣ, чуть-ли не на постояломъ дворѣ.

Только познакомившись съ Утробинымъ, впервые удостовѣрился я не безъ удивленія, что и Петербургъ можетъ для кого нибудь служить милой сердцу *родиной*, что и у него есть не одни лишь пришлые *гости*, какъ почти всѣ мы, грѣшные, но и свои коренные, по гробъ преданные *сыны*, для которыхъ его, столь сомнительнаго букета, «дымъ сладокъ и пріятенъ».

Утробинъ былъ актеромъ по профессіи, а отчасти и по натурѣ. Самъ онъ, на своихъ визитныхъ карточкахъ, съ литографическими вычурами и даже съ графской коронкой, совсѣмъ ужь фантастически здѣсь очутившейся, титуловалъ себя такъ: «Артистъ-чтецъ императорскихъ театровъ такой-то».

Громкій титулъ этотъ, что касалось принадлежности къ императорскимъ театрамъ, точно также былъ сомнителенъ, какъ и графская корона; но это невинное самозванство было лишь характеристической мелочью въ обуревавшей нашего героя безгранично-тщеславной претенціозности, довольно, впрочемъ, дешевой и грубоватой.

Утробинъ родился въ Петербургѣ отъ «бѣдныхъ», но благородныхъ родителей» и получилъ блистательное образованіе въ потѣшномъ театральномъ училищѣ, никого и ничему въ тѣ времена не выучивавшемъ и существовавшемъ, кажется, для одной лишь бутафорской симметріи въ штатѣ театральнаго вѣдомства. Окончивъ полный курсъ бутафорскихъ наукъ, Никита Александровичъ былъ выпущенъ на александринскую сцену «любовникомъ»,—не помню ужь, какого ранга. Подобно многимъ, даровитымъ и бездарнымъ питомцамъ этого училища, много о себѣ мнящимъ, онъ на первыхъ-же порахъ не поладилъ съ театральнымъ начальствомъ, находя, что его не цѣнятъ, обходятъ и не даютъ достойныхъ его таланта ролей, и вскорѣ оставилъ казенный храмъ Мельпомены.

Полный молодыхъ силъ и надеждъ, съ гордо поднятой головою непризнаннаго генія, пустился онъ въ провинцію собирать лавры, деньги и «цвѣты наслажденія», и съ той поры на всю жизнь сдѣлался кочующимъ актеромъ, притомъ—

однимъ изъ рельефнѣйшихъ представителей этого размашистаго, культурно-номаднаго типа, страннымъ образомъ соединяющаго въ себѣ непринужденную дикость «сыновъ природы» съ франтоватымъ лоскомъ внѣшней выправки не то испанскихъ грандовъ, не то парикмахеровъ, цыганскую безпорядочность съ діогеновской философіей и трактирное безпутство съ риторически-восторженнымъ культомъ вѣщихъ жрецовъ искусства, постигающихъ его, впрочемъ, нестолько изученіемъ, сколько «нутромъ».

Вначалѣ своей карьеры въ провинціи, Утробинъ пользовался успѣхомъ и даже чрезмѣрно имъ избаловался, до несноснаго самомнѣнія насчетъ непререкаемаго величія своего таланта и своей славы, и, отсюда, до полной окаменѣлости въ дѣлѣ саморазвитія, какъ это обыкновенно бываетъ со всѣми сценическими «нашими извѣстными любимцами публики».. Дарованіе у него было, но совершенно не воздѣланное, и онъ представлялъ собою одного изъ тѣхъ нашихъ «нутряныхъ» геніевъ, которые всю жизнь свою, какъ говорится, «подаютъ надежды», не выигрываясь въ настоящихъ мастеровъ искусства, обработываемаго ими обыкновенно по безцѣнной методѣ «тяпъ да ляпъ...». За всѣмъ тѣмъ, наши художники «тяпъ-да-ляпной» школы, вслѣдствіе безпутной жизни и непреоборимой наклонности къ хмѣльному зелью, очень скоро истощаютъ въ себѣ даже тотъ даръ, которымъ надѣлила ихъ природа, опускаются и кончаютъ очень плачевно. Это относится частію и къ нашему герою.

Не смотря на успѣхъ и хорошій гонораръ въ провинціи, Никита Александровичъ никакъ не могъ помириться ни съ сей послѣдней, относясь къ ней съ брезгливымъ фырканьемъ столичнаго денди, ни съ судьбой кочующаго актера, хотя-

бы и пользующагося славой «нашего извѣстнаго любимца публики». Онъ не замѣчалъ, что отъ долголѣтняго шатанья по разнымъ губернскимъ палестинамъ, самъ онъ опровинціалился въ дурномъ смыслѣ этого слова, что касалось, напр., его сценической дѣятельности, образа жизни, манеры держаться и пр. Считая себя столичнымъ человѣкомъ, предназначеннымъ удивлять столицу своимъ талантомъ, онъ изъ года въ годъ изыскивалъ всяческіе способы и ходы, чтобы получить ангажементъ на петербургскую императорскую сцену. Каждый разъ, являясь въ Петербургъ, онъ тѣшился мечтою: «Ну, вотъ, теперь-то пригласятъ!..» Упованіе это превратилось у него въ манію, отъ которой не могли его излѣчить никакія, порой—жестокія и обидныя разочарованія.

II.

Гостить въ Петербургъ, въ чаяніи желаннаго ангажемента, Утробинъ прилеталъ обыкновенно съ жаворонками. Здѣшніе его пріятели такъ уже и знали: прилетѣли жаворонки—значитъ, не сегодня—завтра нагрянетъ къ нимъ Никита Александровичъ и—наоборотъ—являлся Никита Александровичъ—вѣрное предвѣстіе прилета жаворонковъ и иныхъ перелетныхъ птицъ.

Въ этомъ случаѣ онъ слѣдовалъ обычаю провинціальныхъ актеровъ, наѣзжающихъ въ столицы весною, во время великопостнаго антракта для театровъ; но онъ былъ радъ всякому предлогу закатиться въ любезный ему Петербургъ и часто здѣсь подолгу заживался, заживался до послѣдняго гроша, въ явный ущербъ своему бюджету, и до послѣдней степени остуды всѣмъ, кто имѣлъ съ нимъ близкія сноше-

нія, такъ что болѣе откровенные друзья иногда ему говорили наотрѣзъ: «Да убирайся ты, наконецъ, ко всѣмъ чертямъ, откуда пріѣхалъ!»

Останавливался Утробинъ въ грязненькой гостинницѣ, въ столь-же неопрятномъ и неблаговонномъ Толмазовомъ переулкѣ, любопытномъ въ томъ отношеніи, что въ немъ сплошь, что ни входъ—то непремѣнно «*входъ* въ заведеніе» съ распивочною продажею питей. Никита Александровичъ избиралъ своимъ мѣстожительствомъ этотъ веселый, но очень не фешенебельный переулокъ потому, что отсюда десять шаговъ до «центра» столицы, Невскаго, и еще потому, что въ избранной имъ гостинницѣ собирались многіе изъ его столичныхъ пріятелей и знакомцевъ.

Свое водвореніе въ столицѣ Утробинъ начиналъ съ того, что пришпиливалъ къ дверямъ занятаго имъ номерка свою визитную карточку, ко всеобщему свѣдѣнію, потомъ доставалъ письменныя принадлежности и наскоро писалъ къ близкимъ пріятелямъ извѣщеніе такого, приблизительно, содержанія:

«Другъ Ваня (или Миша, или Костя... По свойственной актерамъ наклонности къ амикошонству, онъ всѣмъ почти знакомымъ говорилъ «ты» и кликалъ ихъ уменьшительно-ласкательными именами)! Съ сердечнымъ удовольствіемъ извѣщаю тебя, что я сего числа прибылъ въ милый Питеръ. Хочу пожить съ вами, отдохнуть душой и отряхнуть съ себя прахъ провинціи, *прахъ* ее возьми! Жажду обнять тебя и расцѣловать; приходи сегодня въ «Капернаумъ», къ Савельичу: я у него остановился. Смердитъ у него, да за то чувствуешь себя дома. Твой Никешка Утробинъ».

Кончивъ корреспонденцію, Никита Александровичъ при-

нимался за свой туалетъ и посвящалъ ему немало времени. Одѣвался онъ щегольски и непремѣнно у петербургскаго лучшаго портнаго; но тайна одѣваться съ тѣмъ неуловимымъ изяществомъ, которое отличаетъ свѣтскаго денди хорошаго тона, была для него также недоступна, какъ и многимъ нашимъ александринскимъ «премьерамъ». Всѣ эти дьявольски-фасонистыя жакетки, жилеты съ неправдоподобными вырѣзами, галстухи неслыханныхъ цвѣтовъ и узоровъ,—все это рѣзало глаза своей добротностью, казистой модностью и претензіей на «шикъ», на рекламу. Много зависѣло еще отъ того, какъ держалъ себя нашъ герой, а держалъ онъ себя съ аппломбомъ той разъухабистой, граничащей съ нахальствомъ, независимости, которая замѣчается у людей очень много о себѣ воображающихъ, но дурно воспитанныхъ, и всего чаще у актеровъ, уже по профессіи привыкающихъ къ позированію, къ «дѣланію» непринужденныхъ манеръ.

Театральная рисовка и размашистость лежали на всей здоровенной, рыхлой фигурѣ Никиты Александровича, съ ощутительными признаками ожирѣнія, выражались въ нюансахъ и жестахъ его дебелыхъ, неуклюжихъ оконечностей. Лицо у него было широкое, какое-то мятое, сѣро-бурое, съ пятнами, точно не мытое, съ грубыми, рѣзкими чертами и съ мутными, оловянными глазами, смотрѣвшими исподлобья надменно и задорно, но тупо и вполнѣ простодушно. Ни злости, ни хитрости въ этомъ человѣкѣ не было; ему только хотѣлось постоянно производить впечатлѣніе подавляющей значительности и изображать изъ себя картину, на которую всѣ засматривались-бы съ идолопоклонническимъ удивленіемъ. И были такіе, что поклонялись ему, а что касается женщинъ, то у многихъ изъ нихъ, не особенно требовательныхъ

и развитыхъ, онъ имѣлъ положительный успѣхъ и пожиралъ ихъ сердца съ невозмутимой плотоядностью божественнаго Минотавра, какъ законную себѣ дань.

Тщательно вырядившись, довольный собой и счастливый, Утробинъ гоголемъ шелъ въ «Капернаумъ», т. е. въ ресторанъ гостинницы, гдѣ прислуга и самъ хозяинъ Савельичъ, бодрый старичекъ съ физіономіей коршуна, встрѣчали гостя съ ярославской любезностью, какъ стараго, добраго знакомаго. Никита Александровичъ съ величаво-барской ласкою здоровался съ ними, присаживался у буфета и, потребовавъ графинчикъ съ легкой закуской, начиналъ разспрашивать Савельича о петербургскихъ новостяхъ и, главнымъ образомъ, объ общихъ знакомыхъ—«завсегдатаяхъ» гостепріимнаго дома сего: всѣ-ли живы и здоровы, по старому-ли блюдутъ свой дружественный союзъ и крѣпки-ли «Капернауму»?

По обыкновенію, все оказывалось въ вожделѣнномъ порядкѣ, всѣ были живы и здоровы, къ искреннему удовольствію Утробина. Да вотъ они и сами, друзья милые: сперва одинъ, потомъ другой, третій... Къ обѣщанному часу собиралась помаленьку вся честная компанія.

Компанія эта была интересная и стоила-бы особаго описанія; здѣсь-же мы кратко скажемъ только, что она состояла преимущественно изъ разнородныхъ представителей петербургской богемы «либеральныхъ профессій». Здѣсь были признанные и непризнанные литературные таланты, предававшіеся болѣе или менѣе свирѣпому кутежу либо методическому запою, частію по «принципу» и традиціи (существовали когда-то такіе «принципы» и «традиціи!»); были обреченные на бездѣйствіе актеры, ищущіе поддержки въ

литературѣ и популярности, и уже безнадежно махнувшіе рукой на бренную славу; были такіе-же неудачники-музыканты, художники,—безъ сомнѣнія, народъ все пьющій и много пьющій; были, наконецъ, любители искусствъ и поклонники талантовъ, главнѣе изъ гостиннодворскихъ гуляющихъ купчиковъ и эманципированныхъ «тятенькиныхъ сынковъ», подобострастно заискивающихъ дружбы у «господъ писателевъ и ахтеровъ» обильнымъ угощеніемъ и разными услугами и одолженіями.

Весь этотъ, въ большинствѣ, безалаберный, праздный и, отчасти, въ конецъ потерянный людъ, несвязанный между собою никакими путными, профессіональными или общими интересами, дружно объединялся въ «Капернаумѣ» «за круглымъ столомъ, вкуснымъ обѣдомъ и добрымъ виномъ», а если и не особенно «вкуснымъ» и «добрымъ», то честная компанія не прихотничала, отличаясь спартанской простотой вкусовъ и довольствуясь лишь тѣмъ, чтобы питія были установленныхъ градусовъ и дѣйствовали цѣлесообразно, въ чемъ Савельичъ—надо отдать ему справедливость—ревностно поддерживалъ добрую славу своего заведенія.

III.

Ничего нельзя было себѣ представить нѣжнѣе и дружелюбнѣе происходившихъ радостныхъ сценъ встрѣчи Утробина съ любезными ему «завсегдатаями» «Капернаума». Особенно нѣжничалъ и ликовалъ самъ Никита Александровичъ; но, впрочемъ, съ оглядкой и экономіей по отношенію къ нѣкоторымъ знакомымъ, которыхъ не считалъ достойными его интимности. Въ этомъ пунктѣ онъ былъ истый, въ

своемъ родѣ, генералъ и очень педантически распредѣлялъ свою благосклонность по чинамъ въ іерархіи художественно-литературныхъ извѣстностей. Считая себя первостепенной знаменитостью, онъ и льнулъ только къ знаменитостямъ, къ признаннымъ талантамъ, по его оцѣнкѣ, съ которыми искалъ короткости и доводилъ ее до послѣдней степени амикошонства, да, къ тому-жъ, на людяхъ, въ хвастливомъ намѣреніи показать, что, вотъ-де, съ какими извѣстностями онъ за панибрата!.. Правда, аршинъ у него для этого былъ не слишкомъ великъ. Къ пріятелямъ, которыхъ онъ не признавалъ ровней себѣ на поприщѣ славы, Утробинъ относился отечески-снисходительно, а многимъ, кто по его мѣркѣ ничего не значилъ, онъ только позволялъ себя обожать съ царственнымъ благодушіемъ вѣнчаннаго «любимца публики».

На радостяхъ первой встрѣчи, послѣ долгой разлуки, Никита Александровичъ, конечно, менѣе чинился; съ близкими-же друзьями былъ просто трогателенъ.

— Ваня!.. Другъ!.. Тебя-ли вижу?.. Милый!—вскакивалъ онъ, при появленіи какого нибудь закадычнаго Вани, бросался къ нему, заключалъ въ свои широкія объятія и начиналъ лобызать, какъ женщину.

— А-а!.. Никеша... Пріѣхалъ, милый... Здравствуй! здравствуй! отзывался Ваня, стараясь со своей стороны, не остаться въ долгу по части нѣжныхъ изліяній.

Разцѣловавшись, друзья съ минуту, держась за руки, смотрѣли одинъ на другаго маслянистыми, умиленными взорами, точно влюбленные.

— Ваничка!.. милушка!.. ахъ!

— Никешенька!.. дружечекъ!

И опять объятія и поцѣлуи.

— Ну, какже я радъ... какъ радъ, что тебя вижу! задыхаясь отъ полноты чувствъ, говорилъ Утробинъ и трясъ руки друга.

— И я душевно радъ, отвѣчалъ другъ.—Давно-ли ты пріѣхалъ?

— Сейчасъ только изъ вагона и—повѣришь-ли—словно-бы я изъ постылой чужбины или, вотъ, изъ тюрьмы на волю, въ родной домъ, въ свою семью возвратился! Въѣдешь въ Петербургъ—сердце молодѣетъ, и на душѣ легко, и въ головѣ какъ-то свѣтло становится... Ужъ, какъ я радъ!

— Да и намъ-то всѣмъ радость какая... Надолго ты въ Питеръ?

— Подольше хотѣлось-бы, а еслибъ можно, то и навсегда... Не разстался-бы съ вами, дорогіе!—еще разъ прижималъ друга къ сердцу Никита Александровичъ.—Да что-жъ мы стоимъ?—оглядывался онъ на свой столикъ.—Сядемъ!.. Тутъ у меня уже и выставочка собрана.

Друзья садились у «выставочки», т. е. у графинчика, съ присвоенными ему подспорьями и орнаментами.

— Ну, что-же ты въ провинціи подѣлывалъ? Лавры, чай-пожиналъ? Мы кое-что читали о твоихъ успѣхахъ,—говорилъ другъ.

— Э! надоѣли! съ капризной гримасой «любимца публики», отвѣчалъ Утробинъ, наливая, между тѣмъ, рюмки.—Развѣ въ провинціи есть публика, есть цѣнители? Горлодеры, которымъ балаганъ подавай, колѣнца откалывай... Чувствую, милушка, что загублю я свой талантъ, исчахну въ проклятой провинціи... Эхъ!.. Выпьемъ! меланхолически восклицалъ Утробинъ и трагическимъ жестомъ, точно шпагу, вонзалъ себѣ въ задранную глотку рюмку очищенной.

Другъ сочувственно производилъ ту-же операцію.

— Вѣдь я,—говорилъ Никита Александровичъ, тыкая вилкой въ закуску,—только здѣсь въ столицѣ, среди васъ, оживаю, умственно освѣжаюсь, набираюсь свѣта... А поѣдешь въ губернію—такая тамъ всюду необразованность, отсталость, пошлость: живаго слова не услышишь, не съ кѣмъ мыслью подѣлиться... Ну, и невольно опускаешься, глупѣешь, талантъ въ землю зарываешь... Грустно, братъ!.. Выпьемъ!

Процессъ вонзанія повторялся, какъ по маслу.

— А ты-бы, Никеша, здѣсь, у насъ, на столичной сценѣ пристроился... Расчудесно-бы это! обязательно предлагалъ другъ.

— Я не прочь! довольно охотно соглашался Никита Александровичъ. — Пусть позовутъ, предложатъ выгодныя условія—пойду...

А по лицу его было видно, что онъ пошелъ-бы и не на ахти-какія условія, только-бы позвали—насытили-бы его гордость!

— Похлопотать-бы нужно...

— Что-о? горделиво поднималъ голову Утробинъ и тономъ жестокаго презрѣнія отвѣчалъ:—Хлопотать, кланяться, унижаться... Никогда!.. Кажись, я не какая нибудь безъизвѣстная полезность... Я слишкомъ двадцать лѣтъ играю... меня вся Россія знаетъ!

— Конечно, милый другъ, ты у насъ знаменитость! не то искренно, не то съ ехидствомъ поддакивалъ пріятель.

— Вѣрно, еще не заслужилъ, коли о сю пору не зовутъ, съ горечью непризнаннаго генія, замѣчалъ Никита Александровичъ.

— Да, вѣдь, ты знаешь, какіе у насъ порядки? Канцеляризмъ.... рутина... искательство...

— То-то, вотъ! Одни только интриганы, да холопы безъ всякаго таланта у васъ успѣваютъ и всякому дарованію дорогу загораживаютъ... Поди, сунься актеръ даровитый, съ именемъ, всѣ эти ваши «премьеры» отъ зависти перебѣсятся, напакостятъ и заѣдятъ... Знаю я ихъ!

Должно замѣтить, что Утробинъ терпѣть не могъ петербургскихъ «премьеровъ» драматической сцены, считалъ ихъ всѣхъ бездарными ничтожествами и видѣлъ въ нихъ своихъ личныхъ затаенныхъ враговъ, благодаря, будто-бы, интригамъ которыхъ его и не звали на столичную сцену.

— Все-же отчаяваться не слѣдуетъ, утѣшалъ пріятель.— Есть пословица: «Богъ не выдастъ—свинья не съѣстъ...»

— Съѣстъ! сардонически возражалъ Никита Александровичъ.—Нѣтъ, милушка, видно, мнѣ не дождаться, чтобы меня здѣсь признали и оцѣнили... Подличать нужно, а на подлость я не способенъ—оттого и страдаю... Ну, да чортъ съ ними—выпьемъ лучше!

Между тѣмъ, постоянные посѣтители «Капернаума», одинъ за другимъ, подходили, и съ каждымъ изъ нихъ у Никиты Александровича происходили такія-же болѣе или менѣе нѣжныя сцены свиданія, повторялись тѣ-же разспросы и разговоры, какъ сейчасъ было описано. Каждый, вновь прибывшій посѣтитель, присаживался къ «выставочкѣ» и принималъ дѣятельное участіе въ ея экспертизѣ; сама она съ минуты на минуту расширялась и разнообразилась, такъ что вскорѣ для нея не хватало мѣста на столѣ, а вокругъ нея самимъ экспертамъ становилось тѣсно. Тогда компанія переходила въ отдѣльный «кабинетъ» отчасти и для того, чтобы избѣжать стороннихъ нескромныхъ глазъ и ушей, развернуться по домашнему, на распашку, а если,

въ случаѣ, произойдетъ, обычное во хмѣлю, какое нибудь свинство, то чтобы соръ не выносить изъ избы.

IV.

Описываемая компанія, въ нѣдрахъ которой Никита Александровичъ искалъ освѣженія и пищи для души и ума, отличалась замѣчательной усидчивостью. Расположившись съ комфортомъ въ «кабинетѣ», вокругъ стола, обремененнаго питіями, она безъотходно, въ полномъ составѣ, засиживалась здѣсь обыкновенно «до запора», по трактирному выраженію, то есть, до закрытія «Капернаума», часовъ этакъ до двухъ ночи, а то и гораздо долѣе. Высидѣть битыхъ полсутокъ въ духотѣ, въ табачномъ дыму, смѣшанномъ съ трактирными міазмами, и, при этомъ, систематически нагружаться разной спиртуозной дрянью—собесѣдникамъ ничего не стоило, хотя, правда, подъ конецъ бесѣды многіе изъ нихъ не вязали лыка и не въ состояніи были безъ посторонней помощи выбраться изъ «Капернаума» и попасть домой.

Что касается происходившей здѣсь бесѣды, то сама компанія очень удачно опредѣлила ея содержаніе и значеніе, называя ее *шабаршей*. Это, дѣйствительно, была пьяная, безтолковая и безпардонная шабарша, въ которой ничего нельзя было разобрать, особенно подъ конецъ вечера. Въ одномъ углу разсказывались старые и большею частью нецензурные анекдоты; въ другомъ собесѣдники налаживались спѣть пѣсню и выли пьяными, звѣриными голосами; въ третьемъ шелъ обмѣнъ сплетень; о бокъ, тутъ-же, завязывалась перебранка; были и такіе, что угрюмо молчали, сосредоточенно опоражнивая стаканъ за стаканомъ; наконецъ,

время отъ времени, Утробинъ, яко знаменитый «артистъ-чтецъ», по убѣдительной просьбѣ своихъ поклонниковъ, пытался декламировать избранныя стихотворенія изъ своего репертуара, но, обыкновенно, шабарша его заглушала... Въ общемъ, выходила какая-то шумная, нелѣпая и отнюдь не веселая чепуха!

Всегда и вездѣ претендуя на первенство, на картинность своей позиціи, Никита Александровичъ, въ качествѣ почетнаго гостя и «нашего извѣстнаго любимца», занималъ въ компаніи роль и мѣсто амфитріона, старался руководить шабаршей и быть предметомъ общаго дружески-почтительнаго вниманія и угощенія. Кромѣ того, право на постъ амфитріона ему безспорно принадлежало еще и потому, что онъ, по своей могучей комплекціи и по привычкѣ, могъ пить очень много, не пьянѣя ощутительно, и обыкновенно перепивалъ всѣхъ собутыльниковъ.

Съ отличающей его наивною претензіей, онъ и здѣсь, въ «Капернаумѣ», принимался читать свои вирши, вотще противуборствуя шабаршѣ. Въ эти моменты страшно на него было смотрѣть.

Закинувъ назадъ голову и выпятивъ грудь, заложивъ лѣвую руку за жилетъ, а правую сжавъ въ грозный кулакъ, онъ съ минуту молча обводилъ компанію строгимъ, угрюмымъ взоромъ, затѣмъ, вбиралъ въ себя воздухъ, искажалъ лицо заученнымъ жестомъ трагическаго пафоса и, съ какимъ-то деревяннымъ трескомъ въ голосѣ, выстрѣливалъ что нибудь въ такомъ родѣ:

Бѣднякъ, трудись, трудись прежде всего!
Пррре-жде всего!

На минуту компанія, ошеломленная этимъ, точно командирскимъ призывомъ «трудиться прежде всего», дѣйствительно производившимъ въ декламаціи Утробина впечатлѣніе бьющей по уху нравоучительной дубины, смолкала и слушала; но, обыкновенно, какой нибудь захмѣлѣвшій и недостаточно впечатлительный «бѣднякъ» на первыхъ-же строфахъ прерывалъ вдохновеннаго «артиста-чтеца» неожиданнымъ критическимъ замѣчаніемъ.

— Не страшно!.. Ей-Богу, не страшно!—восклицалъ чаще всего въ такихъ случаяхъ одинъ посѣдѣлый въ шабаршѣ бытописатель, въ подпитіи—врагъ всякаго благочинія и всякой церемоніальности.

Прерванный, Утробинъ останавливался и вперялъ убійственный, уничтожающій взоръ на безчувственнаго и дерзновеннаго «бѣдняка», на котораго въ тоже время набрасывались съ упреками пылкіе поклонники «артиста-чтеца».

— Что ты хочешь этимъ сказать? спрашивалъ его съ ледяной холодностью Никита Александровичъ.

— Да только и всего, что не страшно... Не испугаешь, братъ! съ громкимъ хохотомъ блягировалъ бытописатель.

— Гдѣ ужь испугать, когда ты, вишь, въ какомъ куражѣ теперь! язвительно иронизировалъ Утробинъ.

— А ты-бы, чай, хотѣлъ, чтобы мы отъ твоей декламаціи въ священный трепетъ приходили?.. Ха-ха-ха! смѣялся тотъ и, вдругъ, изъ своего обычнаго благодушно-игриваго тона переходилъ въ раздражительный, и съ пьянымъ азартомъ накидывался на «любимца публики»:—Ну, на кой чортъ ты, дурачина, здѣсь передъ нами ломаешься и благородный спектакль изъ себя представляешь?.. Что здѣсь—театральная зала? Что мы, стиховъ твоихъ не слы-

хали?.. Или ты въ самомъ дѣлѣ воображаешь себя очаровательнымъ чтецомъ?—Горлопятъ ты пустозвонный и больше ничего!.. Хочешь, я сейчасъ лучше тебя стихи твои прочитаю?.. Хочешь?

Такая откровенная «критика» казалась Утробину до того неправдоподобной, нелѣпой и невозможной, что онъ даже не сердился, считая ее безсмысленнымъ, пьянымъ бредомъ.

— Однако, милушка, какъ тебя разобрало... Развѣ можно до безпамятства напиваться? Выпей зельтерской воды, голубчикъ, приди въ себя! спокойно и даже дружески-участливо относился онъ къ своему критику; но, впрочемъ, стиховъ ужь больше не декламировалъ.

Дружеская шабарша часто оканчивалась такими и еще болѣе бурными полемическими размолвками, которыя, однакожь, нисколько не портили отношеній членовъ компаніи. На другой день, повздорившіе наканунѣ во хмѣлю, пріятели встрѣчались какъ ни въ чемъ не бывало.

Такимъ-то порядкомъ почти изо дня въ день, коротая досуги съ своими петербургскими друзьями въ «Капернаумѣ», Никита Александровичъ, какъ онъ выражался, молодѣлъ сердцемъ, освѣжался душой и просвѣтлялся умственно, послѣ прозябанія въ провинціальномъ мракѣ... Какъ во всѣхъ своихъ предрасположеніяхъ и иллюзіяхъ, онъ и въ этомъ пунктѣ никогда, кажется, не испытывалъ разъѣдающихъ сомнѣній, и каждый разъ возвращался въ Петербургъ, какъ въ спасительную для его души Мекку.

V.

Дружескія связи съ посѣтителями «Капернаума» имѣли для Утробина и кое-какіе практическіе результаты. Въ числѣ этихъ посѣтителей встрѣчались сотрудники газетъ, театральные критики, и, вотъ, благодаря ихъ дружбѣ, Никита Александровичъ имѣлъ ни съ чѣмъ несравнимое удовольствіе на другой или на третій день, по пріѣздѣ, находить въ печати такое о себѣ извѣщеніе:

«Спѣшимъ сообщить, что на этихъ дняхъ прибылъ въ Петербургъ изъ провинціи нашъ извѣстный любимецъ публики, артистъ-чтецъ Н. А. Утробинъ, и, какъ мы слышали, пробудетъ здѣсь весь великій постъ».

Въ другой газетѣ, болѣе усердное перо, къ извѣщенію о прибытіи Никиты Александровича, добавляло, въ видѣ пріятнаго для читателей предположенія: «Надѣемся, что г. Утробинъ, талантъ котораго хорошо знакомъ и такъ высоко цѣнится въ столичной публикѣ, доставитъ ей удовольствіе слышать себя на нашихъ подмосткахъ, въ числѣ другихъ корифеевъ великопостнаго сезона».

Третье, еще болѣе благорасположенное къ нашему герою перо поднимало открыто самый дорогой и чувствительный для него вопросъ:

«Наша столичная сцена въ упадкѣ, писало это перо.— Отчего?—Оттого что на нее не пускаютъ свѣжихъ выдающихся силъ! Въ настоящее время въ Петербургѣ гоститъ извѣстный любимецъ публики Н. А. Утробинъ. Драматическій талантъ его громаденъ, репертуаръ всеобъемлющій, слава всероссійкая! И что-же? Наша дирекція до сихъ поръ

и не подумала пригласить его на столичную сцену, хотя мы не однажды уже на него указывали... Еще разъ вопіемъ и молимъ: дайте дорогу великому таланту! дайте петербургской публикѣ Утробина, что-бы она узрѣла воочію, что такое истинный артистъ-художникъ!»

Хотя Никита Александровичъ принималъ эти дружескія рекламы за дань должной ему справедливости, но онѣ очень льстили ему, укрѣпляли въ немъ самомнѣніе и окрыляли надеждами на исполненіе его завѣтныхъ желаній.

— Теперь-то *позовутъ* непремѣнно! мечталъ онъ съ большей увѣренностью, чѣмъ когда нибудь.

Мечталъ онъ и ждалъ, ждалъ съ часу на часъ нетерпѣливыхъ и обольстительныхъ приглашеній. Приглашеній онъ ждалъ не отъ одной только театральной дирекціи— вступить актеромъ на казенную сцену, но и отъ устроителей разныхъ великопостныхъ художественно-музыкально-литературныхъ зрѣлищъ, утръ и вечеровъ, для участія въ ихъ программѣ, въ качествѣ знаменитаго чтеца. Ожиданіе послѣдняго рода приглашеній входило и въ бюджетные разсчеты Утробина, въ видѣ «смѣтныхъ поступленій», и имѣло для его кармана существенную важность.

Было время, когда его довольно часто звали читать стихи передъ столичной публикой, которой онъ и былъ нѣсколько извѣстенъ, именно, какъ чтецъ, т. е., какъ *артистъ*-чтецъ. Чтеніе его могло нравиться, пока не наскучало, а наскучить оно могло со втораго раза. Кто слушалъ Никиту Александровича впервые, тотъ невольно подкупался задушевностью его тона, огненной выразительностью и силой пафоса, постепенно переходившаго въ тихую «гражданскую скорбь», звучавшую вибрирующими въ голосѣ искреннѣй-

шими слезами... Но во второй, въ третій и въ тридцатый разъ были все тотъ же тонъ, та-же выразительность, тѣ-же придыханія и слезы точка въ точку, и—слушатель начиналъ зѣвать, постигнувъ, что тутъ ничего нѣтъ, кромѣ декламаторской механики и театральной рутины.

Наконецъ, всякому овощу свое время. Никита Александровичъ процвѣлъ, когда чтеніе стиховъ со сцены было въ модѣ. Въ описываемый-же финальный моментъ житія нашего героя, онъ не замѣчалъ, что и на его искусство, и на его самого мода давно прошла, что и самъ онъ уже не тотъ, какимъ былъ въ свою цвѣтущую эпоху: теперь на его плечахъ лежало слишкомъ сорокъ лѣтъ, сказывавшихся въ порчѣ, отяжелѣніи и огрубѣніи его внѣшней представительности, голосъ его, когда-то звучный и крѣпкій теперь сдѣлался какимъ-то утробнымъ и въ его дребезжащемъ, катаральномъ тембрѣ слышался характерный и крайне не мелодическій отзвукъ перепоя...

Ничего этого не замѣчалъ и не подозрѣвалъ Никита Александровичъ, и, преисполненный увѣренности въ себѣ и въ свою славу, съ нетерпѣніемъ ждалъ со всѣхъ сторонъ лестныхъ ангажементовъ. Но проходили дни, а къ нему никто не обращался; развѣ забѣжитъ только какой нибудь вымолачивающій рожь на обухѣ, легкомысленный спекулянтъ-предприниматель великопостныхъ импровизированныхъ «художественно-музыкальныхъ вечеровъ съ живыми картинами».

— Я къ вамъ,—скажетъ,—Никита Александровичъ, съ покорной просьбой. Вечерокъ я устраиваю въ клубѣ, такъ не соблаговолите-ли принять участіе?

— Можно... Я готовъ! даетъ согласіе Утробинъ, внутренно обрадованный, но наружно храня видъ равнодушія.

— Очень обяжете! кланяется предприниматель.

— Надѣюсь, въ программѣ у васъ не шушера какая нибудь участвуетъ?

— Какъ можно! Все извѣстные, уважаемые артисты...

— То-то-же! Я, вѣдь, съ кѣмъ нибудь не дамъ поставить рядомъ мое имя...

— Будьте покойны на этотъ счетъ!

— Хорошо... я согласенъ.

— А позвольте узнать, каковы будутъ ваши условія?

— Развѣ вы не знаете?! Сто рублей за выходъ...

— Помилуйте! Это невозможно-съ!..

— Какъ невозможно? Мнѣ всегда платили сто рублей.

— Да можетъ быть это прежде было, а ныньче, сами знаете, публика больше къ шансонеткѣ вкусъ оказываетъ.

— Такъ зачѣмъ же вы ко мнѣ обращаетесь?

— Какъ-же! Вѣдь, вы у насъ извѣстный любимецъ публики... Только сто рублей никакъ невозможно... Ужъ вы, Никита Александровичъ, будьте такъ добры—возьмите двадцать пять рубликовъ... Право!

— Вы къ кому пришли? грозно и презрительно оглядывалъ гостя Утробинъ.

— Извините, Никита Александровичъ, но, ей-Богу, я больше предложить не могу.

— Ну, такъ проваливайте!

Предприниматель испарялся. Утробинъ, хотя и былъ доволенъ, что поддержалъ свое достоинство, но гдѣ-то въ глубинѣ души назойливый голосъ «холоднаго разсудка» шепталъ ему, что и двадцать пять рублей для него были-бы весьма невредны... «Ну,—утѣшался Никита Александро-

вичъ,—подождемъ: это приходилъ какой-то шаромыга, а, вотъ, ужо, явятся настоящіе мастера сихъ дѣлъ!»

Являлись дѣйствительно такіе предприниматели, что не стояли за цѣной; но, когда послѣ отпразднованнаго вечера, дѣло доходило до разсчета, они простодушно, даже съ юморомъ, вскрывали свою кассу, показывали, что она пуста и извинялись, что расплатиться не въ состояніи. Случалось Утробину читать и завѣдомо даромъ на вечерахъ съ благворительной цѣлью или устраиваемыхъ пріятелями. Никита Александровичъ былъ великодушенъ и довольствовался въ такихъ случаяхъ приличнымъ ужиномъ на пріятельскій счетъ, а то и одной благотворительной зельтерской водой.

Въ концѣ концовъ, результатъ былъ плачевный, но Утробина онъ не разочаровывалъ.

VI.

— Устраиваю свой художественно-литературный вечеръ... Поддержите, друзья! Вотъ вамъ и билеты! — возвѣстилъ какъ-то въ концѣ поста Никита Александровичъ своимъ пріятелямъ въ «Капернаумѣ» и тутъ-же надѣлилъ ихъ входными билетами, разумѣется, безплатно.

— Прекрасная идея! Въ добрый часъ! — отозвались друзья.

— Кто-жъ у тебя участвуетъ?

— Во-первыхъ, конечно, вашъ покорный слуга... Кажется, публика меня еще не забыла.

— Гдѣ забыть? какъ это можно?

— Потомъ... Да вотъ у меня и программа уже готова. Читайте!

Въ программѣ, дѣйствительно, стояли все имена раз-

ныхъ сценическихъ «любимцевъ публики», и — весь «Капернаумъ» отъ души поздравлялъ Утробина заранѣе съ блестящимъ успѣхомъ.

На самомъ дѣлѣ, Никита Александровичъ ставилъ тутъ послѣднюю свою карту, какъ потомъ оказалось, хотя самъ онъ этого не подозрѣвалъ. Здѣсь для послѣдовательности разсказа о конечномъ декадансѣ нашего героя, намъ необходимо возвратиться нѣсколько назадъ.

Въ описываемый моментъ онъ пріѣхалъ въ Петербургъ еще зимою, до поста, съ намѣреніемъ такъ или иначе добиться ангажемента на казенную сцену. Смиривъ свою гордыню, подобно Магомету, пошедшему на встрѣчу горѣ, когда она не захотѣла сдвинуться для него съ мѣста, Никита Александровичъ рѣшился побить челомъ театральной дирекціи послѣ того, какъ она сама упрямо не шла къ нему на поклонъ.

Скрѣпя сердце, явился Никита Александровичъ къ тогдашнему заправителю судьбами Александринскаго театра, холодному, угрюмому старцу, котораго какими-бы ни были славами и именами мудрено было удивить.

— Что вамъ угодно?—равнодушно, своимъ гробовымъ голосомъ, спросилъ онъ Утробина, когда тотъ съ величавымъ достоинствомъ расшаркался передъ нимъ.

— Я, ваше превосходительство, пришелъ просить у васъ дебюта на казенной сценѣ,—сказалъ Никита Александровичъ.

— Вы намъ не нужны... штатъ у насъ полонъ. Впрочемъ,—помялъ своими отвислыми губами старецъ,—мы талантамъ всегда рады...

Утробинъ съ признательностью поклонился.

— Извольте!—рѣшилъ старецъ. — Въ какой-же роли вы хотите дебютировать?

— Я просилъ-бы дать мнѣ три дебюта.

— Хорошо; но въ чемъ же вы выступить желаете?

— На первый разъ позвольте съиграть Чацкаго.

Старецъ внимательно оглядѣлъ всю фигуру Утробина и въ углахъ его губъ скользнуло что-то похожее на усмѣшку.

— Вамъ сколько лѣтъ, позвольте спросить?

— Сорокъ три...

— Хорошо-съ... Сорокъ три и... вы играете Чацкаго?

— Да, это моя генеральная роль, и не далѣе, какъ нынѣшней осенью въ Рязани меня полтораста разъ вызвали за исполненіе этой роли...

— Очень хорошо-съ! На второй дебютъ вы, вѣроятно, Ромео съиграете... Конечно, Шекспиръ въ вашемъ репертуарѣ?

— Точно такъ, ваше превосходительство; только для втораго дебюта я просилъ-бы не Ромео, а Гамлета... Ромео послѣ можно.

— Хорошо-съ! Гамлетъ тоже подходящая для васъ роль.

— На третій-же дебютъ, ваше превосходительство...

— Ну, до третьяго дебюта еще далеко... Мы вотъ-сперва васъ въ Чацкомъ посмотримъ... Любопытно! Роль эту вы получите на-дняхъ.

Утробинъ разсыпался въ благодарностяхъ и явился въ «Капернаумъ» земли подъ собой не слыша, да какъ явился, такъ на радостяхъ и прилипъ къ буфету... Давно онъ не былъ такъ счастливъ и такъ пьянъ, какъ въ этотъ день. И тѣни сомнѣнія въ немъ не было, чтобы онъ могъ провалиться.

— Благо, что дебютъ-то дали, а ужъ потомъ сами не выпустятъ, если только судъ прессы и публики для нихъ что нибудь значитъ!—съ горделивымъ самодовольствомъ изъяснялся онъ.

Дебютъ ему дали, и, именно, въ роли Чацкаго. Сговорчивость лукаваго александринскаго принципала была въ этомъ случаѣ очень подозрительна, только не для Никиты Александровича, которому и въ голову не могло придти, что, давая ему эту роль, съ нимъ поступали зло и предательски, съ явнымъ намѣреніемъ доставить ему оказію потерпѣть фіяско.

Уже по одной внѣшности, Утробинъ былъ невозможенъ въ Чацкомъ, даже на взглядъ эстетиковъ «Капернаума», чего они, впрочемъ, въ трезвомъ состояніи ему не говорили. Юный, элегантный Чацкій, и — вдругъ, топорная, дебелая фигура сорока-лѣтняго верзилы съ объемистымъ брюшкомъ; свѣтскій денди, баринъ, и—какой-то разъухабистый молодецъ съ ухватками ярмарочнаго франта; изящные тонкой отдѣлки монологи — въ хрипломъ ревѣ надтреснутой отъ перепоя глотки... Большаго контраста и болѣе жалкой каррикатуры нельзя было себѣ представить!

Несмотря на жидкіе хлопки и вызовы дружественной клики, какъ всегда поддержанной сангвиническими добровольцами райка, Никита Александровичъ провалился безъусловно, но—чудакъ!—ему этого не было видно, даже и послѣ того, какъ ему сказали это въ печати нѣкоторые критики. Онъ искренно былъ убѣжденъ въ успѣхѣ и жаловался лишь на то, что во время игры ему портили и подставляли ножку александринскіе «интриганы», которые все таки не помѣшали ему пожать лавры. Самоувѣрен-

ренность его была такъ велика, что онъ имѣлъ мужество явиться къ александринскому принципалу просить втораго дебюта.

— Хорошо-съ!—отвѣтилъ тотъ со своимъ обычнымъ непроницаемымъ хладнокровіемъ.—Теперь въ Ромео желаете отличиться...

— Нѣтъ, ваше превосходительство, я прошу сперва Гамлета.

— Хорошо... А скажите: вы Скалозуба не пробовали играть?

— Н-нѣтъ...

— А вы-бы попробовали! Вы вылитый Скалозубъ и, во всякомъ случаѣ, гораздо болѣе были-бы на мѣстѣ въ этой роли, чѣмъ въ Чацкомъ...

Утробинъ въ отвѣтъ только презрительно сжалъ губы.

— Впрочемъ, вы и Чацкій превосходный! — добавилъ старецъ.

— И такъ, ваше превосходительство, я могу надѣяться...

— На второй дебютъ? Нѣтъ-съ! Я думаю, совершенно достаточно было и одного... Вы — безспорно большой талантъ; но, къ сожалѣнію, у насъ штатъ полонъ... Прошу прощенія!

Этотъ совсѣмъ уже недвусмысленный отказъ Никита Александровичъ принялъ за чистую монету и потомъ носился съ нимъ.

— Интриги... канцеляризмъ... Я, вѣдь, этого и ждалъ— изливался онъ друзьямъ. — Говорятъ: штатъ полонъ... Конечно, полонъ бездарностями, гдѣ ужъ тутъ дать мѣсто таланту?!

Такъ, съ этой несокрушимой вѣрой въ себя и въ то,

что, только, по интригамъ соперниковъ, ему не даютъ ходу на столичной сценѣ, Никита Александровичъ пребылъ до конца.

VII.

Устроить въ свою пользу «художественно-литературный вечеръ» Утробинъ рѣшился не только для поддержанія и удостовѣренія, въ пику «врагамъ», своей славы, но также съ прозаическимъ разсчетомъ пополнить свой тощій кошелекъ. Какъ всегда, преисполненный увѣренности, онъ заранѣе предвкушалъ успѣхъ и, мысленно проектировавъ богатый сборъ съ вечера, считалъ его какъ-бы уже лежащимъ у него въ карманѣ и въ такомъ разсчетѣ распоряжался. Разъѣзжалъ, напр., не иначе, какъ въ каретѣ, заказывалъ платье, задавалъ пріятелямъ пирушки и даже благотворительствовалъ нуждающимся изъ нихъ, все это en crédit, въ счетъ близкихъ будущихъ благъ.

Удивительнѣе всего было то, что онъ умѣлъ сообщить свою вѣру въ себя и въ осуществимость своихъ мечтательныхъ предположеній и разсчетовъ не только пріятелямъ, но даже кредиторамъ,—такъ онъ былъ въ этомъ пунктѣ искрененъ и такъ неотразимо подкупалъ своимъ аппломбомъ человѣка, знающаго себѣ цѣну и обозначающаго ее крупной, внушительной цифрой!

Для устройства вечера нужно было нанять залу, музыку, артистовъ. Все это Утробинъ умѣлъ добыть голыми руками, не тратя впередъ ни копѣйки, да и не имѣя возможности тратить за пустотой своего кошелька. Хозяева залы и музыки заикнулись было о платѣ впередъ, но Никита Александровичъ осадилъ ихъ въ одинъ мигъ.

— Вы развѣ не знаете, кто я?—сказалъ онъ, окидывая ихъ гордымъ, подавляющимъ взглядомъ.

— Какъ не знать? Помилуйте!—стали извиняться тѣ.

— Что-же, вы мнѣ не вѣрите? Сдѣлаю я у васъ сборъ, захвачу подъ мышку кассу и удеру?.. А?

— Мы вамъ вполнѣ вѣримъ, но обезпеченьице не мѣшало-бы.

— Какое-же вамъ большее обезпеченіе—сборъ съ вечера?!

— Да, вѣдь, сборъ можетъ быть, можетъ и не быть...

— Х-ха! У меня, на моемъ вечерѣ, можетъ не быть сбора?.. Что я, съ улицы къ вамъ пришелъ? Первый разъ передъ публикой выступаю? Публика меня не знаетъ и знать не захочетъ?.. Странные вы люди, господа!

И «странные люди» прониклись вѣрой въ успѣхъ вечера и въ богатый сборъ съ него въ такой степени, что не только дали залъ съ музыкой, но согласились еще приготовить, по заказу Никиты Александровича, въ кредитъ ужинъ съ виномъ на пятьдесятъ персонъ для его друзей и артистовъ, участвующихъ въ вечерѣ. Ужинъ входилъ въ планъ торжества, какъ его апоѳеозъ, какъ вещественное доказательство успѣха вечера и его героя! Утробинъ, вообще, любилъ дѣлать все широко и такъ, чтобы его артистическія имянины были красны не только углами, но и пирогами.

Вечеръ состоялся, но—какой-же комическій и плачевный!

Въ девятомъ часу вечера, готовясь въ уборной къ выходу и, для этого, отдавъ въ распоряженіе парикмахера свою жидкую, клочковатую шевелюру, Никита Александровичъ послалъ узнать: собралась-ли публика и каковъ сборъ въ кассѣ?

— Публики малость есть, а сбору въ кассѣ всего семь рублей пятьдесятъ копѣекъ!—доложилъ ему слуга.

— Что ты врешь?—вскричалъ въ негодованіи Утробинъ, такъ что завивавшій его въ эту минуту парикмахеръ чуть не вырвалъ щипцами изъ его головы цѣлый локонъ.

— Зачѣмъ врать?—оправдывался слуга.—Спросите сами кассира!

— Но, вѣдь, я самъ видѣлъ—публики въ залѣ довольно.

— Приходитъ, да все больше по безплатнымъ билетамъ.

— Обрадовались!—съ досадой подумалъ Никита Александровичъ о своихъ пріятеляхъ, которымъ самъ-же щедро разсовывалъ билеты.—Обкрадываютъ меня!—было его второю мыслью уже по отношенію къ кассиру и хозяевамъ залы.—Не станемъ унывать: сборъ еще впереди!—заключилъ онъ свои размышленія и торжественно вышелъ на сцену, гдѣ его ждало новое разочарованіе.

Назначенный для начала вечера часъ наступилъ и прошелъ; оркестръ отбарабанилъ какой-то ретивый галлопадъ, необыкновенно гулко протрещавшій въ пустынной почти залѣ, а занавѣсъ все не поднимался. Не поднимался онъ потому, что Утробинъ все еще поджидалъ публику, а, главное, поджидалъ артистовъ, которымъ, по программѣ, слѣдовало открыть вечеръ.

Въ данную минуту, въ наличности только были: самъ корифей торжества, таперъ-аккомпанистъ и заштатная, полинявшая и безголосая, опереточная пѣвица, обрадовавшаяся случаю напомнить о себѣ публикѣ и показать ей свой роскошный костюмъ, какъ вывѣску своего грѣхопаденія... И больше ни души!

— Что-жь это они со мной дѣлаютъ? Вѣдь, это свин-

ство!—негодовалъ и жаловался пѣвицѣ на артистовъ взволнованный Никита Александровичъ.

Бѣдный! онъ не подозрѣвалъ, что народъ этотъ, тонкимъ нюхомъ артистическаго соперничества учуявъ окончательный декадансъ коллеги, завѣдомо и безжалостно обманывалъ его, безъ церемоніи отвертывался отъ него, потому что пѣсенка его спѣта и, значитъ, онъ намъ не нуженъ и неопасенъ. У не многихъ хватило честности и прямоты, отказать ему наотрѣзъ; другіе-же, давъ согласіе участвовать въ вечерѣ, присылали теперь записки, что не могутъ быть; были и такіе, что не явились, даже не потрудившись предъувѣдомить объ этомъ. Долгъ историка обязываетъ насъ сказать, что въ программѣ, для приманки, значились и такіе «любимцы публики», которые вовсе не обѣщали своего участія въ вечерѣ; но ужъ безъ этого нельзя.

— Что-жъ, Марья Ивановна, будемте начинать! Сперва я, потомъ вы... Тѣмъ временемъ другіе подъѣдутъ!—рѣшилъ Никита Александровичъ, обращаясь къ пѣвицѣ.

— Извольте: я готова!—сказала та, оправляя свои пышные атуры.

Взвился занавѣсъ. На аванъ-сцену вышелъ наряженный во фракъ ламповщикъ и заявилъ, что, «по внезапной болѣзни № 1-го въ программѣ, прочтетъ стихотвореніе г. Утробинъ».

Въ бѣломъ галстухѣ, въ бѣлыхъ перчаткахъ и лакированныхъ ботинкахъ, съ атласнымъ шапо-клякомъ въ лѣвой рукѣ, съ завитыми волосами, «торжественно и чудно» выступилъ изъ за кулисъ Никита Александровичъ, подошелъ къ рампѣ, взглянулъ на тѣ ряды стульевъ, гдѣ, въ видѣ оазисовъ, чернѣли жидкія кучки публики, и съ достоинствомъ поклонился... Послышались прерывистые, усердные,

но очень не густые апплодисменты: это пріятели расплачивались за даровые билеты и за предстоявшій даровой ужинъ...

— Изъ поэмы: «Клермонтскій соборъ!»—возвѣстилъ Никита Александровичъ и грянулъ. Онъ нарочно выбралъ стихотвореніе подлиннѣе, чтобы выиграть время, въ теченіе котораго, ему думалось, подъѣдутъ артисты.

Кончился «Клермонтскій соборъ», опять послышались жидкіе всплески хлопанья, Утробинъ церемонно раскланялся и ушелъ за кулисы.

— Пріѣхалъ кто нибудь?—освѣдомился онъ первымъ дѣломъ.

— Никого!

— О, свиньи, свиньи!—трагически воскликнулъ онъ.— Марья Ивановна, выручайте!—обратился онъ къ пѣвицѣ.

Снова явился у рампы ламповщикъ и объявилъ, что, «по внезапной болѣзни № 2-го, госпожа Пискунова исполнитъ романсъ». Вышла, въ сопровожденіи тапера, г-жа Пискунова, волоча за собой трехъаршинный шлейфъ, дрыгнула ногой, чтобы его расфуфырить, кивнула нарядной головкой и сложила на брюшкѣ ручки. Ей тоже похлопали. Таперъ ожесточенно ударилъ по клавишамъ, г-жа Пискунова раскрыла ротикъ и взвизгнула:

Уймитесь волненія страсти!

— Браво! Браво!—раздались голоса благодарныхъ пріятелей, когда «волненія страсти» благополучно кончились и г-жа Пискунова, по обычаю опереточно-каскадныхъ пѣвицъ, въ припрыжку, потащила свой шлейфъ за кулисы.

Вслѣдъ за этимъ, опять ламповщикъ, опять «внезапная болѣзнь» и, на смѣну пѣвицы, опять Никита Александровичъ съ неизбѣжнымъ шапо-клякомъ въ рукахъ. Такъ, все «первое отдѣленіе» они и чередовались. «Второе отдѣленіе» прошло въ томъ же порядкѣ; «третье»—тоже, но подъ конецъ его у г-жи Пискуновой истощился репертуаръ, и Никита Александровичъ фигурировалъ уже одинъ, не только за себя, за Марью Ивановну и за «внезапно заболѣвшихъ» артистовъ, но и за публику, которая, пресытившись столь однообразнымъ содержаніемъ вечера, недовольная и скучающая, разбѣжалась... Въ залѣ остались одни только самые преданные друзья Утробина. Самъ онъ, утомленный, осипшій, съ потнымъ, осунувшимся лицомъ, имѣлъ подъ конецъ «третьяго отдѣленія» жалкій видъ сейчасъ только отмахавшей цѣлую станцію почтовой клячи.

Какимъ-то роковымъ образомъ случилось такъ, что въ заключеніе онъ читалъ лермонтовскаго «Гладіатора», въ концѣ котораго есть стихи:

Всѣ ждутъ его назадъ съ добычею и славой...
Напрасно: жалкій рабъ, онъ палъ, какъ звѣрь лѣсной,
Безчувственной толпы минутною забавой...
Прости, развратный Римъ! прости, о, край родной!

Произнося эти стихи, Никита Александровичъ не подозрѣвалъ, что въ нихъ, отчасти, и повѣсть и пророчество его собственной судьбы, что онъ тоже въ послѣдній разъ «прощался» здѣсь съ «развратнымъ», непризнавшимъ его и отвергнувшимъ Петербургомъ, для котораго онъ послужилъ «минутною забавой».

Вечеръ кончился. Утробинъ, пригласивъ г-жу Пискунову на ужинъ и получивъ согласіе, подалъ ей руку и церемоніально повелъ ее въ заранѣе предназначенный для этого пиршества покой. Къ удивленію своему, онъ не нашелъ тамъ никакихъ приготовленій.

— Что это значитъ? Я заказалъ ужинъ—гдѣ-же онъ?—раскричался онъ на распорядителей.

— Ужинъ готовъ и можетъ быть сейчасъ поданъ, отвѣтили ему, если... если только будутъ уплочены слѣдуемыя съ васъ деньги: за залу, за музыку и за самый ужинъ...

— Да развѣ я отказываюсь платить? Возьмите изъ сбора сколько вамъ нужно и, пожалуйста, не сердите меня глупыми претензіями!

— Изъ какого сбора? Вашего сегодняшняго сбора за одно освѣщеніе расплатиться не хватитъ... Какихъ-то пятьдесятъ рублей!

— Не можетъ быть!..

— Справьтесь сами!

— Ну, все равно, я заплачу...

— Мы объ этомъ, вотъ, и просимъ. Прикажите получить!

— Сказалъ: заплачу, но не сейчасъ... Деньги не при мнѣ.

— Безъ денегъ мы ужина не можемъ подать!

Вышла очень непріятная сцена, но сколько ни кричалъ и ни задавалъ тону Утробинъ, ему на этотъ разъ не повѣрили и оставили безъ ужина. Для его самолюбія это былъ ужасный ударъ, такъ что онъ даже въ «Капернаумъ» глазъ не смѣлъ показать и, спустя нѣсколько дней, какъ-то вдругъ, никому не сказавшись, исчезъ изъ Петербурга, оставивъ съ носомъ всѣхъ своихъ кредиторовъ.

Больше, послѣ этого, въ столицу онъ не являлся— молодѣть сердцемъ, освѣжаться душой, просвѣщаться умомъ и искать славы. А вскорѣ потомъ здѣшніе его пріятели прочитали въ газетахъ, что онъ, всѣми забытый, одинокій, почти нищій, умеръ въ какомъ-то захолустномъ городишкѣ.

V.

Всемірный путешественникъ.

I.

Дѣйствительно, Шапшалинъ вѣчно путешествовалъ... изъ редакціи въ редакцію, собиралъ сплетни и пересуды въ одной — переносилъ въ другую и обратно, сохраняя при этомъ, по-истинѣ, лѣтописное безпристрастіе. Въ каждой редакціи (а онъ путешествовалъ почти по всѣмъ), Шапшалинъ добросовѣстно выбалтывалъ все то, что слышалъ въ другихъ, и ни одной изъ нихъ не оказывалъ, въ этомъ отношеніи, ни лестнаго преферанса, ни обиднаго пренебреженія.

Словомъ, это былъ какой-то общій другъ, какой-то безстрастный, живой проводникъ для циркулированія журнальныхъ закулисныхъ дрязгъ, совершенно исключающій собою потребность въ новоизобрѣтенномъ телефонѣ... по крайней мѣрѣ, въ данномъ случаѣ.

Понятно, что такая миссія не внушала особеннаго уваженія и довѣрія къ Шапшалину и была сопряжена для него съ нѣкоторыми непріятностями. Каждая пущенная съ

его легкой руки сплетня, перекочевывая съ языка на языкъ, по естественному порядку, возвращалась къ своему первоначальному источнику «значительно дополненной и исправленной»... «Источникъ», какъ водится, приходилъ въ негодованіе.

— Кто вамъ *это* сообщилъ?

— Шапшалинъ.

— Ахъ, онъ такой—сякой!..

Слѣдовалъ потокъ болѣе или менѣе энергическихъ эпитетовъ, а, затѣмъ, при встрѣчѣ съ «издателемъ» сплетни, «источникъ», въ болѣе или менѣе дипломатической формѣ, давалъ ему понять, что онъ, «издатель», есть — безстыдный врунишка, коломенская салопница въ панталонахъ, гнусный сплетникъ и, вообще, личность, съ которою порядочнымъ людямъ зазорно знаться.

Шапшалинъ, обыкновенно, выслушивалъ подобный репримандъ съ голубиной невозмутимостью. Подъ градомъ упрековъ и ругательствъ его «открытая» физіономія, напоминавшая полнощекаго купидона (если-бы только купидоны носили пушистыя бороды), оставалась неизмѣнно открытой и сіяющей самой невиннѣйшей улыбкой, его маслянистые умильные глазки, не смигнувъ, отражали сквозь золотыя очки непоколебимое душевное спокойствіе и ангельскую незлобивость. Такъ смотрятъ только невинные младенцы, да еще вотъ — телята... Шапшалина, при этомъ, безконечно только удивляло — за что добрые люди на него сердятся когда онъ, лично, ни въ чемъ не можетъ себя упрекнуть? И это удивленіе было въ немъ вполнѣ непритворно: Шапшалинъ сплетничалъ и лгалъ по такимъ-же непреложнымъ и органически-непосредственнымъ побужденіямъ, по какимъ

птица щебечетъ, вѣтеръ воетъ въ печной трубѣ, заведенный органъ играетъ и т. п. Лганье и сплетня были его стихіей—его духовной провизіей, безъ которой его интелектъ непремѣнно зачахъ-бы, какъ комнатный цвѣтокъ безъ орошенія.

Изо-дня въ день, методически совершая свое кругосвѣтное путешествіе по редакціямъ, Шапшалинъ нимало не стѣснялся являться и въ тѣ изъ нихъ, гдѣ его, быть можетъ, вчера еще безпардонно «отдѣлали» или гдѣ — онъ зналъ — ему неминуемо предстояла такая отдѣлка теперь при его появленіи.

— Здравствуйте! мелодически растягивая слова, говорилъ онъ своимъ гнусаво-сладенькимъ голоскомъ, входя въ редакцію и развязно суя всѣмъ свою пухлую и рыхлую, какъ у московской купчихи, руку.

— Что вы тамъ опять наврали, чортъ васъ дери? — обыкновенный былъ вопросъ, съ которымъ радушные хозяева обращались къ гостю съ первыхъ-же словъ.

— Никогда и ничего я не вралъ, съ неподдѣльнымъ удивленіемъ возражалъ Шапшалинъ, добродушно моргая своими улыбающимися глазами съ тѣмъ лукаво-заискивающимъ огонькомъ, который замѣчается у инаго барбоса при видѣ хлыста.

По обыкновенію, обвинитель тутъ-же приводилъ сущность «вранья» и неотразимо уличалъ ея автора.

— Да, вѣдь, объ этомъ я слышалъ у васъ-же, въ редакціи, наивно оправдывался Шапшалинъ.

— Слышалъ и — сейчасъ пошелъ звонить, да еще съ украшеніями?.. Балалайка, вы, безструнная! На порогъ-бы васъ пускать не слѣдовало...

Шапшалинъ начиналъ лебезить и извиняться, но отнюдь не потому, чтобы онъ дѣйствительно сознавалъ свою грѣховность и каялся въ ней, а просто для соблюденія приличій и чтобъ заискать у обиженнаго. На самомъ дѣлѣ, онъ былъ неуязвимъ и совершенно не вмѣняемъ, такъ что и сердиться на него серьезно не было никакого юридическаго основанія, какъ не станете же вы сердиться, наприм., на птицу, которая, пролетѣвъ надъ вами, оставитъ случайно не совсѣмъ пріятный слѣдъ на вашей шляпѣ...

Тѣмъ не менѣе, языкъ Шапшалина, не смотря на всю его эпическую объективность и незлобивость, рѣзалъ иногда больнѣе бритвы. Языкъ этотъ былъ такъ странно устроенъ, что, помимо воли своего обладателя, автоматически вымалывалъ такія невѣроятныя дополненія и аксессуары къ фактамъ, что въ ихъ дремучемъ лѣсу затеривалась всякая тѣнь правдоподобія, и—какъ-то такъ постоянно выходило, что крошечная плутовка-муха, при воспріемничествѣ Шапшалина, разрѣшалась исполинскимъ слономъ. Въ большинствѣ случаевъ это было только забавно, но нерѣдко выходили изъ этого «сочинительства» и прескверныя шутки.

Какъ истый путешественникъ и антропологъ, Шапшалинъ питалъ склонность къ широкимъ обобщеніямъ и, вообще, къ вольнымъ полетамъ мысли. Однажды, будучи въ гостяхъ у пріятеля, увидалъ онъ маленькую игрушечную рулетку, которую тотъ купилъ для забавы своимъ дѣтямъ... Этого было довольно, чтобы чрезъ нѣсколько дней разнеслась повсюду молва, выразившаяся въ формѣ «достовѣрныхъ» сенсацій, что «у такого-то (слыхали?) — завелась трепогибельная рулетка—trente et quarante, что у него (можете себѣ представить!) каждый день собираются для

азартной игры, воспрещенной законами, любители сильныхъ ощущеній» и т. под.

Когда объ этомъ спрашивали Шапшалина, онъ клялся и божился, что все это сущая правда, что онъ самъ собственными глазами видѣлъ реченный инструментъ, видѣлъ игру на немъ и даже самъ принималъ въ ней дѣятельное участіе. Съ каждымъ его новымъ разсказомъ, злополучная рулетка облекалась все въ болѣе и болѣе фантастическіе размѣры и въ одно прекрасное утро превратилась, наконецъ, въ цѣлый игорно-рулеточный «домъ»... Къ счастью, Шапшалину никто почти не довѣрялъ, но, во всякомъ случаѣ, пущенная имъ молва надѣлала-таки не мало хлопотъ и непріятностей обладателю фатальной игрушки.

Въ другой разъ, явившись въ одну редакцію, Шапшалинъ, по своему обыкновенію, спросилъ у издателя денегъ впередъ за свои учено-литературные труды. Зная, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, издатель, чтобъ отдѣлаться, отвѣтилъ что у него въ кассѣ нѣтъ ни гроша. Въ тотъ-же день Шапшалинъ всякому встрѣчному и поперечному говорилъ съ необыкновенно печальнымъ выраженіемъ на своемъ одутловатомъ «портретѣ»:

— Слышали?

— Что такое?

— Такая-то газета тю-тю... прогорѣла...

— Можетъ-ли быть?

— Я вамъ говорю! Самъ издатель заявилъ мнѣ сегодня, что у него въ кассѣ нѣтъ ни гроша... Прекратили платежи... Не сегодня—завтра лавочку закроютъ...

— Помилуйте, да они были въ отличномъ положеніи?

— Да... были, а вотъ теперь на повѣрку выходитъ— банкроты...

— Жаль...

— Очень жаль, въ особенности мнѣ: пятьсотъ рублей моихъ, батенька, пропадаетъ... Говорятъ: «что хотите, дѣлайте—заплатить не можемъ... въ кассѣ — ни копѣйки»... Ну, думаю, нечего дѣлать—махнулъ рукою!

По пословицѣ «дурная вѣсть бѣжитъ, а добрая лежитъ», подобныя невинныя розсказни, благодаря чрезвычайной общительности Шапшалина, быстро разносились по городу и, въ большей или меньшей степени, оказывали свое вредоносное дѣйствіе для жертвъ сплетни.

Фактами такого сорта практика нашего «путешественника» была очень богата; но, по какому-то странному психическому свойству, Шапшалинъ особенно любилъ повѣствовать о томъ, кто, какъ и гдѣ кого «ругаетъ». Являясь въ какую-нибудь редакцію, онъ, послѣ первыхъ привѣтствій, сейчасъ-же спѣшилъ сообщить тому или другому члену ея что-нибудь въ этомъ родѣ.

— А васъ, батенька, тамъ-то такой-то выругалъ... Говоритъ, что такого болвана и скотину, какъ вы, гадко видѣть въ журналистикѣ...

При этомъ, Шапшалинъ нѣжно хлопалъ по колѣнкѣ собесѣдника и смотрѣлъ на него такими медовыми глазками, какъ еслибъ передавалъ ему необыкновенно пріятную новость. Затѣмъ, съ величайшей обстоятельностью и наслажденіемъ, онъ подробно передавалъ (не безъ прилыгиванья, конечно) всѣ ругательства, мастерски оттѣнялъ ихъ и подчеркивалъ подходящей мимикой и голосомъ. Въ этомъ жанрѣ «изящной словесности» въ немъ просто сказывался

художникъ, и Шапшалинъ настолько питалъ къ нему артистическую пассію, что, если, случалось, не имѣлъ ничего разсказать, какъ «ругали» кого нибудь изъ его знакомыхъ, то охотно разсказывалъ, какъ «выругали» въ глаза или въ печати его самого.

— А меня, батенька, сегодня выругали тамъ-то. Говорятъ: «Вы, Шапшалинъ, сволочь и мразь»... Такъ прямо и сказали: «сволочь-де и мразь»... Хи-хи-хи! и онъ весело хихикалъ, съ видомъ такого удовольствія и задушевности, въ искренности которыхъ ни минуты нельзя было сомнѣваться.

Приходя въ какую-нибудь редакцію, онъ никогда не упускалъ случая освѣдомиться — «не ругаютъ-ли его гдѣ-нибудь въ печати?», и ничѣмъ, казалось, нельзя было его болѣе обязать, какъ, сдѣлавъ вырѣзки изъ газетъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ его, дѣйствительно, выругали (а кромѣ «ругни», другихъ отзывовъ о немъ, какъ-то, не встрѣчалось), вручить ему ихъ, какъ-бы въ знакъ памяти. Бережно вкладывая ихъ въ свой бумажникъ, всегда достаточно просторный для устройства въ немъ подобнаго архива, Шапшалинъ говаривалъ обыкновенно, что у него имѣется особый альбомъ, въ который онъ аккуратно вклеиваетъ всѣ такого сорта «критическія» о немъ замѣтки. Дѣйствительно, у него былъ этотъ альбомъ, составлявшій едва-ли не всю его наличную библіотеку, и Шапшалинъ любилъ его прочитывать въ минуты отдохновенія.

II.

Ругня, да вотъ еще битье составляли какъ-бы господствующій элементъ или, своего рода, предопредѣленіе въ судьбѣ нашего героя, съ которымъ онъ не только покорно мирился, но даже усматривалъ въ немъ нѣкоторое поприще для созиданія своей извѣстности и славы. Какъ то всѣ событія своей треволненной жизни Шапшалинъ пріурочивалъ, именно, къ ругнѣ и битью, и только такія событія твердо запечатлѣвались въ его памяти, которыя ознаменовались оскорбленіемъ его личности словами или дѣйствіемъ. Такимъ образомъ, изъ своихъ обширныхъ путевыхъ впечатлѣній онъ помнилъ только то, гдѣ, когда и какъ его били (а его били, по неисповѣдимымъ судьбамъ, повсемѣстно и сугубо): все остальное онъ или вовсе забывалъ, или путалъ и представлялъ себѣ крайне не ясно. Всѣ его путевыя записки сосредоточивались, главнымъ образомъ, около фактовъ этого прискорбнаго сорта и представляли, въ сущности, ничто иное, какъ длинный полицейско-медицинскій «актъ» о «нанесеніи побоевъ и увѣчья на тѣлѣ г-ну Шапшалину въ разныхъ частяхъ земнаго шара». Нужно замѣтить, при этомъ, что изъ всего, что онъ писалъ о своихъ путешествіяхъ, только разсказы объ испытанныхъ имъ побояхъ и были сколько-нибудь интересны. Скучный, нескладный и безсодержательный въ описаніяхъ всего имъ видѣннаго по пути, Шапшалинъ вдохновлялся каждый разъ, когда рѣчь заходила о его битьѣ и разсказывалъ объ этомъ необыкновенно обстоятельно, трогательно, живо и даже поэтично. По всѣмъ вѣроятіямъ, въ порывѣ художественнаго творче-

ства, онъ не воздерживался, при этомъ, отъ пересола и нарочитаго сгущенія красокъ. Ужь если его били гдѣ-нибудь, то, по описанію, выходило непремѣнно, что били до крови, били безпощадно, били варварски... Было очевидно, что битье умѣренное и легкое не доставляло-бы автору столько эстетическаго наслажденія и недостаточно вдохновляло-бы его творческое перо... Странные бываютъ у иныхъ писателей элементы вдохновенія!

Кто зналъ длинную эпопею всѣхъ международныхъ взбучекъ, колотушекъ, истязаній, дранья и битья, испытанныхъ Шапшалинымъ во время его путешествій, и зналъ его лично, тотъ не могъ не удивляться, какъ этотъ человѣкъ—хилый, слабосильный и болѣзненный—могъ на себѣ столько вынесть!

— Послушайте, Шапшалинъ, неужели васъ, въ самомъ дѣлѣ, такъ много били? спроситъ его иной скептикъ.

— Да, били немало, не безъ самодовольства отвѣтитъ онъ.

— Въ Азіи васъ били?

— Били, и не разъ...

— Въ Африкѣ били?

— Били...

— Въ Америкѣ?

— Били и въ Америкѣ...

— А на островѣ Мадагаскарѣ?

— Нѣтъ, на островѣ Мадагаскарѣ не били.

— Что-жъ такъ—пожалѣли?

— Не то: я тамъ никогда не былъ.

— А то всюду, гдѣ вы были—васъ дубасили?

— Почти...

Подозрѣніе, что Шапшалинъ присочинялъ въ повѣствованіи о своихъ побояхъ, значительно подкрѣплялось еще тѣмъ обстоятельствомъ, что въ большинствѣ случаевъ онъ не могъ сколько нибудь логично мотивировать—за что его, собственно, били. То онъ разсказывалъ, что, идя какъ-то по улицѣ въ одномъ американскомъ городѣ, онъ поскользнулся и упалъ: его сейчасъ-же, будто-бы, приняли за пьянаго и... вздули; то его, безъ всякаго повода, принимали за шпіона—и опять дули, и проч. Все это казалось тѣмъ менѣе правдоподобнымъ, что самъ Шапшалинъ былъ смиреннѣйшій и безобиднѣйшій человѣкъ въ свѣтѣ. Въ то время, какъ его чуть не съ пеленокъ, по его разсказамъ, безпрерывно драли и «ругали», онъ, казалось, на своемъ вѣку мухи не обидѣлъ ни словомъ, ни дѣломъ, ни помышленіемъ.

Безъ сомнѣнія, въ этой странной особенности нашего героя было не мало прирожденнаго, такъ сказать, платоническаго юродства; но, кромѣ этого, была тутъ еще и нѣкоторая доля чисто практическаго разсчета... Именно—разсчета, какъ-бы это не казалось дикимъ. Короче сказать, Шапшалинъ не прочь былъ, при случаѣ, поспекулировать испытанными имъ всесвѣтными злоключеніями и увѣчьями, какъ спекулируетъ иной подзаборный промышленникъ своимъ калѣчествомъ. У него водились богатыя и знатныя покровительницы, которыя, по свойственному русскимъ сытымъ людямъ сердоболію, питали христолюбивую наклонность къ страннопріимству. Страннопріимство, которое считается почему-то, исключительно, купеческой добродѣтелью, достаточно распространено и въ кругу нашего «культурнаго» зажиточнаго класса, съ тою только разницей, что здѣсь оно является въ болѣе утонченныхъ формахъ и имѣетъ своимъ

объектомъ болѣе облагороженныхъ и приличныхъ кліентовъ. Въ то время, какъ какая-нибудь замоскворѣцкая купчиха пріемлетъ въ лоно своей благостыни разныхъ нечистоплотныхъ «блаженныхъ» и «странничковъ», петербургская, такъ называемая, «благотворительная дама» проливаетъ ароматическій бальзамъ своего любвеобилія на разныхъ туземныхъ и, преимущественно, заѣзжихъ Редстоковъ, Божидаровичей, Шапшалиныхъ и проч.

Какъ-бы тамъ ни было, но Шапшалинъ, въ качествѣ, своего рода, странника и подвижника, безвинно перенесшаго на тѣлѣ столько увѣчій и побоевъ, умѣлъ возбуждать участіе къ себѣ и даже на чужой счетъ совершилъ нѣсколько своихъ «ученыхъ» путешествій и роскошно издалъ часть своихъ записокъ, о томъ... какъ и гдѣ его били. Его нравственное чувство нисколько, повидимому, не страдало отъ этого,—напротивъ, онъ даже тщеславился и этимъ покровительствомъ, и этими подачками... Было-ли это только юродство, котораго въ Шапшалинѣ, несомнѣнно, ощущался неизсякаемый родникъ, или-же чувство собственнаго достоинства изъ него выколотила безпорядочная, скитальческая жизнь—не беремся рѣшить; достовѣрно одно, что въ немъ была непреоборимая наклонность къ чужеядству и попрошайничеству, и онъ, съ младенческимъ простодушіемъ, ни малѣйше не стѣснялъ себя въ этомъ отношеніи.

Такъ, напримѣръ, не было почти ни одной редакціи, которой Шапшалинъ не задолжалъ-бы или не старался-бы задолжать на такой неопредѣленный срокъ, который исключалъ всякую надежду на отдачу. Безцеремонность его въ этомъ отношеніи не знала никакихъ границъ. Онъ прямо шелъ къ редакторамъ и требовалъ денегъ, съ такимъ наив-

но-самоувѣреннымъ видомъ и сознаніемъ своего права на эти деньги, что люди, имѣвшіе съ нимъ въ первый разъ дѣло, просто разѣвали рты и становились въ тупикъ.

— Позвольте, однако, г. Шапшалинъ: за что-же вы требуете съ насъ денегъ?—съ недоумѣніемъ спрашивали его люди деликатные и мало его знавшіе, потому что менѣе деликатные и болѣе знакомые съ Шапшалинымъ редакторы напрямки говорили ему въ такихъ случаяхъ: «убирайтесь къ черту!»

— Мнѣ нужно... Я очень нуждаюсь,—отвѣчалъ онъ съ апломбомъ человѣка, предъявляющаго свое священное право.

— Это еще не основаніе,—возражали ему.

— Что-жь, вы боитесь дать мнѣ какихъ-нибудь сто рублей?

— Не въ боязни сила, а нужно знать—за что дать.

— Я вамъ когда-нибудь *отпишу*... Какой-нибудь очеркъ дамъ изъ моихъ путевыхъ воспоминаній... Пожалуйста, не откажите!

«Отписываться»—это былъ любимый терминъ Шапшалина, которымъ онъ выражалъ всѣ свои денежныя обязательства.

Если редакторъ не соблазнялся перспективой интереснаго «путеваго очерка» и не давалъ денегъ, то Шапшалинъ непритворно удивлялся и огорчался человѣческою несправедливостію.

— Вотъ свинья! грустно-ироническимъ тономъ обзывалъ онъ варвара-редактора, сейчасъ по выходѣ изъ его кабинета, дѣлясь своимъ горемъ съ первымъ встрѣчнымъ членомъ редакціи.

— Что такъ? освѣдомлялся тотъ.

— Да какже... Помилуйте! Просилъ я у него какихъ-то тамъ сто рублей впередъ и... и—онъ не далъ... Развѣ не свинья?

Если-же, паче чаянія, ему давали деньги впередъ—онъ нѣжно благодарилъ, обѣщалъ въ скорости «отписаться»; но, обыкновенно, считалъ, что этими нѣжными словами и обѣщаніями всѣ его счеты покончены. Разъ онъ выкинулъ вотъ какую штуку.

Предстояла какая-то дальняя въ Азію экспедиція, которою интересовалась публика. Шапшалинъ, въ качествѣ бывалаго путешественника, воспользовался этимъ случаемъ и, заявивъ въ нѣсколькихъ редакціяхъ, что онъ присоединяется къ экспедиціи, предложилъ имъ, каждой порознь, свои услуги, какъ корреспондента. Само собой разумѣется, приэтомъ, онъ потребовалъ извѣстную сумму впередъ. Редакціи попались на эту удочку. Каждая изъ нихъ, воображая, что Шапшалинъ будетъ корреспондировать только ей одной, охотно поспѣшила условиться съ нимъ и закрѣпить его за собою приличнымъ задаткомъ.

Обработавъ эту финансовую операцію, Шапшалинъ заблагоразсудилъ на нѣкоторое время стушеваться, какъ будто онъ и въ самомъ дѣлѣ отправился по назначенію. Нѣсколько сотъ рублей разомъ не часто доставались ему въ руки; имѣя ихъ теперь, онъ зажилъ сибаритомъ. Надо замѣтить, что, вообще, онъ былъ не дуракъ выпить и очень не прочь поразвратничать—словомъ, любилъ, какъ говорится, «покутить»... Недѣли двѣ, три о немъ не было ни слуху, ни духу: уѣхалъ, думали съ экспедиціей и отъ души желали ему счастливаго пути. Особенно желали ему этого редак-

торы, снабдившіе его деньгами на путевыя издержки; но вотъ, какъ-то вечеркомъ, одинъ изъ этихъ редакторовъ, сидя у открытаго окна въ своей квартирѣ (дѣло происходило лѣтомъ), увидѣлъ, что кто-то ему черезъ улицу очень низко кланяется и посылаетъ воздушные поцѣлуи. Редакторъ вглядѣлся пристальнѣе въ этого любезнаго господина и, съ понятнымъ изумленіемъ, узналъ въ немъ Шапшалина. Послѣдній, раскланявшись, продолжалъ свой путь, какъ ни въ чемъ не бывало... Редакторъ, разумѣется, сейчасъ навелъ справки и оказалось, что нашъ путешественникъ вовсе не думалъ и не думаетъ даже тащиться, прахъ его знаетъ, куда—въ какія-то тамъ азіатскія пустыни... Вѣсть объ этомъ казусѣ разнеслась скоро по всѣмъ редакціямъ и, наконецъ, къ Шапшалину пристали.

— Что-жь это вы, милостивый государь, съ нами дѣлаете? спросили его опростоволосившіеся редакторы.

— А что? съ своей неизмѣнно-благодушной улыбкой возразилъ Шапшалинъ.

— Взяли деньги, обязались быть корреспондентомъ и—сидите здѣсь?

— Да я, видите, раздумалъ ѣхать... Ничего для себя интереснаго въ этой экспедиціи я не вижу.

— Зачѣмъ-же, тогда, вы предложили ваши услуги и забрали деньги?

— Деньги?.. Деньги я вамъ *отпишу*... Будьте увѣрены... Очеркъ какой-нибудь или тамъ что придется...

И, при этомъ ни тѣни смущенія, ни капли стыда! Что вы станете дѣлать съ такимъ невозмутимымъ, наивно-наглымъ младенцемъ?—Оставалось плюнуть... И—плюнули!

Русскіе интеллигентные люди вообще не отличаются

умственной плодовитостью: наши ученые дѣлаютъ немного открытій, наши литераторы пишутъ мало и нескоро и очень скоро исписываются; но Шапшалинъ просто поражалъ ничтожествомъ результатовъ всего того, что онъ зналъ и видѣлъ. Въ молодости ему дали блестящее образованіе; онъ учился всевозможнымъ наукамъ, зналъ нѣсколько языковъ, въ томъ числѣ два или три восточныхъ; изъѣздилъ кругомъ весь свѣтъ и видѣлъ все, что есть только рѣдкаго и замѣчательнаго подъ луною: совершилъ нѣсколько отважныхъ экспедицій въ полуизвѣстныя, въ высшей степени любопытныя страны, и—изъ всего этого богатаго добра не выходило никакого проку ни его обладателю, ни людямъ.

Въ литературѣ Шапшалинъ пользовался очень маленькой и вовсе незавидной извѣстностью, да и не за что было вѣнчать его лаврами, такъ какъ вся его учено-литературная дѣятельность ограничивалась нѣсколькими совершенно незначительными и даже незанимательными путевыми «скицами» на газетно-фельетонную колодку. «Скиццы» эти прошли-бы совершенно незамѣченными читающей публикой, еслибъ Шапшалинъ не разсказывалъ въ нихъ, между прочимъ, всѣ случаи, гдѣ и какъ его били... Нашъ читатель—что грѣха таить—любитъ повѣствованія въ этомъ жанрѣ. По крайней мѣрѣ, фактически достовѣрно, что о Шапшалинѣ масса читателей впервые узнала, и о немъ день, другой довольно оживленно поговорили только тогда, когда его, однажды,—гдѣ-то на Кордильерахъ или Гималаѣ, что-ли, — особенно чувствительно поколотили, и онъ напечаталъ объ этомъ художественно-трогательный разсказъ въ одной распространенной газетѣ. Это былъ апогей его извѣстности.

Причиной такой мизерной учено-литературной производительности Шапшалина была нетолько его круглая бездарность, но и то, что онъ сталъ по профессіи «кругосвѣтнымъ-путешественникомъ» отнюдь не по призванію и личному выбору, а, просто, по случайности или, вѣрнѣе сказать, «по казенной надобности». По выходѣ изъ училища, онъ поступилъ на службу и, такъ какъ онъ зналъ восточные языки, то его и послали, на казенный счетъ, съ какой-то экспедиціей на Востокъ. Это обстоятельство, помимо его воли, рѣшило его судьбу разъ навсегда. Еслибъ начальство назначило его акцизнымъ чиновникомъ — онъ также охотно, безстрастно и также посредственно измѣрялъ-бы градусы спирта, какъ теперь, при другомъ оборотѣ судьбы, измѣрялъ собственной персоной *градусы* восточной долготы и сѣверной широты... да простится автору этотъ случайный каламбуръ!

Даже матеріально устроиться и обезпечиться у Шапшалина не хватало ни умѣнья, ни культурности. На пятидесятомъ году жизни онъ былъ совершеннымъ бобылемъ, безъ семьи, безъ своего какого-бы ни было угла, вѣчно слонялся по номерамъ «chambres garnies» и трактирамъ и, если его не поддерживали подачками добрые люди, вѣчно совершалъ свое «кругосвѣтное путешествіе» по редакціямъ, запружая ихъ портфели своими вялыми, скучными путевыми воспоминаніями, надоѣдая имъ своими сплетнями, своей болтовней и безпрерывнымъ, ничѣмъ неукротимымъ, выклянчиваньемъ грошей на пропитаніе.

VI.

Журнальный верблюдъ.

Онъ даже съ внѣшней стороны напоминалъ это многотерпѣливое, вьючно-рабочее, безропотное животное. На длинныхъ кривыхъ ногахъ держалось его изможденное, источенное немощами и изогнутое въ три погибели тѣло, надъ которымъ возвышалась огромная голова съ щетинистыми, цвѣта верблюжьяго сукна, волосами и съ отвислой, какъ у верблюда, нижней губой... Сѣрые, ушедшіе въ глубь черепа и точно прячущіеся отъ чужаго взгляда, глаза свѣтились совершенно верблюжьей кротостью и добродушіемъ... Можно было подумать, что въ нихъ никогда не загорались ни страсть, ни гнѣвъ—ни сильное горе, ни сильная радость. Природа какъ-будто въ самомъ дѣлѣ ошиблась, сдѣлавъ его человѣкомъ, когда ему назначено было быть верблюдомъ, а жизнь, которая такъ немилостива къ подобнымъ ошибкамъ, довела этого человѣка своими тычками и толчками до того, что въ немъ окончательно ничего, кромѣ верблюжьихъ добродѣтелей, не осталось. Онъ, какъ выражается Щедринъ, «собственнымъ умомъ дошелъ до убѣжденія, что онъ не человѣкъ, а ло-

шадь»... Положимъ, лошадь не верблюдъ, но такой незначительный варіантъ сущности дѣла не измѣняетъ.

Природа и жизнь уродуютъ и коверкаютъ человѣка; но онѣ, по крайней мѣрѣ, не смѣются надъ ними. Попечительное начальство восполнило и этотъ пробѣлъ. Герой мой учился въ семинаріи и, при выпускѣ, его окрестили *Пульхеровымъ* (отъ латинскаго pulcher—красивый). Онъ и противъ этого ничего не имѣлъ и такъ-же легко помирился съ своей сардонической кличкой, какъ мирился передъ тѣмъ съ «поронцами» «на воздусяхъ» отъ того-же благодѣтельнаго начальства.

Семенъ Петровичъ Пульхеровъ въ молодости (если допустить, что она у него была когда-нибудь) учился очень много и очень многому и—учился хорошо. Память и усидчивость у него были громадныя. Довольно сказать, что, поступивъ, послѣ выхода изъ семинаріи, въ университетъ и уразумѣвъ необходимость знанія новѣйшихъ діалектовъ, онъ началъ, напр., изученіе французскаго языка съ того, что вызубрилъ подрядъ, отъ A до Z, всѣ французскія слова въ лексиконѣ Рейфа... Но всѣ воспринятыя Семеномъ Петровичемъ науки и знанія пошли только на то, чтобы выдресировать изъ него хорошее вьючное животное—не болѣе. Блестящимъ образомъ окончивъ курсъ, онъ поступилъ на службу писцомъ въ какой то департаментъ и сталъ очень прилежно, съ калиграфическимъ изяществомъ, переписывать «на бѣло» канцелярскую белиберду. Такому человѣку на службѣ, конечно, не могло везти. Онъ самъ о себѣ не напоминалъ, не заискивалъ,—тѣмъ менѣе могъ вспомнить о немъ кто-нибудь посторонній... Пульхерова опережали по службѣ полуграмотные неучи, а онъ, осно-

вательно знавшій пять иностранныхъ языковъ, цитировавшій на память кодексъ Юстиніана, сидмя сидѣлъ на одномъ и томъ-же стулѣ, цѣлые годы протирая локти за «черной» канцелярской работой.

Въ практической жизни очень много значитъ, какъ себя «поставить». Умѣнье себя «поставить» такъ, чтобы васъ уважали и цѣнили, чаще всего достигаемое извѣстной долей наглости и шарлатанства, создаетъ карьеру. Семенъ Петровичъ этого не умѣлъ; онъ не умѣлъ даже выказать свою дѣйствительную стоимость. Изъ окружающихъ никому даже въ голову не приходило, что этотъ человѣкъ заслуживаетъ лучшей участи и лучшаго употребленія,—настолько онъ былъ застѣнчивъ, непритязателенъ и просто не практиченъ! Этого мало: его считали всегда и вездѣ какимъ-то посмѣшищемъ, какимъ-то чучеломъ, надъ которымъ могъ безнаказанно потѣшаться всякій, кто хотѣлъ, включительно до департаментскаго сторожа. Въ немъ все казалось смѣшнымъ и страннымъ: его несчастная наружность, его робкія, неуклюжія манеры, его до послѣдней степени заношенный, неловко висѣвшій на плечахъ сюртукъ съ пропоротыми швами и оборванными пуговицами, его, наконецъ, полнѣйшее пренебреженіе къ требованіямъ внѣшней «порядочности» и даже опрятности.

Богъ вѣсть, сколько-бы лѣтъ пришлось нашему герою въ совершенной неизвѣстности корпѣть надъ своими «рапортами» и «отношеніями», если-бъ судьбу его не измѣнилъ нѣсколько къ лучшему одинъ непредвидѣнный случай.

Какъ-то въ канцелярію, въ которой онъ служилъ, поступила откуда-то бумага на англійскомъ языкѣ. Бумага оказывалась «казусной», потому что канцелярія затруднялась

ее прочесть; но каково-же было всеобщее удивленіе, когда, на окликъ дѣлопроизводителя— не знаетъ-ли кто англійскаго языка, Семенъ Петровичъ, конфузясь и краснѣя, заявилъ, что онъ этотъ языкъ знаетъ.

— Точно ли знаете? спросилъ недовѣрчиво дѣлопроизводитель, окидывая Пульхерова такими глазами, какъ если-бъ тотъ вдругъ заявилъ, что онъ переодѣтый китайскій богдыханъ.

— Знаю-съ, робко подтвердилъ Семенъ Петровичъ.

— Ну, посмотримъ... Читайте!

При сдержанномъ хихиканьи товарищей, ожидавшихъ неминуемой «потѣхи» отъ «англійскаго языка» Семена Петровича, онъ началъ безъ затрудненія прямо читать бумагу порусски. Ожиданіе потѣхи смѣнилось столбнякомъ величайшаго изумленія и любопытства.

— Такъ вотъ вы у насъ какой... профессоръ! сказалъ дѣлопроизводитель, по прочтеніи бумаги, пристально вглядываясь въ смущеннаго Пульхерова: не китайскій-ли онъ богдыханъ, молъ, въ самомъ дѣлѣ?

— Ахъ ты, чудо морское! стали удивляться Семену Петровичу его товарищи.—Съ этакимъ рыломъ, тоже англійскій языкъ знаетъ!

— А свинячій языкъ, Семенъ Петровичъ, вы тоже, чай, знаете? Трудный говорятъ, очень... Правда?

— Ужь если вы такой лингвистъ, Пульхеровъ, позвольте узнать ваше мнѣніе насчетъ еще говяжьяго языка: какой лучше—свѣжій или копченый?

Эти люди вымещали на Пульхеровѣ и свое невѣжество, и свою ошибку въ оцѣнкѣ его... Обыкновенная исторія!

Вѣсть о томъ, какъ поразилъ всѣхъ Семенъ Петровичъ своей лингвистикой, дошла до начальника отдѣленія, человѣка просвѣщеннаго, считавшаго себя прогрессистомъ и даже чуть-чуть демократомъ. Это было лѣтъ двадцать тому назадъ—когда и начальники отдѣленій занимались въ часы, свободные отъ службы, прогрессомъ, либерализмомъ и тому подобными «легкомысліями»...

Начальникъ заинтересовался Пульхеровымъ, даже хлопнулъ себя по лбу, что до сихъ поръ вовсе не замѣчалъ его, и велѣлъ немедленно позвать къ себѣ въ кабинетъ. Семенъ Петровичъ, никогда еще не переступавшій за порогъ этого святилища, вошелъ, какъ въ воду опущенный.

— Ахъ, какой онъ жалкій и... и не «порядочный»! мелькнуло въ головѣ прогрессивнаго начальника, при первомъ взглядѣ на Пульхерова.

— Ваша фамилія, кажется, Пе...пе... Петрушкинъ! спросилъ онъ, потирая себѣ лобъ выхоленнымъ указательнымъ пальцемъ.

— Пульхеровъ, ваше превосходительство...

— Ахъ, да! Пульхеровъ... Скажите, г. Пульхеровъ, мнѣ сказали, что вы знаете поанглійски... Это довольно рѣдко встрѣчается... Вы знаете еще какіе-нибудь языки?

— Знаю-съ.

— Какіе-же?

— Французскій, нѣмецкій, латинскій и греческій...

— Скажите!? Да вы, просто, ученый... Присядьте, пожалуйста!.. Что вы стоите?

— Не извольте безпокоиться, ваше превосходительство!

— Нѣтъ! нѣтъ! Присядьте... Не церемоньтесь!..

Начальникъ даже стулъ собственноручно подвинулъ въ сторону Пульхерова и до тѣхъ поръ не успокоился, пока тотъ не сѣлъ.

— Какъ-же мнѣ до сихъ поръ не доложили, что у меня въ отдѣленіи служитъ такой... такой почтенный лингвистъ? Странно!—продолжалъ волноваться его превосходительство, снисходительно-брезгливо оглядывая невзрачную фигуру Семена Петровича.—Я уважаю просвѣщеніе и науки! говорилъ онъ далѣе. Намъ нужны образованные чиновники, потому что, въ наше время, когда...

На эту очень хорошо извѣстную тему, генералъ говорилъ очень долго и очень прогрессивно, время отъ времени прерывая себя только затѣмъ, чтобы бросить въ сторону терпѣливаго собесѣдника увѣренное: «не правдали»?, и получить въ отвѣтъ: «точно такъ, ваше—ство»!..

Въ концѣ этого длиннаго разговора, разспросивъ Семена Петровича о его прошломъ и о его видахъ на будущее, начальникъ милостиво протянулъ ему для пожатія свой указательный палецъ и облагонадежилъ, что будетъ «имѣть его въ виду». Пульхеровъ вышелъ изъ генеральскаго кабинета красный, какъ вареный ракъ, обливаясь потомъ и съ совершенно убитымъ видомъ.

— Вабучили? Отшпандорили?—и т. п. ядовитые вопросики посыпались на него со всѣхъ сторонъ, когда онъ пробирался къ своему мѣсту.

Семенъ Петровичъ до того былъ дикъ, запуганъ и забитъ, что лестное вниманіе и бесѣда начальника произвели на него впечатлѣніе пытки. Между тѣмъ это обстоятельство имѣло роковое значеніе въ его жизни. Обѣщавъ имѣть его въ виду, начальникъ сдержалъ слово въ томъ отношеніи,

что вскорѣ, послѣ описаннаго объясненія, порекомендовалъ Пульхерова какому-то редактору, какъ переводчика.

Нечего и говорить, что работникъ съ такими солидными знаніями и съ такими верблюжьими свойствами—былъ чистая находка для редакціи. Оказалось что Семенъ Петровичъ не только можетъ переводить съ пяти иностранныхъ языковъ, но и хорошо владѣетъ отечественнымъ, чѣмъ могутъ похвалиться далеко не всѣ писатели. Онъ писалъ чистымъ, правильнымъ языкомъ, по всѣмъ правиламъ риторики. Даже почеркъ его, изощренный на канцелярской перепискѣ, четкій и красивый,—что составляетъ не послѣднее достоинство въ журнальной работѣ—не оставлялъ требовать ничего лучшаго.

Редакція сразу завалила Пульхерова работой по горло, и кончилось тѣмъ, что онъ, незамѣтно для самого себя, втянулся въ журнальную лямку. По недостатку свободнаго времени и по совѣту редакціонныхъ товарищей, Семенъ Петровичъ оставилъ казенную службу въ департаментѣ, оставилъ безъ сожалѣнія, да и сожалѣть было не о чемъ.

Такимъ инертивнымъ порядкомъ, независимо отъ личнаго выбора и призванія, а просто по случайному сцѣпленію обстоятельствъ, у насъ очень многіе журналисты и писатели попали и попадаютъ въ журнальный цехъ. Черта эта, замѣтимъ, очень характеристична, въ судьбахъ нашего умственнаго пролетаріата.

Семенъ Петровичъ не любилъ мѣнять насиженнаго мѣста, и—пословица: «рыба ищетъ, гдѣ глубже, а человѣкъ—гдѣ лучше», не для него была писана. Съ самаго начала своей журнальной дѣятельности онъ оставался все въ одной и той-же газетѣ. У газеты мѣнялись редакторы, мѣнялись

издатели, не говоря ужь о быстрой смѣнѣ сотрудниковъ, а Семенъ Петровичъ точно приросъ къ своему органу, такъ что, казалось, ни Семенъ Петровичъ безъ газеты, ни газета безъ Семена Петровича и существовать ужь не могутъ. И вовсе не потому представлялъ онъ собой образецъ газетной Пенелопы, чтобы доля его не оставляла желать ничего лучшаго. Напротивъ. Хозяева газеты не всегда были хорошіе и просвѣщенные люди; Семену Петровичу много приходилось выносить отъ нихъ всякихъ грубостей, несправедливостей и даже, просто, обсчитыванья его трудовыхъ грошей. Случалось, вчужѣ было грустно смотрѣть, какъ этотъ смирный, безропотный и забитый человѣкъ, достойный лучшей доли, грубо помыкался какимъ-нибудь зажирѣвшимъ невѣжественнымъ издателемъ, не стоившимъ, со всѣмъ своимъ бахвальствомъ, толстымъ брюхомъ и толстымъ карманомъ, его изношенной подметки.

— Что вамъ за неволя выносить такое отвратительное положеніе? скажутъ ему, бывало, товарищи. Ступайте въ другія редакціи—васъ вездѣ примутъ и—на гораздо выгоднѣйшихъ условіяхъ!

На такіе добрые совѣты, Пульхеровъ, обыкновенно, сконфузится, какъ-то съежится и, недовѣрчиво и боязливо оглядываясь, отвѣтитъ почти шепотомъ:

— Меня нигдѣ не знаютъ... Да и положеніе мое здѣсь— ничего-съ... Я доволенъ... Ей Богу, доволенъ... Чего-же лучше?!

Вообще, къ такимъ совѣтамъ онъ относился крайне подозрительно, съ дѣтства привыкнувъ къ тому, что его вездѣ, всегда и во всемъ «подводили» подъ какую-нибудь пакость. Кромѣ того, онъ такъ дешево цѣнилъ себя и

свои способности, что считалъ просто благодѣяніемъ, если редакція его держитъ и даже изрѣдка платитъ ему деньги за его воловій трудъ. Онъ рѣшительно не вѣрилъ, чтобы какая нибудь другая редакція согласилась воспользоваться его услугами Это безграничное смиреніе происходило въ Семенѣ Петровичѣ еще отъ сознанія за собой одной гибельной слабости, за которую, какъ онъ думалъ, его нигдѣ не станутъ терпѣть. Объ этой слабости мы скажемъ ниже.

Кромѣ всѣхъ описанныхъ цѣнныхъ качествъ Пульхерова, какъ работника, онъ отличался еще рѣдкой аккуратностью.

Изо дня въ день, часовъ въ одиннадцать утра, напяливъ на свой хребетъ старенькое пальтишко, бывшее когда-то темносинимъ, потомъ бутылочно-сѣрымъ и, наконецъ, вылинявшее до какого-то гороховаго цвѣта, надвинувъ на голову шершавый цилиндръ, а на ноги резиновыя калоши, Семенъ Петровичъ, въ этомъ, почти неизмѣнномъ во всѣ четыре времена года, нарядѣ (въ холодную погоду онъ накидывалъ на плечи плэдъ), неторопливо плелся откуда-то, съ Песковъ, въ редакцію, садился за свой столикъ и, почти не вставая и не разгибая спины, высиживалъ, точка въ точку, битыхъ шесть часовъ къ ряду.

Ровнымъ почеркомъ, почти безъ помарокъ, исписывалъ онъ массу бумаги, разрѣзанной длинными, въ половину листа, полосками, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ каждой строчкѣ, буква въ букву, было столько литеръ, сколько приходится ихъ въ печатной строчкѣ газетнаго столбца.

Семенъ Петровичъ велъ отдѣлъ иностранной политики, т. е., такой отдѣлъ, который необходимо наполнять каждый день и, притомъ, въ одномъ и томъ-же, разъ установленномъ размѣрѣ. Семенъ Петровичъ, съ точностью и аккуратностью

хорошей машины, фабриковалъ ежедневно ровно такое количество строчекъ, какое отъ него требовалось по уговору съ редакціей.

Неудивительно, еслибы работа его ограничивалась только одними переводами съ иностранныхъ газетъ, выдержками и компиляціями, т.-е., такимъ «литературнымъ» трудомъ, который можно измѣрять дюймами и вершками, а не степенью напряженности и плодовитости мысли. Нѣтъ! Пульхеровъ выработалъ въ себѣ замѣчательную способность «сочинять» о чемъ угодно и сколько угодно, сообразно заказу, т.-е., сообразно количеству заказанныхъ строчекъ, точно голова его представляла собой какую-то лавочку съ раздробительной продажей, на аршины и вершки, идей, чувствъ и мыслей.

Бывало редакторъ скажетъ:

— Семенъ Петровичъ, напишите о политикѣ Биконсфильда въ восточномъ вопросѣ «передовую статью» въ пятьдесятъ строчекъ... Сегодня у насъ мало матеріала!

— Очень хорошо! безъ возраженій отвѣтитъ Семенъ Петровичъ, отрѣжетъ привычной рукой полосу бумаги, по разсчету требуемаго количества строкъ, не задумываясь, поскрыпитъ перышкомъ съ полчаса, и—передовая статья въ «пятьдесятъ» строчекъ готова... Развѣ только на-какую нибудь одну, двѣ строки окажется недохватка или излишекъ. Еслибъ статья была заказана въ десять строкъ или—наоборотъ—въ сто, въ двѣсти, въ сколько угодно, Семенъ Петровичъ написалъ-бы ее такъ-же охотно, такъ-же толково, литературно и занимательно, какъ и въ данномъ случаѣ.

Къ этой сноровкѣ писанія Пульхеровъ такъ привыкъ, что, собираясь сочинять какую-бы ни было «передовую» или не передовую статью, онъ прежде всего справлялся—во

сколько строчекъ она должна быть. Объ остальномъ, т. е., о содержаніи статьи, о ея характерѣ и идеѣ и Пульхеровъ, и редакторъ или во всѣ не объяснялись, или объяснялись вскользь и крайне умѣренно. Обыкновенно, редакторъ, изъ блюстительной ревности къ благонравію газеты, ограничивался одними лишь цензурными предостереженіями: не говорить о томъ-то, не трогать того-то и т. под.

Да и о чемъ другомъ тутъ объясняться? Вѣдь давно уже всѣми рѣшено и подписано, что политика Австріи коварна, что Англія покровительствуетъ Турціи, что Греви симпатизируетъ республиканцамъ, а Бисмаркъ—напротивъ—всячески старается насолитъ имъ и т. д., и т. д. И такъ по всѣмъ вопросамъ и фактамъ внѣшней и внутренней политики, въ хорошо устроенной головѣ публициста, какъ въ «Оракулѣ для гаданія», имѣется въ запасѣ полный ассортиментъ «отвѣтовъ» на каждый вопросъ, на каждое общественное явленіе, отвѣтовъ, которые, къ удовольствію благонамѣреннаго читателя, неукоснительно сводятся къ тому, что «добродѣтель—добродѣтельна», а «порокъ—порочень...

Съ запасомъ такихъ максимъ въ головѣ, можно писать статьи въ какое угодно количество строкъ и по какимъ хотите вопросамъ. Мыслительной работы для этого не нужно, нужна только нѣкоторая мозговая дрессировка, извѣстная рутина и большая или меньшая способность къ языкоблудію. Правду сказать, большинство—огромное большинство «передовыхъ» статей въ нашихъ газетахъ по такому именно рецепту и пишутся.

Съ этой стороны, Семенъ Петровичъ представлялъ собой интересный типъ современнаго журнальнаго чернорабочаго, безъ имени, безъ физіономіи, котораго читатель ни-

когда не знаетъ и не интересуется узнать, который, въ своей заученной дѣятельности, есть не болѣе, какъ винтикъ въ машинѣ, именуемой газетой. Эта машина поглощаетъ массу такихъ живыхъ силъ, обезличиваетъ ихъ и низводитъ до значенія простыхъ ремесленниковъ. Иначе это и не можетъ быть, потому что въ ежедневной газетѣ всегда масса такого матеріала, для составленія котораго требуется отъ рабочаго не талантъ и «философія», а навыкъ, точность и пунктуальность.

Семенъ Петровичъ не грѣшилъ авторскимъ самолюбіемъ; онъ никогда ни подъ одной изъ своихъ статей не подписывалъ ни имени своего, ни псевдонима. Имени у него, какъ-будто, вовсе не было, да онъ и не пытался дать ему гражданство въ ряду писателей съ именемъ. Онъ нисколько не интересовался своими «сочиненіями», нисколько не любилъ ихъ любовью творца, у него не было никакихъ вопросовъ и тэмъ, которые волновали-бы его и задѣвали за живое. Все, что онъ строчилъ, казалось для него просто «работой» и—ни чѣмъ больше, «работой», которую онъ считалъ своимъ священнымъ долгомъ исполнить, какъ нельзя болѣе добросовѣстно въ техническомъ отношеніи и согласно требованіямъ заказа.

Увы, Семенъ Петровичъ мой далеко не исключительное въ этомъ родѣ явленіе! Но—спроситъ читатель—была-же у этого человѣка какая-нибудь внутренняя жизнь, были же у него какія нибудь *свои*—не газетныя—мысли, чувства, привязанности?

Да, кое-что было!

Довольно часто встрѣчаясь съ Пульхеровымъ, я заинтересовался его личностью. Съ перваго взгляда, онъ мнѣ

показался, подъ оболочкой своей забитости и приниженности, человѣкомъ себѣ на умѣ, человѣкомъ, у котораго накопилось подъ спудомъ много невысказанныхъ трудныхъ и горькихъ думъ. Какъ то разъ, выйдя съ нимъ вмѣстѣ изъ редакціи, я зазвалъ его къ себѣ пообѣдать. Зная о его «слабости», я, каюсь, съ предательской цѣлью, снабдилъ мой скромный столъ изобильными питіями. Къ удивленію, Пульхеровъ даже не дотронулся до нихъ:

— У меня вѣдь это несчастье полосою приходитъ, объяснился онъ на этотъ счетъ. Это, надо сказать, просто— недугъ, а то вѣдь я капли въ ротъ не беру.

Я старался втянуть его въ разговоръ объ общихъ вопросахъ, и—скучнѣе собесѣдника нельзя было себѣ представить. О каждомъ такомъ вопросѣ онъ «своего» мнѣнія не имѣлъ, а только цитировалъ газеты: Въ «Голосѣ» вотъ что объ этомъ вопросѣ говорится, а въ «Journal de St. Petersbourg» вотъ—что и т. д. Память у него была громадная, и въ цитатахъ онъ былъ неистощимъ.

Какъ это ни странно, но разговоръ объ общихъ вопросахъ и интересахъ между журнальной братіей очень рѣдко заводится, а заведется—тотчасъ-же обрывается. За то въ журнальныхъ сплетняхъ и пересудахъ мы неистощимы. Пульхеровъ, къ моему разочарованію на его счетъ, не составлялъ въ этомъ отношеніи счастливаго исключенія.

— Скажите пожалуйста, обратился онъ ко мнѣ, вы не знаете, кто это пишетъ въ журналѣ «Либеральные Высѣвки» фельетоны подъ псевдонимомъ «Дельта»?

— А что? спросилъ я.

— Да такъ... любопытно знать... Сегодня въ редакціи у насъ говорили, что это г. Жуковскій... Только не должно

быть: у г. Жуковскаго совсѣмъ не тотъ стиль... А знаете, газета «Полярная льдина» скоро прикажетъ долго жить.

— Что такъ?

— А у нихъ тамъ въ редакціи скандальчикъ вышелъ. Одинъ изъ самыхъ главныхъ пайщиковъ по изданію «Полярной льдины», капиталистъ Стержневъ, поссорился и пересталъ снабжать ихъ деньгами... А безъ этого имъ капутъ... Вотъ тоже не совсѣмъ хорошее положеніе и у газеты «Генералъ-басъ»: теперь годовая подписка начинается, а у нея на плечахъ два предостереженія... Подписчикъ, конечно, въ сомнѣніи...

Въ этомъ родѣ разговаривали мы битый часъ, и у Семена Петровича матеріалъ не истощался. Разсказывалъ онъ совершенно безстрастно и крайне незанимательно. Рѣчь его лилась какими то залпами... Заговоритъ, заговоритъ и вдругъ какъ-будто поперхнется... При этомъ, онъ безконечно конфузился и хихикалъ какимъ то беззвучнымъ, деревяннымъ смѣхомъ.

Узнавъ ближе Пульхерова, я убѣдился, что у него рѣшительно не было никакихъ интересовъ, никакихъ пристрастій внѣ его ремесла. Кромѣ редакціи, онъ никуда не ходилъ и нигдѣ не бывалъ. Всѣ его дни были похожи другъ на друга, какъ двѣ капли воды. По окончаніи занятій въ редакціи, онъ обѣдалъ за 30 к. въ какой-нибудь дрянной кухмистерской, приходилъ домой, ложился на свой клеенчатый диванъ—постели у него не было—и нѣсколько часовъ спалъ; потомъ вставалъ, пилъ чай и принимался за работу: писалъ для газеты какую-нибудь руководящую статью или фельетонъ. Поздно, за полночь ложился и поднимался утромъ, часовъ въ девять, чтобъ начать день заведеннымъ порядкомъ.

Жилъ онъ въ комнатѣ «съ небелью» отъ жильцовъ и жилъ совершеннымъ бѣднякомъ. Въ его обстановкѣ не замѣчалось нетолько роскоши, но даже довольства. Весь гардеробъ его ограничивался тѣмъ, что было у него на плечахъ. Единственный избытокъ былъ у него въ цилиндрахъ и резиновыхъ калошахъ. Эти двѣ статьи гардероба были его слабостью. У него было паръ двѣнадцать калошъ и такое-же количество шляпъ, одинаково заношенныхъ и, въ сущности, негодныхъ къ употребленію. Каждому цилиндру соотвѣтствовала пара калошъ, и Семенъ Петровичъ располагалъ ихъ по старшинству, т.-е., по времени покупки. Цилиндры, аккуратно завернутые въ газетную бумагу, висѣли у него рядышкомъ по стѣнѣ, и противъ каждаго цилиндра на полу стояла пара калошъ. Видно было, что хозяинъ занимается этимъ дѣломъ съ любовью, а, отвернувъ подкладку въ цилиндрахъ, любопытный могъ-бы прочитать тамъ его послужной списокъ, т.-е., годъ, мѣсяцъ и число его покупки, въ какомъ магазинѣ и за какую цѣну... Это была единственная роскошь Семена Петровича!

Незатѣйливость и бѣдность его обстановки происходили вовсе не отъ недостатка средствъ. Онъ получалъ до двухсотъ рублей въ мѣсяцъ, что для одинокаго человѣка, какимъ былъ Пульхеровъ, могло считаться приличнымъ содержаніемъ. Семенъ Петровичъ былъ очень нетребователенъ и очень скупъ. Онъ копилъ деньги не только изъ любви къ скопидомству, но и въ разсчетѣ получше себя обставить. Любимой его мечтой—была шуба, хорошая, дорогая шуба. По мѣрѣ того, какъ у него заводились деньжонки, онъ начиналъ ходить по мѣховымъ магазинамъ—выбирать мѣха и прицѣняться... Это ему доставляло особенное развлеченіе.

Но, по неисповѣдимымъ судьбамъ, Семену Петровичу никакъ не удавалось облачиться въ шубу... Лѣтъ восемь къ ряду, передъ началомъ каждой зимы, онъ начиналъ свои странствія по мѣховымъ магазинамъ и кончалъ тѣмъ, что оставался въ своемъ дрянномъ пальтишкѣ.

Неудача эта объяснялась очень просто: Семенъ Петровичъ запивалъ, запивалъ свирѣпо, мѣсяца на два подъ рядъ, и въ эти несчастные періоды не только спускалъ всѣ, по грошамъ скопленные, капиталы, но еще входилъ въ неоплатные долги. Запои его постигали правильно: два раза въ годъ—на праздникахъ Рождества и Пасхи. Обыкновенно, когда на него находилъ этотъ «праздничный» стихъ, онъ становился, сверхъ обыкновенія, рѣзкимъ и безпокойнымъ. Даже дерзалъ съ редакторомъ полемизировать.

— Ну, говорили тогда въ редакціи: нашъ ихтіозавръ теперь закуралеситъ во всю тяжкую... Клыки сталъ показывать!

На время своихъ запоевъ Семенъ Петровичъ исчезалъ и терпѣть не могъ, если его въ это время навѣщали или разыскивали. Попытки остановить его отъ гибельной страсти ни къ чему не вели. Пилъ онъ, большею частью, одинъ, безъ всякой компаніи. Запрется это въ своей канурѣ и по цѣлымъ днямъ изъ нея не выходитъ, давая знать о своемъ существованіи только пѣніемъ псалмовъ и ирмосовъ. Въ другое время онъ никогда не пѣлъ, а въ эти минуты наводилъ на весь домъ уныніе своимъ нестройнымъ и дикимъ вытьемъ.

Какіе думы и образы роились въ его отуманенномъ мозгу—кто его знаетъ; но нужно-же было, чтобы этотъ человѣкъ, одинокій и безпріютный, быть можетъ ни разу

въ жизни не согрѣтый ничьей любовью, ничьимъ участіемъ, отводилъ свою пустынную, тоскующую душу въ чемъ нибудь, хотя-бы въ винѣ...

Послѣ длинныхъ дней запоя, Семенъ Петровичъ обыкновенно адресовался въ редакцію съ посланіемъ, въ которомъ исповѣдывался въ своемъ прегрѣшеніи, просилъ работы и просилъ денегъ впередъ. Иначе ему нельзя было выйти, потому что все, что только можно было заложить и пропить, онъ закладывалъ и пропивалъ... Одни только цилиндры съ калошами, терпѣливые свидѣтели «безобразій» своего хозяина, оставались единственнымъ украшеніемъ его перекатнаго убожества.

Разумѣется, редакція, хорошо знавшая Семена Петровича и дорожившая его услугами, охотно приходила въ этихъ случаяхъ къ нему на помощь.

VII.

Газетный парія.

Когда въ редакцію являлся Тычкинъ, редакторъ никогда не просилъ его «присѣсть» и довольно безцеремонно старался сократить бесѣду съ нимъ до послѣдней крайности. Его ни за что не оставили бы одного, хотя-бы на самую коротенькую минутку, въ кабинетѣ, а когда онъ уходилъ, слуга очень внимательно слѣдилъ—не надѣваетъ-ли онъ «по ошибкѣ» редакторскія пальто и галоши, вмѣсто своихъ собственныхъ.

И, дѣйствительно, Тычкинъ имѣлъ видъ весьма подозрительнаго господина, начиная отъ его смятыхъ, заношенныхъ воротничковъ, нечищенныхъ сапоговъ, до его размашистыхъ манеръ и «открытой», ничѣмъ не смущающейся физіономіи. На немъ лежалъ какой-то несимпатичный отпечатокъ распущенности, бездомности и трактирнаго времяпровожденія. Его бѣдность была не изъ тѣхъ, которыя возбуждаютъ участіе; но еще болѣе не располагала къ Тычкину его нравственная неопрятность и то, что онъ, съ какой-то непостижимо-наивной наглостью, вовсе не старался скрыть свою безпорядочность и казаться лучше, чѣмъ онъ есть, на самомъ дѣлѣ.

Цинизмъ его былъ безграниченъ. Когда его уличали въ какомъ-нибудь некрасивомъ поступкѣ, онъ слушалъ, не сморгнувъ глазомъ, безъ малѣйшей краски стыда; когда его ругали въ глаза, онъ хихикалъ и отшучивался; когда его безъ церемоніи гнали вонъ, онъ спокойно уходилъ, а на другой день являлся снова какъ ничего не бывало.

— Послушайте, господинъ Тычкинъ, неужели вы ждете, чтобы васъ буквально спустили съ лѣстницы? скажетъ ему бывало иной редакторъ, потерявъ съ нимъ всякое терпѣніе.

— А какая вамъ будетъ оттого польза? хихикая, спроситъ Тычкинъ. Вѣдь вамъ-же безъ репортеровъ нельзя быть?

— Да, намъ нужны репортеры; но репортеры добросовѣстные, а у васъ—изъ десяти «сообщеній» девять либо завѣдомые вымыслы, либо контрафакціи и плагіаты... Уйдите вы, ради всего святого!

— А вотъ-же теперь, хоть побожиться, я принесъ вамъ самый достовѣрный и очень интересный фактъ. Неугодно-ли взглянуть?

И Тычкинъ лѣзъ въ карманъ и вытаскивалъ оттуда смятый лоскутокъ бумажки съ «достовѣрнымъ фактомъ». Обыкновенно, «чтобы отвязаться», редакторъ возьметъ эту бумажку, а тамъ, смотришь, и напечатаетъ. Что станете дѣлать съ такимъ наивно-добродушнымъ наглецомъ? Къ тому-жь, дѣйствительно, Тычкинъ доставлялъ иногда очень цѣнныя сообщенія. Тѣмъ не менѣе, въ нѣкоторыхъ редакціяхъ онъ положительно уже не былъ терпимъ. Онъ говорилъ о себѣ, что онъ журналистъ «извѣстный» и—точно—не было редакціи, гдѣ бы его не знали и, притомъ, съ самой невыгодной для него стороны.

Тычкинъ занимался репортерствомъ, т. е. собиралъ

разнообразные «факты» и «слухи» изъ повседневной жизни, изъ дѣятельности разныхъ общественныхъ учрежденій, изъ сферы административной и т. д. Въ ежедневной газетѣ отдѣлъ этого рода извѣстій играетъ весьма важную роль и, обыкновенно, редакціи прилагаютъ всевозможныя старанія, чтобы онъ былъ въ ихъ изданіяхъ какъ нельзя болѣе полонъ, свѣжъ и разнообразенъ. Къ сожалѣнію, по относительной новости этого дѣла и благодаря неорганизованности нашего литературнаго труда вообще, репортерская часть находится у насъ въ самомъ жалкомъ положеніи. Ею заправляютъ, въ большинствѣ случаевъ, люди совершенно неумѣлые, безпорядочные и даже неграмотные. Настоящій литераторъ репортерствомъ не станетъ заниматься, хотя-бы потому уже, что это вовсе не «литература». Тутъ гораздо болѣе нужны здоровыя ноги, чѣмъ здоровая голова; нужна извѣстная доля пронырства и нахальства, чтобы получать доступъ къ источнику разныхъ слуховъ и новостей, такъ какъ манія «канцелярской тайны» свирѣпствуетъ еще до сихъ поръ во многихъ нашихъ учрежденіяхъ.

Тычкинъ былъ всеобъемлющій репортеръ и строчилъ свои «мы слышали» и «намъ передавали» рѣшительно обо всемъ, что ему ни попадалось на глаза. Если до его слуха доходила вѣсть о какомъ-нибудь «происшествіи», онъ немедленно летѣлъ туда, входилъ съ апломбомъ на мѣсто дѣйствія; когда его спрашивали, кто онъ и что ему угодно, онъ торжественно заявлялъ, что онъ репортеръ такихъ-то и такихъ газетъ, вооружался огрызкомъ карандашика и начиналъ производить «дознанія». Случалось, конечно, что его безъ церемоніи вытурятъ; но онъ за тычкомъ не гнался и дѣлалъ свое дѣло по мѣрѣ силъ и возможности.

Наша повседневная жизнь не богата новостями и происшествіями», поэтому жатва «фактовъ» и «слуховъ» не всегда доставляла нашему герою средства для пропитанія. Онъ недолго ломалъ голову, какъ поправить бѣду. Зная истину, что «ничто не ново подъ луною», онъ преспокойно пускалъ въ оборотъ старыя, забытыя извѣстія, выдергивая ихъ изъ заброшенныхъ нумеровъ газетъ. Кто станетъ помнить какой-нибудь «слухъ» о томъ, напримѣръ, что въ филантропическомъ обществѣ «изломанной копѣйки» обсуждался тогда-то проектъ гигіеническихъ зубочистокъ для бѣдныхъ вдовъ и сиротъ? «Слуховъ» въ этомъ родѣ является въ ежедневныхъ газетахъ масса, и никто на нихъ не обращаетъ вниманія. Тычкинъ сдѣлалъ опытъ «возобновленія» и—опытъ удался. Это его подстрекнуло на дальнѣйшую разработку этой благодарной профессіи и, какъ водится, уже съ меньшей осмотрительностью и разборчивостью. Попался.

— Вы это что-же—старыя, напечатанныя извѣстія, выдаете за новыя? Какъ прикажете назвать этотъ «честный» поступокъ? напустились на него въ одной редакціи.

— А я думалъ, что вы этого не замѣтите... хе хе... Вотъ въ другихъ газетахъ—ничего, печатаютъ и не догадываются, съ невозмутимымъ благодушіемъ возразилъ Тычкинъ.

— Вѣдь это-же обманъ?!

— Если хотите, да—дѣйствительно обманъ, только, ей Богу, очень ужь невинный... хе-хе... Такіе-ли обманы на свѣтѣ бываютъ?

Кромѣ поддѣлки старыхъ извѣстій подъ новыя, Тычкинъ черпалъ еще «достовѣрныя извѣстія» прямо уже изъ своей

фантазіи. Къ сожалѣнію, очень она бѣдна у него была. Онъ выработалъ въ себѣ способность сочинять слухи изъ области промышленныхъ предпріятій. Въ свое время, вы, безъ сомнѣнія, прочитали извѣстія о томъ, напр., что—

«въ непродолжительномъ времени въ Петербургѣ образуется компанія на акціяхъ для выдѣлки сливочнаго масла изъ мухоморовъ»,

или, что

«извѣстные капиталисты A, B, C, D, и т. д., въ видахъ доставленія жителямъ столицы свѣжаго парного молока, устраиваютъ на Петербургской Сторонѣ молокочальню, которая, посредствомъ трубъ, будетъ снабжать всѣ дома великолѣпнѣйшимъ молокомъ»,

или, что

«нѣкто готовится подать въ думу проектъ о замѣнѣ въ конно-желѣзныхъ каретахъ чугунныхъ колесъ—гуттаперчевыми, дабы такъ часто попадающіе подъ нихъ обыватели, вмѣсто увѣчья, получали одно только удовольствіе легонькой щекотки» и т. д.

Въ нѣкоторыхъ, неособенно разборчивыхъ на этотъ счетъ газетахъ извѣстія въ такомъ родѣ печатаются каждый день и за каждое изъ нихъ гг. Тычкины аккуратно получаютъ свои пятаки.

Была въ дѣятельности моего героя еще одна, крайне некрасивая сторона. Нестѣсняемый никакими нравственными сдержками, онъ не прочь былъ, при случаѣ, и пошантажничать съ свойственной ему наивной беззастѣнчивостью.

Сталкиваясь со всякимъ народомъ и, большею частью, недружелюбно, такъ какъ назойливость подобныхъ согляда-

таевъ, никому не можетъ быть пріятной, Тычкинъ бралъ угрозой, что онъ-де «пропечатаетъ въ газетѣ» о томъ или другомъ, непочтительно или недостаточно щедро относящемся къ нему, обывателѣ.

Въ разныхъ трактирчикахъ, кабачкахъ и тому подобныхъ публичныхъ мѣстахъ его положительно боялись и старались задобрить въ свою пользу. Русскій человѣкъ, пуще огня, боится гласности, въ особенности, если чувствуетъ за собой какой-нибудь грѣшокъ.

Другіе заискивали въ Тычкинѣ ради того, чтобы удостоиться отъ него лестнаго отзыва въ газетѣ объ ихъ предпріятіи или заведеніи. Тычкинъ, несмотря на свою кажущуюся простоватость, умѣлъ пользоваться такими случаями и извлекалъ изъ своихъ кліентовъ разнообразный гонораръ, помимо того, который ему платили редакціи, ничего, конечно, не подозрѣвавшія о его закулисныхъ сдѣлкахъ.

Тычкинъ завелъ для себя особенныя визитныя карточки, на которыхъ, послѣ имени и фамиліи, значилось, что онъ, Тычкинъ «репортеръ» такихъ-то и такихъ-то газетъ. Съ этой карточкой, которую Тычкинъ называлъ своимъ «паспортомъ», онъ нахрапомъ лѣзъ всюду, и почти всюду ему отпирали двери... Нельзя—«представитель прессы»!

Тычкинъ былъ человѣкъ безъ всякой культуры и безъ всякаго образованія; онъ не могъ даже писать грамотно свои «отчеты», и въ редакціяхъ ихъ безконечно черкали и исправляли. Въ сущности, это была личность потерянная, до послѣдней крайности истасканная и ни на что путное не годная. Только недостатокъ хорошихъ работниковъ и полное неустройство нашего литературнаго дѣла обусловливаютъ возможность существованія въ рядахъ пишущей братіи подобнаго отребья.

Тычкинъ представлялъ собою типъ культурнаго бродяги и литературной богемы, имѣющій ту особенность и привиллегію передъ другими разновидностями бродячаго Петербурга, что бродяжничество и бездѣльничество для него источникъ пропитанія, своего рода подножный кормъ. Шатаясь изо дня въ день по разнымъ публичнымъ заведеніямъ и увеселительнымъ мѣстамъ—театрамъ, кафе-шантанамъ и пр., и вездѣ, конечно, безплатно, а нерѣдко еще получая и даровое угощеніе, такого сорта «представитель прессы» этимъ самимъ дѣло дѣлаетъ и пропитаніе себѣ снискиваетъ. Сегодня собралъ «матеріалъ», завтра настрочилъ отчетъ, снесъ въ редакцію и—обѣдъ у него готовъ.

Особенно процвѣталъ и благоденствовалъ Тычкинъ лѣтомъ. Въ это время даже внѣшность его значительно поправлялась: онъ казался сытѣе обыкновеннаго и видимо откармливался; самый костюмъ его освѣжался и улучшался до претензій на моду и франтовство, а одновременно являлся въ немъ апломбъ развязнаго, заносчиваго фата.

Счастливая перемѣна эта объяснялась тѣмъ, что Тычкинъ на лѣто превращался въ спеціальнаго «садоваго критика», т. е., занимался обозрѣніемъ увеселительныхъ «садовъ», кафе-шантановъ, загородныхъ театровъ и пр.

Извѣстно, какое множество этого рода заведеній открывается въ Петербургѣ во время лѣтняго сезона. Можно-бы сказать, что наше петербургское лѣто все на откупу у разныхъ предпріимчивыхъ антрепренеровъ по трактирно-увеселительной части. Эта промышленность захватила въ свои оборотливыя руки почти всѣ дачныя общественныя угодья и гульбища столицы, такъ что петербуржцу рѣшительно нельзя никуда носу высунуть на вольный воздухъ, подъ

зелень, чтобы не стукнуться лбомъ о крѣпкіе заборы и стѣны того или другаго веселаго вертограда, съ радушно и заманчиво предлагаемымъ «входомъ» за болѣе или менѣе умѣренную плату.

Столь широкое и обильное предложеніе вызвано вполнѣ естественно—не менѣе обширнымъ спросомъ, такъ какъ для большинства культурныхъ петербуржцевъ лѣтнее препровожденіе времени на вольномъ воздухѣ было-бы немыслимо внѣ нарочитыхъ увеселительныхъ мѣстъ съ разнообразнымъ репертуаромъ, удовлетворяющимъ всѣ пять чувствъ по лѣтней программѣ. Сдѣлать прогулку у нихъ означаетъ—забраться въ какой-нибудь кафе-шантанъ, весь вечеръ высидѣть въ душномъ театрѣ, посвящая антракты утаптыванію площадки передъ павильономъ оркестра, а еще болѣе—освѣжительнымъ экскурсіямъ къ буфету.

Бродячій Петербургъ (а лѣтомъ онъ, можно сказать, весь превращается въ бродячій), при указанной выше манерѣ пользоваться лѣтнимъ благораствореніемъ природы, натурально хочетъ знать всѣ текущія новости и все, что дѣлается во всѣхъ этихъ «Аркадіяхъ», «Озеркахъ». и пр. Съ своей стороны, антрепренеры-увеселители и артисты очень хорошо постигли цѣну гласности и разницу между благосклонными и неблагосклонными о нихъ отзывами печати. Этимъ путемъ газеты поставлены въ необходимость вести лѣтопись увеселительнаго препровожденія времени въ «садахъ» и изучать ихъ эстетику.

Потребовались особые по этой части спеціалисты-критики. Но гдѣ ихъ было взять, если у насъ и на болѣе отвѣтственные отдѣлы публицистики работниковъ не хватаетъ? И вотъ, не вѣсть откуда «полѣзли изъ щелей мошки

и букашки», полѣзли въ «театральные критики», въ большинствѣ, такіе господа, которые, за неспособностью и малограмотностью, не годились-бы въ простые писаря.

Такимъ-то родомъ и Тычкинъ дѣлался каждое лѣто театральнымъ эстетикомъ и спеціальнымъ «садовымъ критикомъ», авторитетно трактующимъ о кафе-шантанномъ искусствѣ и его жрецахъ: «Критика» эта была самая прибыльная для него статья, и онъ превосходно усвоилъ себѣ ея суть и ея утилитарныя, такъ сказать, кормовыя стороны.

Въ литературномъ отношеніи, вся мудрость этой «критики» заключается въ умѣньи хвалить и «ругать»—больше ничего! Тычкинъ затвердилъ, какъ сорока, нѣсколько стереотипныхъ вокабулъ и фразъ, въ хвалительномъ и ругательномъ смыслѣ, изъ газетнаго жаргона, и машинально перетасовывалъ ихъ, по отношенію къ кафе-шантаннымъ зрѣлищамъ, какъ колоду картъ, смотря по требованіямъ своего аппетита и своихъ личныхъ счетовъ съ антрепренерами и артистами. Благоволятъ они къ нему, заискиваютъ въ немъ, а—главное—кормятъ и поятъ,—онъ ихъ хвалитъ, нѣтъ—донимаетъ ихъ «руготней»... Критерій у него по этой части безъошибочный. Когда онъ обругаетъ въ газетѣ какое-нибудь увеселительное заведеніе или какого-нибудь артиста, заинтересованные и свѣдущіе читатели, знающіе, что такое эта «садовая критика», такъ прямо и заключаютъ:

— Эге! видно господина критика не покормили сегодня...

И заключеніе такое почти всегда вѣрное. Тычкинъ до того проникся необходимостью чужеяднаго шантажа въ своемъ ремеслѣ, что не только не стыдится его, но еще чванится,

явно рекламируетъ себя съ этой позорной стороны. Это сказывается во всей его фигурѣ, въ манерахъ, когда онъ входитъ въ какое нибудь увеселительное заведеніе.

Если онъ голоденъ и не доволенъ, то хранитъ такой подлый и наглый видъ, по отношенію къ увеселителямъ, какъ еслибъ у него за пазухой лежалъ на готовѣ увѣсистый и неотразимый противъ нихъ камень.

— Выругаю! Ошельмую! — краснорѣчиво гласитъ его безстыжая, угрожающая мина.

Положимъ, не всякаго-же можно ошельмовать за здорово живешь, да и публика не дастъ вѣры напрасной клеветѣ и ругани; но кому-же охота стать предметомъ хотя-бы напраснаго и безсильнаго лаянья въ печати?—Тычкинъ это очень хорошо знаетъ и безшабашно терроризируетъ этотъ страхъ ругани въ своихъ жертвахъ. Актеры, а еще болѣе актрисы—народъ крайне самолюбивый, мелочный, а потому очень чувствительный къ газетной, на его счетъ, «критикѣ», чтобъ не склонить ея судъ въ свою пользу,—всячески лебезятъ и заискиваютъ передъ «критиками».

Купить Тычкина, сравнительно, не дорого стоитъ. Если антрепренеры и актеры время отъ времени его кормятъ и напаиваютъ, да не отказываютъ въ нѣсколькихъ рубляхъ, испрашиваемыхъ подъ видомъ «займа», то ублаженный и благодарный Тычкинъ истощаетъ для нихъ весь запасъ своей хвалебной риторики.

Со стороны артистки, если она молода и интересна, требуется, кромѣ того, пощекотать сластолюбивый инстинктъ «критика»: сдѣлать выразительные глазки, сказать любезность, отвѣтить на рукопожатіе, дать поцѣловать ручку и

такъ далѣе, смотря по тому, насколько подлежащая «критикѣ» особа сговорчива, эманципирована и благодарна...

И по этой части Тычкинъ — не дуракъ. Несмотря на всю свою мизерабельность и неказистость, онъ на своемъ лѣтнемъ «подножномъ кормѣ» столько нагуливаетъ въ себѣ прыти, что отваживается галантерейничать съ кафе-шантанными артистками, смѣло ищетъ у нихъ особаго интиминаго вниманія и не всегда безъуспѣшно...

Словомъ, на лѣтнемъ положеніи этотъ отпѣтый и самый неблистательный интеллигентный бродяга благоденствуетъ по своему: исправно одѣтъ и обутъ, ежедневно сытъ и пьянъ, изо дня въ день наслаждается природой, зрѣлищами и увеселеніями, а въ счастливыя минуты и дешевой «клубникой».

VIII.

Дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей.

Лѣтъ десять не былъ я въ такъ называемомъ «молодцовскомъ» клубѣ, но какъ-то разъ, часовъ въ двѣнадцать ночи, возвращаясь съ пріятелемъ изъ одного экономнаго дома, гдѣ не въ обычаѣ подчивать гостей ужиномъ, мы рѣшили завернуть въ него мимоходомъ, чтобы закусить. Это случилось, именно, мимоходомъ, потому что «молодцовскій» лежалъ намъ по пути, ближе другихъ заведеній, предлагающихъ ѣду, и выбралъ его мой пріятель, оказавшійся тамъ своимъ человѣкомъ, какъ «постоянный посѣтитель». Послѣднее обстоятельство меня въ немъ нѣсколько удивило, потому что я зналъ его до сихъ поръ за человѣка порядочнаго, развитаго и со вкусомъ, и зналъ въ то же время, что клубъ этотъ не славится ни избранностью общества, ни особеннымъ комфортомъ, ни изяществомъ зрѣлищъ и увеселеній, ни даже прихотливостью кухни.

— И ты здѣсь дѣйствительно *постоянный* посѣтитель?—спрашиваю его, когда мы входили подъ грязный тиковый навѣсъ, драпирующій главный подъѣздъ клуба.

— Не постоянный, положимъ, но заглядываю частенько,—отвѣтилъ онъ.

— Для какой-же радости?

— Странный вопросъ! Очень просто: для разврата... Для чего-жь другаго посѣщаются у насъ клубы и чѣмъ другимъ можно было-бы объяснить ихъ существованіе?

— До сихъ поръ я не замѣчалъ за тобой этой слабости...

— Къ разврату?—Чудакъ! Да кто-жь въ Петербургѣ не подверженъ этой слабости въ той или другой степени и въ той или другой формѣ? Развратъ—это наше всесословное качество, только нужно его понимать въ широкомъ смыслѣ... Я, вотъ, когда мнѣ захочется пожрать всласть, посѣщаю также «картофельный» клубъ, то есть, сельскохозяйственный, гдѣ вовсе отсутствуетъ бабій элементъ и гдѣ нѣтъ члена моложе сорока лѣтъ и ниже, чиномъ, коллежскаго совѣтника... Что-же, думаешь, нравы тамъ лучше, чѣмъ въ «молодцовскомъ»?—Такого сластолюбиваго чревоугодія, а, главное, такого гнуснаго языкоблудія мы здѣсь не встрѣтимъ.

— Но, вѣдь, и помимо клубовъ, можно находить общество по вкусу...

— Это не въ нашихъ-ли гостинныхъ и «салонахъ», на «журъ-фиксахъ» и «семейныхъ вечерахъ»? Покорно благодарю! Бывалъ... Да, вотъ, мы сейчасъ съ тобой были... Что-же, весело и назидательно провели время?

— Не скажу...

— То-то и есть, что добродѣтель у насъ всегда какая-то постная, унылая и неразлучная со строгой діэтой... Попадешь въ ея общество—такъ и клонитъ лечь и умереть со

скуки, потому что добродѣтель у насъ чаще всего и тупоголова вдобавокъ. Если-же въ томъ или другомъ «салонѣ» замѣчаются иногда признаки жизни и веселости, можешь безъошибочно рѣшить заранѣе, что тутъ все вертится на болѣе или менѣе замаскированномъ развратѣ... Знаешь, чай, какіе утонченно-подлые, элегантные и изящные сорта разврата выработало салонное общежитіе! Только я до нихъ не охотникъ.

— Тебѣ «самобытность» подавай!—засмѣялся я, когда мы, поднявшись по великолѣпной лѣстницѣ, по которой нѣкогда всходила вся пышная знать столицы, вошли въ плохоосвѣщенныя, закопченныя, но все еще сохраняющія отпечатокъ барской роскоши, хоромы «молодцовскаго» клуба. Извѣстно, что клубъ этотъ помѣщается въ домѣ, бывшемъ князя Голицына,—одномъ изъ блистательнѣйшихъ, по архитектурному великолѣпію, барскихъ домовъ столицы, воздвигнутыхъ во времена крѣпостнаго права, и нынѣ—увы!—превращенный въ публичное заведеніе для «черни непросвѣщенной».

Этотъ, именно, вульгарный характеръ «заведенія» бросался въ глаза, билъ по носу и рѣзалъ ухо здѣсь во всемъ. Удушливый туманъ, сотканный изъ табачнаго дыма и кухонныхъ испареній, столбомъ ходилъ по всѣмъ комнатамъ. Въ танцовальномъ залѣ изо всей мочи барабанилъ на фортепьянахъ таперъ какую-то отчаянную польку, подъ звуки которой съ увлеченіемъ, хотя не всегда попадая въ тактъ, вертѣлось нѣсколько паръ. Совершенно уличная пестрота публики и полная непринужденность въ обращеніи между собою представителей различныхъ половъ обращали на себя вниманіе на каждомъ шагу. Такой непринужденности десять

лѣтъ тому назадъ не замѣчалось... Очевидно, деморализація въ стѣнахъ «молодцовскаго» быстро прогрессируетъ.

— Я потому и люблю это помѣщеніе,—возразилъ мой пріятель на высказанное мной замѣчаніе о вышеприведенной особенности «молодцовскихъ» нравовъ,—что здѣсь все на чистоту, просто и безъ псевдонимовъ. Развратъ—такъ развратъ, мерзость—такъ мерзость, въ натурѣ и безъ всякихъ глупыхъ претензій... По крайней мѣрѣ, откровенно, и—заранѣе знаешь, съ кѣмъ имѣешь дѣло и на какихъ основаніяхъ дѣло, въ случаѣ охоты, можетъ устроиться.

— Но, вѣдь, и занимательнаго въ этомъ немного...

— Этого ты не говори. Есть типы удивительные... Рѣдко, но попадаются!

— Среди этихъ-то мѣстныхъ милыхъ, но погибшихъ созданій! Неужели они тебя интересуютъ?

— И, знаешь-ли, съ какой стороны? Писатели, обыкновенно, ищутъ въ этомъ случаѣ «жертвъ» и ищутъ въ этихъ жертвахъ признаковъ неугасшей еще «искры Божіей»... А для меня эти «жертвы» любопытны съ одной лишь зоологической стороны. На нихъ я вполнѣ убѣждаюсь въ справедливости теоріи Дарвина, что человѣкъ произошелъ отъ обезьяны... Я думаю даже, что многія изъ этихъ «созданій» гораздо ближе къ мартышкамъ, чѣмъ къ человѣку... Да, вотъ, мы сейчасъ сдѣлаемъ опытъ!

— Что ты хочешь дѣлать?

— Приглашу дамъ удостоить насъ чести роспить съ нами бутылку вина.

— У тебя есть здѣсь знакомыя?

— Есть, но, во-первыхъ, я ихъ не помню, а, во-вторыхъ, никакого знакомства тутъ ненужно... Mademoiselle,

позвольте васъ просить на стаканчикъ лафита!—неожиданно и безцеремонно обратился онъ къ проходившей мимо насъ въ эту минуту дамѣ.

Мы сидѣли въ такъ-называемомъ «зимнемъ саду», снабженномъ фонтаномъ, весьма скудномъ зеленью, но изобилующимъ романическимъ полумракомъ, покровительствующимъ интимнымъ встрѣчамъ и rendez-vous мѣстныхъ Лауръ и донъ-Жуановъ.

Приглашенная дама на минутку остановилась, окинула насъ испытующимъ взоромъ и безъ колебаній усѣлась на предложенный ей стулъ.

— Какъ васъ звать?—спросилъ ее мой пріятель, не менѣе испытующе оглядывая ее съ головы до ногъ.

— Анна Петровна.

— Очень пріятно познакомиться, Анна Петровна!—протянулъ онъ ей руку.—Рекомендую: мой пріятель, господинъ Имярекъ!—указалъ онъ на меня.

Я тоже обмѣнялся рукопожатіемъ. Наша новоявленная знакомая ничего не представляла собой увеселительнаго. Уже не первой молодости, тощая, съ болѣзненнымъ цвѣтомъ лица, плохо одѣтая, съ вымученной, дѣланной беззаботностью въ улыбкѣ и въ манерахъ, она возбуждала скорѣе чувство сострадания, чѣмъ помыслы о какомъ-бы ни было «развратѣ».

— Выудили бобра!—безжалостно высказалъ свое мнѣніе о ней мой пріятель и сталъ разсѣянно смотрѣть по сторонамъ.

— Барышня! барышня! пожалуйте сюда!—поманилъ онъ пальцемъ, спустя минуту, бѣлокурую, молоденькую, съ недурненькимъ, но вялымъ и безцвѣтнымъ личикомъ, дамочку, остановившуюся невдалекѣ отъ нашего стола.

Дамочка не заставила повторять приглашенія, не взирая на всю грубость его формы.

— Вина хотите?—безъ дальнихъ околичностей спросилъ ее мой пріятель, когда она подошла къ нашему столу.

— Мнѣ-бы коньяку и закусить,—дѣловымъ тономъ возразила она, какъ бы торгуясь.

— Садитесь!.. Остановки не будетъ ни за коньякомъ, ни за закуской.

Дамочка сѣла.

— Чай, для экспертизы, на первый случай, двухъ экземпляровъ довольно? А то, вѣдь, стоитъ поманить пальцемъ—всѣ сюда сбѣгутся,—замѣтилъ, адресуясь ко мнѣ, мой пріятель.

— По мнѣ, хотябъ ни одного экземпляра... Скучно это!

— Ты повремени... Вотъ мы съ ними коньякомъ подрумянимся! Вы, вѣдь, Анна Петровна, тоже къ коньяку больше расположены, чѣмъ къ лафиту... Неправда-ли?

— Но, кромѣ того, и я закусить-бы желала...

— Люблю за чистосердечіе!... Человѣкъ!

Слугѣ было заказано нѣсколько порцій ѣды и графинъ коньяку. Въ ожиданіи корма и питья, дамы наши, хранившія дотолѣ угрюмый и тоскливый видъ, стали понемножку оживляться; но, тѣмъ не менѣе, никакого, сколько нибудь осмысленнаго разговора завязать съ ними и поддержать не представлялось возможности.

— Говорю тебѣ: зоологія въ самомъ чистѣйшемъ, дѣвственномъ видѣ! У караиба словарь разговорный богаче!—вставилъ мой собесѣдникъ, нисколько не стѣсняясь высказывать громко свои замѣчанія о нашихъ дамахъ, да и ихъ самихъ это нисколько не шокировало, кромѣ того, что онѣ многаго и не понимали.

На коньякъ онѣ жадно накинулись и въ кратчайшее время проглотили по три или четыре рюмки, т. е., опорожнили весь графинъ и, когда въ немъ ничего не осталось, поднимали его и смотрѣли на свѣтъ, не осталась-ли въ немъ еще хоть капелька.

— Еще хотите; только мы вамъ больше не дадимъ, а то вы напьетесь допьяна, мои дѣти!—отеческимъ тономъ замѣтилъ имъ мой пріятель.—Вотъ лафиту—сколько угодно...

— Какія глупости! За кого вы насъ принимаете?—съ шутливой обидчивостью отозвалась блондинка.—Мы не лошади: больше ведра не выпьемъ... Ха-ха ха!

Обѣ звонко разсмѣялись. Хихиканье и развязность не покидали ихъ теперь. Обѣ они оживились и болтали на перебой. Анна Петровна то того расходилась, что, не довольствуясь нашимъ обществомъ, стала задѣвать мимопроходившихъ мужчинъ. Вялое, блѣдное, почти дѣтское личико блондинки разцвѣло румянцемъ, тусклые каріе глазки заблестѣли эротическимъ огонькомъ; она улыбалась блаженной улыбкой, болтала ногами, какъ это дѣлаютъ ребята въ игривомъ настроеніи, и тоненькимъ, пискливымъ голоскомъ напѣвала веселые мотивчики изъ «Корневильскихъ колоколовъ»... Ее можно было-бы въ эту минуту назвать даже интересной. При этомъ, она явно старалась кокетничать и обольщать, имѣя предметомъ, какъ казалось, главнымъ образомъ, моего пріятеля. Она съ нимъ открыто заигрывала и позволяла ему такую короткость обращенія съ собой, которая не оставляла никакого, повидимому, сомнѣнія на счетъ ея призванія.

— Слушайте, милочка, вы напрасно такъ увлекаетесь вашимъ предметомъ!—наставительно обратилась, вдругъ,

Анна Петровна къ моему пріятелю въ патетическомъ мѣстѣ его бесѣды съ блондиночкой.

— Я увлекаюсь? Съ чего вы это взяли?—возразилъ онъ.

— Однако-жь... Вѣдь, Липочка—хорошенькая и съ вами любезна... Развѣ мы не видимъ?

— Я, моя дочь, слишкомъ старый развратникъ, чтобы не умѣть отличать истинную любезность въ женщинѣ отъ наркотическаго дѣйствія коньяку и сытаго желудка. Наконецъ, если бы я и увлекся Липочкой... васъ зовутъ Липочкой?—очень пріятно!.. еслибъ я и увлекся, то вамъ-то какая печаль?

— Печали мнѣ нѣтъ, а только васъ жаль...

— Почему-же?

— Напрасно будете стараться... Липочка—дочь честныхъ и благородныхъ родителей.

— Я думаю, и у васъ—такіе-же родители...

— Большая разница! Меня мои родители выбросили на улицу, а ея—берегутъ ее, какъ зѣницу... Вы, вотъ, подумали не бойсь, что она—такая-сякая: поужинали, взяли подъ ручку и поѣхали, какъ это здѣсь водится... Ошибетесь въ разсчетѣ, душенька! Липочка—невинная барышня.

Послѣ всего, что здѣсь у насъ произошло за столомъ и какъ было заключено скоропостижное знакомство у насъ съ нашими собесѣдницами, предостереженіе Анны Петровны было сколько неожиданнымъ, столько-же и удивительнымъ открытіемъ. Даже мой пріятель, похвалившійся сейчасъ тѣмъ, что онъ «старый развратникъ», былъ почти пораженъ и озадаченъ. Такого курьезнаго субъекта среди клубскихъ общедоступныхъ дамъ онъ еще не встрѣчалъ.

— Неужели это правда?—спросилъ онъ дѣвицу, именовавшуюся Липочкой.

Во время происшедшаго на счетъ ея объясненія, она приняла степенный видъ и, скромно потупивъ глазки, свертывала пальчиками конецъ своего платочка.

— Что-же тутъ для васъ удивительнаго?—серьезно возразила она, съ дѣтской надменностью оттопыривъ нижнюю губку.

— Вы... вы со мной не поѣдете, если я васъ приглашу?

— За кого вы меня принимаете? Никогда!

— Я принимаю васъ за такую особу, за какую вы дали намъ право себя принимать... Вы, не будучи съ нами знакомы, пришли къ намъ по первому зову, приняли отъ насъ угощеніе, дули коньячище, какъ матросъ, заигрывали со мной, наконецъ, вѣдь, я-же васъ даже поцѣловалъ... За кого-жь васъ прикажете, послѣ этого, принимать? Неужели за олицетвореннаго ангела чистоты и невинности?

— Я не знала, что вы зовете меня съ дурными мыслями... Вижу—приличные мужчины: отчего-же, думаю, не сдѣлать имъ и себѣ удовольствія? А что вы меня угощали, такъ это въ клубахъ, обыкновенно, кавалерская обязанность... Ничего тутъ нѣтъ страннаго.

— Хитрите вы, барышня!—промолвилъ мой собесѣдникъ, подмигнувъ лукаво глазомъ.—Жениха вы ищите повыгоднѣе... Не такъ-ли?

— Что же? Я могу и замужъ выдти, если папенька и маменька захотятъ и позволятъ.

— Да не то! Полно комедію-то ломать! Мы, вѣдь, съ нимъ не женихи,—указалъ онъ на меня.—Знаю я тоже

и этотъ фортель, только вы напрасно трудитесь... Спектакль вамъ не окупится.

— Никакого тутъ нѣтъ спектакля и я даже не понимаю, о чемъ вы говорите?—возразила дѣвушка, съ непритворнымъ изумленіемъ.

— Вотъ съ нею ужь сколько такихъ спектаклей было... Мужчины не вѣрятъ, а, между тѣмъ, хоть побожиться, никакой хитрости и никакого притворства тутъ съ ея стороны нѣтъ ни капельки,—вступилась Анна Петровна.

— Тогда я тутъ ничего не понимаю,—развелъ руками мой другъ.—Тогда я долженъ сказать, что, хотя видѣлъ на своемъ вѣку всякіе, самые гнусные развраты, но такого непостижимаго и въ то же время омерзительнѣйшаго разврата, какимъ занимается эта барышня, я еще не встрѣчалъ...

— Если вы будете нехорошо выражаться—я уйду,—отозвалась Липочка.

— Слыхалъ я,—продолжалъ мой пріятель, не слушая ее и волнуясь,—что въ Парижѣ существуетъ торгъ дѣвственницами, остающимися невинными во время промысла, но не подозрѣвалъ, чтобы подобная гнусность завелась, наконецъ, и у насъ. Благодарю чувствительно, милая барышня, за назидательный урокъ!—протянулъ онъ руку дѣвицѣ, едва-ли понимавшей о чемъ шла рѣчь.

— Я вижу, вы сердитесь,—промолвила она, намѣреваясь уйти.

— Куда-жь вы, Липочка?—спросила Анна Петровна.

— Пойду къ маменькѣ... Она въ мушку играетъ. Думаю, скоро домой поѣдемъ... Поздно, вѣдь! и, не сказавъ больше ни слова, дѣвушка, не торопясь, вышла изъ зимняго сада.

Анна Петровна смотрѣла на насъ и не безъ лукавства посмѣивалась.

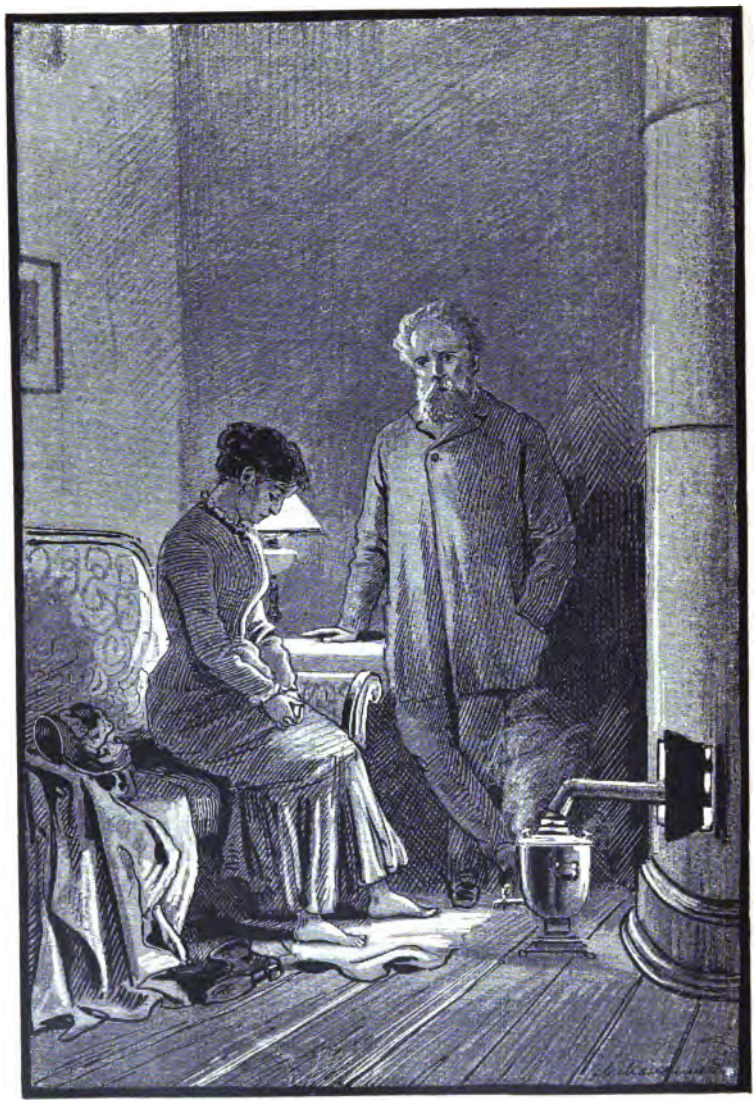
— Неужели,—спрашиваю я ее,—въ самомъ дѣлѣ, тутъ нѣтъ никакой комедіи?

— Да съ какой стати! Ну, не вѣрите мнѣ, спросите любаго здѣшняго старшину: онъ вамъ скажетъ, что Липочка—дочь благородныхъ родителей, дѣвушка честная и не гулящая... Отецъ ея, чиновникъ отставной, членомъ здѣсь, и вмѣстѣ съ женой и дочкой постоянно здѣсь бываютъ. Старики въ карты играютъ, а дочь, вотъ, такимъ родомъ, какъ съ вами, напр., пріятно время проводитъ...

— Нечего сказать, нравы тутъ у васъ!—сказалъ я, вставая.

Пріятель мой ничего не сказалъ. Мы разсчитались со слугой и вышли изъ «молодцовскаго; только уже у подъѣзда, разставаясь со мной, пріятель воскликнулъ:

— Какова зоологія-то, каковы экземплярчики! А ты еще спрашиваешь—что тутъ занимательнаго?



Мать-камелія (стр. 172).

IX.

Мать-камелія.

(Разсказъ стараго холостяка).

Помню, былъ поздній вечеръ — часовъ одиннадцать. Стояла зима и очень холодная; по крайней мѣрѣ, въ тотъ разъ было на дворѣ очень морозно... Помню, что, несмотря на теплое, зимнее пальто на мѣху, я озябъ, хотя шелъ довольно скоро, насколько позволяли мои старыя, подагрическія ноги. Я шелъ отъ своего адвоката, производившаго мое тяжебное съ казной дѣло въ сенатѣ, для котораго я, собственно, пріѣхалъ въ Петербургъ и жилъ тутъ уже нѣсколько лѣтъ, проживаясь до тла, въ чаяніи богатыхъ милостей отъ выигрыша иска.

Жилъ я тогда въ Пассажѣ, на верху, въ меблированныхъ конурахъ, тѣсныхъ и грязныхъ, гдѣ нечѣмъ было дышать; жилъ тамъ потому, что дешево и близко, сравнительно, къ мѣстамъ, куда мнѣ нужно было ходить по своему дѣлу. Путь мнѣ лежалъ по Невскому проспекту, по которому я очень часто ходилъ въ разное время дня и ночи, и, слѣдовательно, хорошо приглядѣлся къ его нравамъ и къ его подвижному, перемѣнчивому населенію.

Конечно, я отлично зналъ, что означаютъ собою такъ, повидимому, беззаботно и въ такомъ множествѣ прогуливающіяся, особенно въ позднюю пору, красивыя, нарядныя дамочки Невскаго проспекта. По первому взгляду, я научился угадывать ихъ и опредѣлять ихъ грѣшное занятіе; но, долженъ откровенно сказать, онѣ меня не соблазняли и не занимали... Не скажу, чтобъ по брезгливости (хотя и это было), а просто—мнѣ было не до того. Я былъ поглощенъ моимъ дѣломъ и угнетенъ сопряженными съ нимъ хлопотами, издержками и непріятностями. На какія-нибудь эпикурейскія шалости не было ни средствъ, ни охоты, да, наконецъ, лѣта мои ужь такія, что забываешь объ этихъ пустякахъ.

Пробираюсь я, такимъ родомъ, по солнечной сторонѣ Невскаго къ себѣ въ Пассажъ,—вдругъ, у Казанскаго моста, прямо на встрѣчу мнѣ, въ упоръ, дамочка... загораживаетъ дорогу и то, что называется, прилипаетъ...

Къ такой наглости отъ этихъ особъ на Невскомъ, особенно въ позднее время, я достаточно привыкъ... Безцеремонны и назойливы онѣ бываютъ очень! Въ подобныхъ случаяхъ, я, обыкновенно, отдѣлывался какой-нибудь шутливо-наставительной фразой и продолжалъ путь; но на этотъ разъ случилась неожиданная остановка.

Особа, загородившая мнѣ дорогу, схватила меня за руку и, съ видомъ полнѣйшаго отчаянья, хрипло, съ усиліемъ простонала:

— Возьмите меня... ради Бога! ради Христа!

Я не могу иначе назвать, какъ стономъ, интонацію, съ которой она это сказала. И видно было въ ея голосѣ и въ выраженіи сказанной фразы что-то настолько искреннее,

скорбное и жгучее, что даже меня, стараго холостяка, этотъ голосъ пронялъ до сердца...

Впрочемъ, я тотчасъ-же спохватился и, отведя руку странной просительницы, сказалъ ей довольно сухо:

— Поищите, сударыня, болѣе любезныхъ кавалеровъ. Я—старикъ и не охотникъ до уличныхъ встрѣчъ...

— Потому-то, что вы старикъ, я къ вамъ и подошла... Старики жалостливѣе молодыхъ...

— Ну, на этотъ разъ вы неудачно выбрали.

— Неудачно... неудачно... Цѣлый вечеръ, битыхъ четыре часа шляюсь здѣсь, и—хоть-бы одна душа сжалилась... Слушайте, вѣдь, я ей-Богу умираю!

Послѣднія слова вырвались у нея съ выраженіемъ такого наболѣвшаго отчаянія, что я, собравшись уже было идти, невольно остановился и пристально посмотрѣлъ на мою собесѣдницу, освѣщенную свѣтомъ фонаря.

Передо мной стояла худенькая, средняго роста, молодая женщина съ довольно красивымъ, но мертвенно-блѣднымъ, посинѣлымъ лицомъ. Темные глаза тусклыми точками неподвижно свѣтились, оттѣняемые заиндивѣвшими отъ мороза длинными рѣсницами, и—это придавало имъ почти страшное выраженіе застывшихъ глазъ мертвеца... Одѣта она была очень скудно и легко, по погодѣ. Жидкое, драповое пальтецо со стеклярусами, ради франтовства, обтягивало плотно ея тоненькую фигурку; на головѣ болталась какая-то, ни съ чѣмъ несообразная, лѣтняя шляпка. Я сразу понялъ, что она, должно быть, страшно озябла.

— Вамъ холодно?—спросилъ я.

Она молчала; я наклонился къ ней и замѣтилъ, что

она вся дрожитъ и что зубы въ ея страдальчески оскаленномъ рту стучатъ какъ въ лихорадкѣ.

— Поѣзжайте домой сейчасъ: я вамъ найму извощика! — сказалъ я, въ самомъ дѣлѣ почувствовавъ къ ней состраданіе.

— Я не могу ѣхать домой,—чуть слышно прошептала она.

— Почему-же?

— Мнѣ нуженъ заработокъ... У меня дѣти сидятъ голодныя...

— Дѣти?!—воскликнулъ я, совсѣмъ озадаченный, и невольно всплеснулъ руками.

— У васъ свои дѣти? переспросилъ я мою случайную собесѣдницу, не зная, что думать при этомъ странномъ извѣстіи.

— Да,—коротко отвѣтила она, ломая руки и поеживаясь.

Знаете, старики недовѣрчивы, а я, лично, въ особенности, потому что мало хорошаго видѣлъ въ жизни и въ людяхъ. Послѣ минуты удивленія и состраданія, во мнѣ заговорило подозрѣніе, что тутъ, просто, своеобразная реклама и что на эту рекламу хотятъ меня поддѣть... Я зналъ, что этотъ подлый промыселъ очень изобрѣтателенъ на подобные фортели и что въ числѣ его заманокъ весьма нерѣдко пускается въ ходъ поддѣльное материнство, и—это меня особенно возмущало.

— Ну, слушайте, пойдемте-же!—сказала она съ вымученной развязностью и съ нескрываемымъ нетерпѣніемъ отчаянья.

Ей, очевидно, показалось, что я заинтересовался ею, но колеблюсь, и вотъ она дѣлала послѣднее усиліе увлечь меня и побѣдить.

— Я вамъ уже сказалъ,—отвѣтилъ я,—что не на того напали. Я вамъ хотѣлъ только предложить ѣхать домой, потому что вы можете сильно простудиться.

— Господи! да вамъ-то что?.. Вотъ, то-же благодѣтель!— почти крикнула она мнѣ и поспѣшно, шатаясь и путаясь ногами въ своемъ жидкомъ, отрепанномъ шлейфѣ, направилась въ сторону.

Я почувствовалъ всю заслуженность укора, потому что, дѣйствительно, предложеніе мое было, такъ сказать, до глупости разсудительно и вовсе не шло къ дѣлу... Внутренно сконфуженный, я продолжалъ путь, невольно слѣдя глазами за ея удалявшейся фигуркой.

Она шла впереди меня, шла, очевидно, съ трудомъ, колеблясь въ полумракѣ опустѣвшей улицы, какъ тѣнь... Вдругъ, ее, точно, подкосило и она безсильно упала на обледенѣлый, скользкій тротуаръ, какъ снопъ. Я отчетливо слышалъ, какъ шмякнуло ея тѣло, слышалъ, какъ она болѣзненно простонала, и видѣлъ, что она, упавши, не поднимается и лежитъ безъ движенія...

Бѣдняжка, наконецъ, меня побѣдила! Ни о чемъ уже не думая, я бросился къ ней, наклонился и—первая мысль мелькнула во мнѣ, что она, дѣйствительно, умерла сейчасъ тутъ, какъ за минуту предсказывала. Она лежала распростертая, съ раскинутыми руками, и не шевелилась; отъ паденія жалкая шляпенка слетѣла съ ея головы и выбившіеся изъ подъ гребня черные волосы безпорядочными космами закрыли ей лицо. Я поднялъ ея голову; отъ этого движенія волосы, сами собой, сползли съ ея лица... Я взглянулъ на него, при мигавшемъ свѣтѣ газоваго фонаря, и внутренно ахнулъ—мертвая какъ есть! Глаза закрыты, ротъ

болѣзненно оскалился, на щекахъ ни кровинки... При всемъ этомъ, показалось оно мнѣ такимъ измученнымъ, страдальческимъ и, въ тоже время, какимъ-то трогательно-дѣтскимъ, что жалость невольно брала.

Что-же мнѣ, однако, думаю, дѣлать съ несчастной, а при этомъ и стариковское благоразуміе заговорило:—да при чемъ-же я тутъ и съ какой стати ввязываться мнѣ въ какое-то уличное приключеніе? Наконецъ, соображаю, что если она, точно, умерла, то тутъ ничего больше не остается, какъ позвать полицію.

Очень стѣсняло меня также то, что начали около насъ останавливаться прохожіе ротозѣи, какъ всегда, съ наглымъ и равнодушнымъ, а тутъ и съ насмѣшливымъ, вдобавокъ, любопытствомъ оглядывая и меня, и предметъ моего попеченія. Я громко крикнулъ городоваго, такъ какъ по близости его не было видно... Крикъ мой произвелъ на мою новую знакомку дѣйствіе электрической искры. Она мгновенно очнулась, съ нервической силой подняла свое туловище и, сидя на панели, торопливо, дрожащими руками, стала оправлять свои волосы... Видно было, что она это дѣлала совершенно инстинктивно.

— Зачѣмъ городовой?.. Какой городовой?.. Я ничего дурнаго не сдѣлала... Я не пойду въ участокъ... За что?.. У меня есть *билетъ* и я не какая-нибудь скандалистка... Я—честная женщина, я—мать!—растерянно лепетала она, какъ-бы оправдываясь и какъ бы предупреждая возможность перевѣдаться съ господиномъ городовымъ, очевидно, внушавшимъ ей, почему-то, паническій страхъ и, къ счастью, не явившимся на мой зовъ.

Этотъ-то страхъ придалъ ей силы не только очнуться

отъ обморока, но, повидимому, и совершенно оправиться. Она поднялась, надѣла шляпку, которую я ей подалъ, и буквально пустилась бѣжать, сопровождаемая дикимъ и безсмысленнымъ хохотомъ, въ перемежку съ циническими замѣчаніями праздныхъ свидѣтелей этой сцены.

Не могу объяснить, какія ощущенія волновали меня въ эту минуту, но только помню, что, когда все это произошло и она бросилась бѣжать, у меня созрѣло твердое намѣреніе помочь ей сейчасъ-же, чѣмъ можно, и ближе съ нею познакомиться... Было-ли это дѣйствительное состраданіе или, просто, любопытство—право, сказать теперь не умѣю.

Я ее нагналъ, не доходя пассажа. Она едва переводила духъ и готова была, казалось, снова свалиться съ ногъ.

— Слушайте, сударыня,—сказалъ я, поровнявшись съ нею,—такъ нельзя... Вамъ необходимо отдохнуть и отогрѣться. Я живу сейчасъ тутъ-же, въ двухъ шагахъ... Взойдемте ко мнѣ; вы напьетесь у меня чаю, согрѣетесь и... и получите вашъ заработокъ.

— Зачѣмъ вы звали городоваго? Развѣ я вамъ что-нибудь сдѣлала?—съ укоромъ выговаривала она.

Я ей объяснилъ суть дѣла, что никакихъ злыхъ намѣреній у меня не было, и она на этотъ счетъ успокоилась; но, въ отвѣтъ на мое гостепріимное предложеніе, рекомендовала отправиться лучше въ номерныя бани или въ гостинницу... Ей все сдавалось, что я заинтересовался ею, какъ обыкновенный уличный ловеласъ. Послѣ недолгаго колебанія, она согласилась зайти ко мнѣ, особенно, когда узнала, что я живу совершенно одинъ и даже безъ прислуги.

Приведя мою гостью въ свою конуру, я растопилъ печку и поставилъ самоварчикъ. Пока я хозяйничалъ, она смир-

ненько сидѣла въ уголкѣ дивана и оттирала свои окоченѣвшія отъ холода руки. При этомъ я замѣтилъ, что она ежеминутно переставляетъ ноги и, какъ-бы, не знаетъ, куда ихъ дѣвать... Ясно было, что онѣ у нея страшно озябли, если не отморожены.

Когда печка порядочно разогрѣлась, я предложилъ гостьѣ сѣсть у нея, снять башмаки и погрѣть ноги у огня. Предложеніе мое ее видимо застыдило—черта которая, покаюсь, очень меня въ ней плѣнила и, впослѣдствіи, глубоко меня трогала, потому что не взирая на свое паденіе и позорный промыселъ она—вѣрьте, не вѣрьте—оказалась на рѣдкость стыдливой, почти дѣвственной внутренно женщиной...

Тѣмъ не менѣе я усадилъ ее у печки и настоялъ на томъ, чтобы она сняла башмаки, подъ честнымъ словомъ, что не буду смотрѣть ни на ея ноги, ни на то, какъ она будетъ разуваться.

Честное слово, однако, сдержать оказалось невозможнымъ, такъ какъ мнѣ самому пришлось, съ большимъ трудомъ, стягивать съ ея ногъ ботинки. Они примерзли къ ея подошвамъ и—снять ихъ она сама не могла. Пришлось сперва поставить ея ноги, какъ есть въ сапогахъ, въ холодную воду, и уже, потомъ, когда они оттаяли, разуть, чуть не съ живой кожей. Возни и боли для нея отъ этой операціи было пропасть. Къ ужасу моему, оказалось, при этомъ, что ботинки у нея рваные, дырявые и одѣты прямо на босыя ноги безъ чулокъ.

Вообще, непригляднѣйшая нищета и оголтѣлость сквозили во всемъ ея жалкомъ, грошовомъ костюмчикѣ и въ его подробностяхъ. На ней, напримѣръ, не замѣчалось никакихъ признаковъ бѣлья; за то въ ушахъ и на груди

блестѣли ювелирные уборчики, предательски выдавая свою фальшивость тусклымъ блескомъ дешевой мѣди.

Эта отчаянная оголтѣлость въ ней весьма меня поразила, потому что она была положительно недурна собой и очень симпатична. Когда она, благодаря рюмкѣ хересу, горячему чаю и теплу отъ печки, согрѣлась, оживилась и пришла въ себя, ею можно было залюбоваться... Видно было только, что это милое, прекрасное существо сильно поломано дрянной жизнью, измождено и измучено лютой нуждой.

Меня она заинтересовала и сама она, видя мой заботливый уходъ за ней и мою стариковскую привѣтливость безъ галантерейныхъ ужимокъ, явно и очень скоро расположилась въ мою пользу...

Самой наивнѣйшей довѣрчивости въ этой «падшей женщинѣ» былъ неизсякаемый кладезь, какъ потомъ я узналъ!

Мы разговорились понемножку.

Я прежде всего навелъ рѣчь на то, послужившее къ нашей встрѣчѣ, обстоятельство, казавшееся мнѣ страннымъ, что, какъ, напримѣръ, она, съ ея молодостью и съ такой выгодной внѣшностью, можетъ нуждаться въ тароватыхъ поклонникахъ и безплодно бѣгать по холоду за «загаботкомъ» такимъ отчаяннымъ родомъ, какъ сегодня.

Вопросъ этотъ нисколько ее не смутилъ...

Впослѣдствіи, когда мы больше сблизились, меня постоянно изумляло въ ней странное соединеніе внутренней чистоты и стыдливости съ невозмутимой покорностью своей отвратительной участи «публичной женщины»... Привычка, должно быть, которая можетъ пріучить человѣка сносить безропотно самое гнуснѣйшее положеніе.

— Такая ужь мнѣ неудача,—начала она, съ дѣтскимъ

простодушіемъ, отвѣчая на мой вопросъ.—А главная причина та, что я глупая... Да, я совсѣмъ глупая, и потому, мужчины никакого интереса во мнѣ не находятъ... Они любятъ веселыхъ дѣвушекъ и, чтобы онѣ съ ними пили, а я не могу... Не умѣю ни веселиться ни пить... Что-же тутъ пріятнаго для мужчины? Потомъ, вы видите, какъ я одѣта? Нищая! А одежда въ нашемъ занятіи очень много значитъ... Которая женщина хорошо и щегольски одѣта—съ нею и обращеніе другое, и заработокъ у нея другой, и она—на расхватъ, хотя-бы и не очень изъ себя красива была... Знаете: «по одежкѣ вездѣ встрѣчаютъ». А, вотъ, я плохо одѣта—на меня и вниманія никто не обращаетъ... Иной мужчина остановится, взглянетъ, что нищенка и замарашка,—отвернется и отойдетъ, а ежели который и пригласитъ, такъ наиздѣвается, насмѣется иной разъ до того, что расплачешься... Очень есть дурные, злые люди между мужчинами, по крайней мѣрѣ, въ обращеніи съ нашей сестрой... Иной ни за что обидитъ, оплюетъ тебя, да еще и обманетъ: заработка не отдастъ и прогонитъ прочь съ пустыми руками... Сколько такихъ примѣровъ! Конечно, бывалая, смѣлая женщина, съ умомъ и характеромъ, не очень то дастъ себя въ обиду... Ежели что, такъ и шкандалъ затѣетъ! Многимъ дѣвушкамъ это ни по чемъ... А я, вотъ, не умѣю этого и не могу, потому что и глупая, и тряпка, и костюма на себѣ не имѣю такого, чтобы тонъ поддержать... Меня всякій можетъ обидѣть и совсѣмъ я для этого занятія характера и способностей не имѣю.

— Зачѣмъ-же вы его взяли на себя? внимательно выслушавъ ея наивное объясненіе, спросилъ я.

— Зачѣмъ?—переспросила она, потупившись, и, съ

минутку подумавши, съ ребяческой рѣшительностью отрѣзала:—нужно такъ было!

Очевидно, въ откровенности пускаться со мною она пока не хотѣла.

— Вы сказали, что у васъ дѣти есть?—продолжалъ я выспрашивать.

— Ахъ, Боже мой! Я объ нихъ-то и забыла... Хороша!—воскликнула она вдругъ вся озабоченная и стала торопливо собираться; но потомъ остановилась и, не глядя на меня, застѣнчиво спросила:

— Вы, вѣдь, меня долго не задержите?.. Пожалуйста, не держите меня, потому что, ей-Богу, дѣти у меня сидятъ съ утра не ѣвши и въ нетопленной комнатѣ...

— Я васъ вовсе не думаю задерживать,—возразилъ я:—но и отпустить васъ сейчасъ не могу, потому что вы, вѣдь, не совсѣмъ еще оправились... Посидите немного, отогрѣйтесь и потомъ ступайте съ Богомъ... Если хотите, я васъ даже самъ провожу до дому.

— Ахъ, ко мнѣ нельзя... избави Богъ!—живо воскликнула она.

— Дѣтей стыдитесь?

— Конечно... Какже можно?.. Они ничего не знаютъ и не должны знать...

— Но скажите—много ли ихъ у васъ и откуда вы ихъ нажили?

— Двое: мальчикъ и дѣвочка... А нажила я ихъ... Вѣдь, я за мужемъ!

— Замужемъ?.. въ законномъ бракѣ?

— Да...

— И мужъ вашъ живъ?

— Живъ... здѣсь-же въ Петербургѣ и живетъ.

— Вмѣстѣ съ вами?

— Нѣтъ... Я одна; онъ меня бросилъ...

Это было для меня новое открытіе и въ такой степени интригующее, что я мысленно рѣшилъ непремѣнно покороче познакомиться съ моей любопытной гостьей.

— Слушайте, сударыня... Кстати, какъ ваше имя и отчество?—спросилъ я.

— Евгенія Семеновна.

— Такъ, слушайте, Евгенія Семеновна!—Вы видите, что я—не уличный ловеласъ и не имѣю никакого намѣренія вступать съ вами въ извѣстную связь... Вы мнѣ просто понравились, какъ человѣкъ, и—кто васъ знаетъ, чѣмъ?—расположили меня въ свою пользу... Будемте-же просто хорошими знакомыми!—протянулъ я ей руку.

Она вложила въ мою руку свои тонкіе, нѣжные пальцы, но, очевидно, ее удивилъ мой вызовъ и она—не то недовѣряла мнѣ, не то ее безпокоила мысль, что я ее оставлю безъ «заработка», какъ она выражалась.

Я понялъ ее опасенія.

— Не безпокойтесь,—говорю:—сегодняшній заработокъ будетъ у васъ въ карманѣ.

Я познакомился съ Евгеніей Семеновной и ея «семействомъ» близко въ довольно короткое время.

Жила она совсѣмъ въ глуши—въ одной изъ дальнихъ и безчисленныхъ улицъ Песковъ, теперь ужъ не помню, въ которой, именно, по счету.

Тамъ, во флигелькѣ стараго деревяннаго дома, населеннаго сплошь бѣдняками и голышами, помѣщалась она въ крошечной квартиркѣ изъ двухъ комнатокъ съ кухонькой.

Платила она за это жилье рублей десять въ мѣсяцъ и все жаловалась на его дороговизну. Снять-же комнату отъ жильцовъ, что было-бы гораздо дешевле и во многомъ удобнѣе, она не хотѣла, всячески стараясь избѣгать чужаго людскаго глаза, изъ стыда за свою горькую судьбу, за свою нищенскую обстановку, за то, что дѣтишки у нея часто голодаютъ и терпятъ разныя лишенія, пуще-же всего—избави Богъ—не провѣдалъ-бы кто-нибудь изъ сосѣдей о ея позорномъ занятіи.

Она какъ-то изловчалась скрывать свой стыдъ и цѣль своихъ ночныхъ похожденій отъ другихъ домовыхъ жильцовъ, которые, повидимому, ничего не подозрѣвали, а, можетъ быть, иные и не хотѣли подозрѣвать... У бѣдняковъ тоже есть своя деликатность.

Выходила она за «заработкомъ» исключительно по ночамъ. Цѣлый день возится, хлопочетъ около дѣтей, хозяйничаетъ въ своей квартиркѣ, стряпаетъ, чиститъ... О прислугѣ, конечно, тутъ не было и помину... Затѣмъ, позднимъ вечеромъ, накормитъ и уложитъ ребятъ въ постельку, дождется, пока они заснутъ, благословитъ ихъ, запретъ ихъ однихъ на волю Божью, а сама не слышно выскользнетъ на улицу и—бѣжитъ на Невскій проспектъ... Такъ изо дня въ день.

Чтобы предупредить толки и сплетни на счетъ своихъ странствованій, она распустила весьма правдоподобную сказку, что служитъ ночною сидѣлкой въ какой-то частной лечебницѣ.

Это стараніе прослыть у себя дома за честную женщину доходило у нея до страсти. Ради этого, пришлось и мое знакомство обставить маленькой комедіей, довольно, впрочемъ, избитой и наивной.

По плану Евгеніи Семеновны, я явился въ домъ, гдѣ она жила, какъ-бы пріѣзжимъ изъ-за города, и, назвавшись дворнику ея землякомъ и родственникомъ, просилъ указать ея жилище.

Первый приходъ мой, послѣ нашей ночной встрѣчи и объясненія въ моемъ аппартаментѣ, видимо сконфузилъ и стѣснилъ мою новую знакомую.

Потомъ я узналъ, что она выросла въ достаткѣ и въ правилахъ мѣщанской порядочности, отъ которыхъ не могла отвыкнуть, и—теперь мучилась каждый разъ, когда ей приходилось, внѣ уличныхъ встрѣчъ, у себя дома принимать кого-нибудь полюдски и, при этомъ, выказывать свою мизерность, опущенность и нищету.

А дѣйствительно, жила она съ дѣтьми въ отчаянной бѣдности. Кромѣ единственной желѣзной кровати, со скудной, ветхой постелью, на которой, очевидно, спало все семейство, простаго некрашеннаго стола и нѣсколькихъ такихъ-же табуретовъ, никакой, помнится, мебели въ квартиркѣ не было. Весь гардеробъ висѣлъ на двухъ-трехъ гвоздикахъ на стѣнкѣ, да въ углу за кроватью виднѣлся небольшой крашенный сундукъ, едва-ли тоже изобиловавшій движимымъ имуществомъ. Вся роскошь заключалась въ дешевомъ зеркалѣ, висѣвшемъ на стѣнѣ, въ нѣсколькихъ фотографическихъ карточкахъ въ картонныхъ рамкахъ, симметрически развѣшенныхъ вокругъ зеркала, да въ кое-какихъ туалетныхъ и косметическихъ бездѣлушкахъ, нагроможденныхъ на зеркальномъ подстольникѣ.

Я сдѣлалъ мой визитъ въ полдень и засталъ семейство за скромной трапезой, состоявшей изъ ситнаго хлѣба, чухонскаго масла, лавочной колбасы, вареннаго картофеля и

чая. Это, оказалось, былъ ихъ обѣдъ, который я ужь отъ себя скрасилъ захваченнымъ изъ кондитерской для дѣтей пакетомъ съ сладкими кренделями и пирожнымъ. Этотъ маленькій презентъ очень обрадовалъ ребятъ и сразу расположилъ ихъ въ мою пользу.

Оба оказались прехорошенькіе, въ мать: сынокъ лѣтъ шести и дочурка лѣтъ четырехъ... Худенькіе только и блѣдненькіе очень, да и одѣты плохо.

Весьма интересны и замѣчательны были у нихъ отношенія съ матерью. Казалось, не она среди нихъ старшая, а—они. Особенно, мальчикъ,—тотъ выглядѣлъ настоящимъ хозяиномъ дома и командовалъ матерью, какъ нянькой. Сразу-же было видно, что она души въ нихъ не слышитъ, живетъ только ими, причемъ въ каждомъ ея движеніи, въ каждой заботѣ проглядывало какое-то пугливое сознаніе тайной вины передъ ними... По крайней мѣрѣ, мнѣ такъ показалось.

Для начала разговора я спросилъ ее о здоровьѣ. Невинный вопросъ этотъ ее испугалъ и встревожилъ. Она вообразила, что я возобновлю разговоръ о нашей встрѣчѣ при дѣтяхъ и, съ наивной дипломатичностью, постаралась замять его. Я началъ распрашивать о дѣтяхъ, и она съ увлеченіемъ пустилась описывать ихъ способности и добродѣтели, ихъ ребяческія приключенія и невзгоды. Здѣсь она была въ своей сферѣ и была даже краснорѣчива. Сами дѣти слушали ее внимательно, но еще съ большимъ вниманіемъ осматривали меня и каждую вещь на мнѣ, такъ какъ, очевидно, въ гости къ нимъ очень рѣдко кто-нибудь ходилъ. Впрочемъ, самое пристальное вниманіе отдано ими было принесеннымъ мною сластямъ, которыми они, какъ видно, не были избалованы.

Я просидѣлъ съ часъ и собрался уходить, но не потому, чтобы соскучился. Новая знакомая моя положительно мнѣ нравилась и возбуждала во мнѣ искреннее сочувствіе.

— Скажите, Евгенія Семёновна, чистосердечно, — сказалъ я, когда дѣти ушли играть въ другую комнату и мы остались одни: — чѣмъ могъ-бы я вамъ быть полезенъ? Положимъ, я самъ человѣкъ не сильный и не богатый; но, быть можетъ, кое-что въ состояніи былъ бы сдѣлать...

— Мнѣ ничего не нужно! — поспѣшно отвѣтила она, краснѣя.

— Ну, какже такъ — ничего? — возразилъ я, показывая глазами на окружавшую насъ бѣдноту.

— Право-же, ничего... Дѣти, вотъ, подростутъ; ну, тогда учиться имъ нужно будетъ.

Я помолчалъ, собираясь съ духомъ предложить ей одинъ, какъ казалось мнѣ, щекотливый вопросъ.

— Не желали бы вы себѣ какого-нибудь... честнаго занятія? — спросилъ я наконецъ.

— Какого же занятія? Вѣдь я, ничего не умѣю! — простодушно отвѣтила она. — А если-бы въ услуженіе идти, такъ съ дѣтьми меня нигдѣ не примутъ.

— Шить умѣете? — спросилъ я, сознавая, впрочемъ, всю нелѣпость предложенія занятія шитьемъ — этимъ вполнѣ каторжнымъ женскимъ трудомъ, съ котораго едва можно выработать на хлѣбъ.

— Шью, но плохо... для себя только; да и съ шитья развѣ можно прожить съ дѣтьми?

— Ну, я не знаю... Скажу вамъ только, что мнѣ васъ отъ души жаль и отъ души хотѣлось-бы чѣмъ-нибудь вамъ помочь, совершенно при томъ безкорыстно... вѣрьте старику!

— Весьма вамъ благодарна! — смущенно промолвила она.—Я вижу, вы, должно быть, добрый человѣкъ; только... только мнѣ ужь невозможно помочь...

— Да почему-же, Боже мой?

— Ахъ, вы не знаете!—съ болью воскликнула она и, отвернувъ голову, прослезилась, торопливо смахивая платкомъ слезы со щекъ.

Водворилось на мгновеніе молчаніе. Я видѣлъ, что у нея есть что то тяжолое на душѣ, но вымогать признаніе я не сталъ, сознавая, что не имѣю еще права на откровенность съ ея стороны. Я всталъ, чтобы уйти и не стѣснять ее болѣе.

— Во всякомъ случаѣ, говорю, милая Евгенія Семеновна, помните, что, если-бы вамъ была въ чемъ нужда, обращайтесь прямо ко мнѣ, какъ къ другу. Надѣюсь, кромѣ того, вы позволите мнѣ навѣщать васъ и вашихъ дѣтокъ.

— Я буду очень рада, если только вамъ есть удовольствіе.

— Есть! Видите—я здѣсь совсѣмъ одинокій и сирый человѣкъ, поэтому знакомство съ вами можетъ сдѣлаться для меня дорогой находкой... Полюбились вы мнѣ—вотъ что!

Она застѣнчиво улыбнулась, видимо польщенная моимъ привѣтомъ, и довѣрчиво протянула мнѣ руку. Мы разстались; но, когда я уже вышелъ на лѣстницу, она выбѣжала за мной и поспѣшно предупредила:

— Пожалуйста, не ходите только ко мнѣ по субботамъ!.. Пожалуйста!—повторила она, встрѣтивъ мой недоумѣвающій взглядъ.

— Извольте: не стану ходить!—успокоилъ я ее, не пускаясь въ разспросы, почему, да отчего.

Съ этого дня началось у меня это оригинальное знакомство, что день, то ближе и задушевнѣе. Отношенія мои къ этой несчастной женщинѣ были, именно, задушевныя— чистыя и искреннія, какихъ она вполнѣ заслуживала.

Не скажу, чтобы въ чувствахъ моихъ ничего ужь не было романическаго... Было, несомнѣнно, и я—вскорѣ это понялъ. Меня начала неотступно преслѣдовать мысль такого рода: придти въ одно прекрасное утро, взять ее съ дѣтишками и увезти изъ треклятаго Петербурга далеко, на новую хорошую жизнь, по семейному... То есть, это даже не мысль была, а мечта, осуществленіе которой я сталъ соединять съ ожиданіемъ выигрыша моего процесса. Какъ старый, инительный холостякъ, я-бы сробѣлъ передъ осуществленіемъ этой мечты, когда коснулось бы дѣла, а, можетъ быть, и не сробѣлъ-бы... не знаю! За то тѣшился я ею съ наслажденіемъ.

Я сталъ у Евгеніи Семеновны очень частымъ гостемъ и съ отрадой замѣчалъ, что и она и дѣти все больше ко мнѣ привязываются.

Придешь, бывало, съ газетами, захватишь по пути какихъ-нибудь гостинцевъ и засядешь у нихъ на нѣсколько часовъ. Читаю ей, не то поболтаемъ о томъ, о семъ, не то, просто, сидимъ молча: она ковыряетъ иголкой, а я курю сигарку и гляжу на нее... Даже до забвенія сладко бывало, ей-Богу!

Удивительнѣе всего и, если хотите, всего постыднѣе для меня было въ этомъ случаѣ то обстоятельство, что, вѣдь, благодушествовалъ я эдакимъ, вотъ, платоническимъ манеромъ въ то самое время, когда она продолжала свой промыселъ, какъ ни въ чемъ не бывало... Разумѣется, это

меня мучило и терзало, но подѣлать я ничего не могъ: у меня не было средствъ помочь ей и избавить ее отъ этого позора.

Сама себѣ помочь она еще менѣе могла и, при этомъ, какимъ-то непостижимымъ образомъ, какъ я замѣтилъ раньше, умѣла раздвоиться: внутренно и у себя дома, съ дѣтьми и со мной,—чиста и цѣломудренна, какъ отроковица, а, между тѣмъ, смотришь, бывало, въ эти ясные, невозмутимо-невинные глаза, смотришь на эту почти дѣвическую головку, да какъ вспомнишь, что каждый день ихъ касаются и ласкаютъ грубыя нечистыя руки, какъ продажную прелесть «публичной женщины»,—въ дрожь, просто, ударитъ!

Неожиданно оказалось вскорѣ, что продаетъ она себя не для своего только пропитанія и дѣтей своихъ.

Къ ужасу, объявился одинъ омерзительный гадъ, который пользовался разбойническимъ образомъ ея «заработкомъ».

Разъ по обыкновенію, вхожу я въ знакомый флигелекъ и—дверь мнѣ отпираетъ не сама хозяйка, а какая-то, произведшая на меня отталкивающее впечатлѣніе, помятая, неряшливая личность: оплывшее, нестарое еще, пьяное лицо съ эспаньолкой, грязная манишка, стоптанные сапоги, засаленное платье, но признаки претензій на «благородство» и бонтонность. Личность, при встрѣчѣ со мной въ дверяхъ, воззрилась на меня какимъ-то собачьимъ взглядомъ.

— Вамъ Евгенію Семеновну, конечно?—съ скверной улыбочкой подсказала она.

Я не отрицалъ; притомъ, дѣти, завидѣвъ меня, бросились ко мнѣ, по обыкновенію, съ радостнымъ крикомъ.

— Она сейчасъ возвратится... Милости прошу... Взойдите! — пригласила меня личность и, когда я вошелъ,

отрекомендовалась:—Можетъ быть, вы меня не знаете... Я—законный супругъ Евгеніи Семеновны... отставной поручикъ Черкесниковъ... Имѣю честь представиться! А въ васъ кого имѣю честь видѣть?—спросила личность, протягивая мнѣ руку.

Я подалъ ему свою и назвался, хотя не только не чувствовалъ никакой охоты знакомиться, но сразу господинъ Черкесниковъ возбудилъ во мнѣ ненависть и отвращеніе. Я колебался—остаться-ли мнѣ, или уйти?

Какъ-бы угадавъ это, поручикъ залебезилъ еще больше.

— Будьте такъ добры—не стѣсняйтесь... Бога ради!—заговорилъ онъ тономъ радушнѣйшаго хозяина.—Евгенія Семеновна сію минуту возвратится и... я вамъ нисколько не помѣшаю; я даже уйду, если прикажете... Здѣсь я только гость... Я—человѣкъ безъ всякихъ предразсудковъ, могу васъ увѣрить. Какъ вы знаете, конечно, я предоставилъ полную свободу моей женѣ, и—наши отношенія только дружескія, самыя дружескія... Что дѣлать? Я—очень плохой мужъ... откровенно вамъ сознаюсь... и нисколько не въ претензіи, что очистившаяся вакансія замѣщается кавалерами болѣе меня достойными... Хе-хе-хе!..

Эта наглая, циническая болтовня меня взорвала.

— Вы, милостивый государь, ошибаетесь, думая, что я занимаю здѣсь чью нибудь вакансію,—сказалъ я, сдерживая раздраженіе.

— Въ самомъ дѣлѣ?—непритворно удивился господинъ Черкесниковъ.—Вотъ-те разъ! А я, знаете, думалъ... и притомъ, это было-бы такъ естественно... Впрочемъ, допытываться я не имѣю никакого права, и, по совѣсти, для меня безразлично: правду-ли вы сказали, или это у васъ только

благородный слогъ... о, я понимаю и самъ люблю этотъ слогъ!.. Позвольте вамъ помочь снять пальто!—добавилъ онъ, замѣтивъ, что я хочу остаться, и сталъ помогать мнѣ раздѣться.

Я, дѣйствительно, рѣшилъ остаться. Не смотря на чувство гадливости и недовѣрія къ откровенному поручику, меня что-то внутренно подстрекало остаться и посмотрѣть, каковъ онъ съ Евгеніей Семеновной и какова она съ нимъ—какія такія у нихъ отношенія?

Меня это живѣйшимъ образомъ заинтересовало и тѣмъ болѣе, что этотъ пунктъ въ жизни моей пріятельницы, то есть, что она замужемъ, что мужъ ея здѣсь и завѣдомо допустилъ ее до такого ужаснаго паденія,—темный пунктъ этотъ, говорю, давно составлялъ для меня чрезвычайно интригующую и мучительную загадку, которую я давно желалъ и въ то-же время боялся разрѣшить... А, вдругъ, думалось по моей всегдашней мнительности, откроется тутъ какая нибудь грязнѣйшая каверза, которая разрушитъ всю мою иллюзію! Я слышалъ, что въ практикѣ столичнаго распутства подобныя положенія нарочно иногда подстроиваются для подлѣйшей ловушки и спекуляціи: жена заманиваетъ, а мужъ является въ патетическую минуту и разъигрываетъ роль оскорбленнаго въ своихъ священныхъ правахъ ревнивца, рветъ и мечетъ, имѣя въ предметѣ запугать и обобрать жертву.

Въ этомъ-же смыслѣ шевелилось у меня подозрѣніе и вначалѣ моего знакомства съ Евгеніей Семеновной, когда я узналъ, что у нея есть мужъ, и особенно сильно поднялось оно во мнѣ теперь при личной встрѣчѣ съ этимъ господиномъ; но долженъ сказать, что тутъ уже моя подозритель-

ность и тѣнью не касалась самой Евгеньи Семеновны... О, теперь, узнавши ее, я свято вѣрилъ въ ея честность и искренность по отношенію ко мнѣ, да, вѣдь, она меня вовсе и не *заманивала*, какъ-бы это слѣдовало по программѣ! Я ясно увидѣлъ также, при моей встрѣчѣ съ ея мужемъ— каковъ онъ изъ себя и въ какія пустился со мною объясненія,—что въ разстройствѣ ихъ, какъ говорится, семейнаго очага, въ заброшенности этихъ бѣдныхъ малютокъ и даже въ позорѣ ихъ матери виновата не она и во всякомъ случаѣ несравненно менѣе виновата, чѣмъ онъ. Онъ сразу-же показался мнѣ распутнымъ, потерявшимъ всякій стыдъ негодяемъ, и—я въ этомъ не ошибся.

Когда я расположился въ комнатѣ на стулѣ, дѣти стали ко мнѣ ласкаться и шарить у меня въ карманахъ, въ надеждѣ найти въ нихъ пакетикъ съ сластями, къ чему я ихъ пріучилъ.

Господинъ Черкесниковъ, покуривая папироску, похаживалъ по комнатѣ и, съ своей неизмѣнной подленькой усмѣшечкой, поглядывалъ на меня и на ребятъ.

— Вѣрьте, не вѣрьте,—заговорилъ онъ,—но я тронутъ... какъ честный человѣкъ! Я имъ отецъ, но какой отецъ?—Они меня знать не хотятъ и—по дѣломъ... Все-же, милостивый государь, у меня есть сердце, способное къ благодарности,—растроганнымъ голосомъ продолжалъ онъ,— и я не могу не чувствовать ее, видя вашу ласку къ моимъ дѣтямъ... Благодарю васъ! благодарю!—чуть не со слезами схватилъ онъ и потрясъ мою руку.

Мнѣ онъ становился съ минуты на минуту противнѣе.

Какъ разъ на эту сцену вошла Евгенія Семеновна и, оглянувъ насъ испуганно-удивленными глазами, задержалась на порогѣ, сконфуженная и смущенная.

— Ну, вотъ, вамъ и Евгенія Семеновна въ натурѣ: примите и ядите!—воскликнулъ поручикъ въ тонѣ своего двусмысленнаго балагурства. — Надѣюсь, Женичка, — обратился онъ къ женѣ съ преувеличенной нѣжностью,—ты скажешь мнѣ «мерси» за то, что я ихъ (онъ указалъ на меня) задержалъ до твоего возвращенія... Вижу—дорогой гость, я и челомъ; а они не хотѣли было ждать...

Евгенія Семеновна, не отвѣчая и не взглянувъ на насъ, сняла съ себя верхнее платье и молча поздоровалась со мною. Пожимая ея руку, я почувствовалъ, что она у нея дрожитъ. Я видѣлъ, что ей было не ловко, да и мое положеніе, съ ея появленіемъ, стало еще сквернѣе. Кромѣ непріятности найтись между мужемъ и женою, связанными чортъ знаетъ какими ненатуральными отношеніями, во мнѣ все болѣе складывалась увѣренность, что господинъ Черкесниковъ замышляетъ на мой счетъ какую нибудь шельмецкую продѣлку.

Я и Евгенія Семеновна молчали, какъ въ воду опущенные. Даже дѣтишки присмирѣли и своими умными, пытливыми глазками внимательно заглядывали намъ въ лица. Одинъ только поручикъ чувствовалъ себя какъ нельзя лучше. Онъ имѣлъ беззаботный, почти торжественный видъ и, расхаживая по комнатѣ, болталъ, не умолкая.

Я старался уловить, какое впечатлѣніе производитъ онъ на Евгенію Семеновну. Я замѣтилъ, что она явно боится встрѣтиться съ нимъ глазами и, поднимая ихъ на него въ тѣ минуты, когда онъ на нее не смотрѣлъ, съ какимъ-то тревожнымъ вопросомъ вглядывается въ него. Ни вражды, ни отвращенія въ ея кроткихъ глазахъ, устремленныхъ на мужа, не замѣчалось—одинъ испугъ и какая-то рабская

покорность. Повидимому, и она ждала чего-то недобраго отъ него и боялась этого.

Поручикъ, между тѣмъ, не переставалъ болтать и— я сталъ замѣчать, что у него тутъ планъ, что онъ болтаетъ не спроста, а съ тенденціей. Онъ напропалую хвасталъ о себѣ, о своихъ привычкахъ и похожденіяхъ, о своемъ обществѣ, и то, что называется, задавалъ тонъ. Вдругъ, онъ какъ-бы внезапно спохватился и ударилъ себя по лбу.

— Пардонъ! Можетъ быть, я вамъ мѣшаю моимъ присутствіемъ?—сказалъ онъ, съ извиняющейся миной смотря на насъ.

— Да нисколько, и съ какой стати это пришло вамъ въ голову, Жоржъ Иванычъ?—поспѣшно и краснѣя возразила Евгенія Семеновна, очевидно желая разсѣять въ мужѣ заранѣе сложившееся грязное предъубѣжденіе на счетъ ея отношеній со мною.

Съ своей стороны, я не зналъ что́ сказать, да и въ эту минуту меня, вопервыхъ, очень развлекло—какъ она съ нимъ говоритъ, какимъ тономъ, а, во вторыхъ, престранно озадачило то, что она такъ вычурно его называетъ—*Жоржемъ* Ивановичемъ... Почему *Жоржъ*, да еще Ивановичъ?—Одна изъ фанаберій претендующаго на бонтонность поручика—отмѣтилъ я про себя еще и эту черточку его антипатичной личности и его вліянія на жену, которую онъ, очевидно, заставилъ величать себя такъ.

— Евгенія Семеновна!—возразилъ, съ напущенной важностью Жоржъ Ивановичъ.—Вы меня знаете:—я человѣкъ деликатный. Въ моихъ правилахъ—никому ни навязываться, ни для кого не быть помѣхой...

— Да для кого-же вы помѣха?

— Нѣтъ, нѣтъ, мой другъ! Я очень хорошо понимаю и чувствую, что я лишній, и—потому — удаляюсь изъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстъ!—продекламировалъ онъ и торопливо схватилъ свой помятый картузъ, съ засаленнымъ краснымъ околышемъ и неизбѣжной кокардой.

Она смотрѣла на него съ тоскливымъ недоумѣніемъ. Я началъ догадываться къ чему клонится эта игра замысловатаго поручика и рѣшилъ попытаться ее разстроить.

— Позвольте, господинъ Черкесниковъ! — сказалъ я, поднявшись и стараясь сохранить спокойствіе.—Если ужь зашла рѣчь, что тутъ въ эту минуту среди насъ есть лишній, то, всеконечно, лишнимъ могу быть только я... Извините, я не сразу понялъ вашъ намекъ, который вы съ такой остроумной, хотя съ нѣсколько преувеличенной околичностью высказали. Весьма сожалѣю, что сталъ невольной причиной всего этого непріятнаго недоразумѣнія...

— Не то! не то!—заволновался Жоржъ Ивановичъ и фамильярно схватилъ меня за руки въ намѣреніи удержать, чтобы я не уходилъ.—Къ чорту политику! Ну, и до вашихъ отношеній съ нею (онъ указалъ глазами на жену) мнѣ нѣтъ никакого дѣла... честное слово! Вѣрите-ли вы мнѣ, что я—благородный человѣкъ?

— Не имѣю основаній не вѣрить.

— Руку, товарищъ! — съ ухарскимъ панибратствомъ протянулъ онъ мнѣ руку и, когда я далъ ему свою, съ силой потрясъ ее.—Что вы—человѣкъ благородный, въ этомъ я ни секунды не сомнѣвался. Слѣдовательно, мы можемъ говорить съ вами прямо, по чести. У васъ здѣсь, въ этихъ стѣнахъ, есть свой интересъ, у меня—ни малѣйшаго... Выводъ: вы остаетесь, я—удаляюсь... Просто, ко-

ротко и ясно! Такъ должны объясняться между собой благородные люди... Не правда-ли?

И съ этими словами онъ какъ-то особенно подмигнулъ мнѣ лукавымъ глазомъ, нахлобучилъ на голову свой картузъ, повернулся и поспѣшно пошелъ къ дверямъ; на порогѣ онъ пріостановился и, оглянувшись черезъ плечо, повелительно промолвилъ:

— Евгенія Семеновна, прошу на пару словъ!

Она послушно и торопливо, склонивъ голову, точно виноватая, пошла за нимъ въ переднюю. Я стоялъ среди комнаты, чувствуя себя въ глупомъ положеніи, и не зналъ что́ начать, да въ эту минуту, каюсь, я всѣмъ вниманіемъ приникъ къ происходившему въ передней между супругами разговору, стараясь его подслушать; но поручикъ озаботился притворить дверь поплотнѣе и я только и могъ разобрать, что онъ что-то такое, и очень рѣшительнымъ тономъ, внушаетъ, не то—приказываетъ.

Спустя минуту, хлопнула дверь на лѣстницу и Евгенія Семеновна возвратилась въ комнату одна: господинъ Черкесниковъ исчезъ.

— Ахъ, Павелъ Петровичъ! зачѣмъ вы сегодня пришли? зачѣмъ вы съ нимъ встрѣтились?—съ жалобнымъ укоромъ обратилась она ко мнѣ и, взглянувъ на ея огорченное, убитое лицо, я съ тревогой понялъ, въ чемъ секретъ ея отношеній съ мужемъ и, въ частности, какой оборотъ далъ онъ моему знакомству съ нею.

— Что же такое, объясните Бога ради!—спросилъ я.

Она присѣла возлѣ меня и заплакала; потомъ, не переставая плакать, увела дѣтей въ другую комнату, заперла ихъ тамъ и, возвратясь ко мнѣ, сказала:

— Теперь я должна вамъ разсказать, Павелъ Петровичъ, всю правду обо всей моей жизни... Вы—добрый, вы мой другъ, и мнѣ легче будетъ на душѣ, когда вы узнаете, какая я несчастная!

Я молча пожалъ ей руку и собрался слушать. Она осушила глаза и начала свой разсказъ... Не буду передавать его въ подробности, но вотъ его сущность.

Евгенія Семеновна родилась и воспиталась въ чиновничьей семьѣ въ маленькомъ провинціальномъ городкѣ. Семья была не богатая, но достаточная. Воспитаніе получила моя разскащица домашнее и, конечно, плохое, какъ большинство провинціальныхъ барышень въ былое время. За то у тогдашнихъ провинціальныхъ барышень много было патріархальной хорошей простоты, свѣжести и дѣтской невинности. Такова была и Евгенія Семеновна, да такою, впрочемъ, она осталась въ душѣ и навсегда. Когда ей было шестнадцать лѣтъ, въ ихъ городокъ пришелъ какой-то армейскій полкъ на долгія квартиры. Натурально, глухой городокъ оживился и, по обыкновенію, офицеры начали заглядываться на барышень, а барышни на офицеровъ... Завелись знакомства, завязались романы. Такимъ то родомъ вышелъ нехитрый романъ и у моей героини съ поручикомъ Черкесниковымъ, который считался первымъ форсуномъ и красавцемъ въ полку, притомъ, петербургскаго воспитанія. Не любили только его товарищи и молва о немъ ходила нехорошая... Говорили, что онъ и изъ Петербурга, изъ гвардіи вышелъ не своей охотой, за какія-то некрасивыя продѣлки и, между прочимъ, за пьянство. Ну, да молоденькая, простодушная и влюблен-

ная дѣвушка станетъ-ли входить во все это, да разбирать хорошо или дурно прошлое у ея героя? Черкесниковъ съумѣлъ обольстить и родителей Евгеніи Семеновны. Выдалъ себя за богатаго человѣка, хвасталъ своей петербургской знатной роднею. Что-то такое у него дѣйствительно имѣлось въ этомъ родѣ, только въ захудаломъ, растерянномъ состояніи. Мать у него тутъ жила, капиталецъ имѣла и время отъ времени помогала сыну. Словомъ, сошелъ онъ за выгоднаго, блестящаго для провинціи жениха и—Евгенію Семеновну отдали за него съ охотой. Только сейчасъ-же послѣ свадьбы оказалось, что и онъ имѣлъ свои разсчеты: Евгенія Семеновна показалась ему невѣстой съ приданнымъ и, когда онъ увидѣлъ, что ошибся, то сразу-же показалъ себя и всю любовь съ него, какъ рукой сняло. Мало того—сталъ вымещать на женѣ свою ошибку, мучить ее упреками, что ея родные его обманули и обманомъ окрутили его съ нею. Такъ она, бѣдная, съ самаго медоваго мѣсяца горькую чашу стала пить. И что дальше, то шло все хуже. Жоржъ Ивановичъ оказался и пьяницей, и грубіяномъ и самодуромъ, и все это на подкладкѣ пошлѣйшаго фанфаронства. При всемъ томъ—полная беззаботность что касалось устройства своей карьеры, домашняго обзаведенія и обезпеченія семьи. Нужда и безпорядочность у нихъ завелись перекатныя, а когда у него случались деньги—онъ ихъ проматывалъ и прокучивалъ. Неопытная, легковѣрная и слабая женщина, да еще такая молоденькая, конечно, не могла ни обуздать безпутнаго мужа, ни гнѣздо свое свить и устроить. А между тѣмъ пошли у нея дѣти и—понятно—не на радость, при такихъ обстоятельствахъ. Думала она было, что при дѣтяхъ мужъ сколько нибудь остепенится,

но, вмѣсто того, дѣти совсѣмъ ужь его отъ дому отбили — ненавидѣть онъ ихъ сталъ, какъ обузу, какъ помѣху въ своей холостецкой, забубенной жизни.

Нерадивый и безпутный по отношенію къ семьѣ, Жоржъ Ивановичъ ни во что ни ставилъ и свою личную судьбу, свою карьеру и свое имя. Вскорѣ послѣ женитьбы его выгнали изъ полка съ большими непріятностями... Сморозилъ онъ что то прескверное, въ родѣ растраты, съ подлогами и обманами, и какъ-то ужасно глупо и легкомысленно. Позорный случай этотъ совершенно уже развязалъ его отъ всякаго стыда, отъ всякихъ сдержекъ, и сталъ онъ тутъ со дня на день все ниже и ниже опускаться, на горе и несчастье жены и семьи.

Въ это время умерла у него мать въ Петербургѣ, оставивъ ему въ наслѣдство небольшой капиталъ. Онъ поѣхалъ получать наслѣдство, оставивъ жену у ея родителей, и — пропалъ безъ вѣсти. Родители, тяготясь замужней дочкой, да еще съ дѣтьми, научили ее ѣхать въ Петербургъ искать мужа и удержать его, если можно, отъ проматыванія полученнаго состоянія. Евгенія Семеновна такъ и сдѣлала: пріѣхала сюда съ дѣтьми, нашла своего лядащаго благовѣрнаго и уже въ самомъ пропащемъ положеніи. Онъ успѣлъ промотать почти все, что получилъ отъ матери, въ обществѣ такихъ-же распутныхъ негодявъ, какимъ былъ самъ.

По первому началу, жену онъ встрѣтилъ далеко не радушно, но вскорѣ въ немъ созрѣла мерзостнѣйшая идея, что она можетъ быть, въ извѣстномъ отношеніи, для него полезна. Когда Евгенія Семеновна стала появляться въ его компаніи, онъ замѣтилъ, что она, своей свѣжестью, красотой и цѣломудренной наивностью, произвела сильное впечатлѣніе.

Отупѣвшіе развратники, привыкшіе къ обществу такихъ-же, какъ они, потасканныхъ столичныхъ камелій, нашли молоденькую провинціалку очень интересной, очень «пикантной», какъ они выражаются на своемъ гнусномъ жаргонѣ. За нею стали ухаживать, искать ея благосклонности, и—вотъ тутъ-то у господина Черкесникова, сильно уже тогда нуждавшагося, явилась счастливая идея поторговать своей женою! Идея эта потомъ только раскрылась для нея во всей отвратительной наготѣ, а вначалѣ онъ повелъ дѣло довольно тонко. Онъ исподволь сталъ сватать жену одному пресыщенному старому грѣшнику и гулякѣ со средствами. Вѣрно, у нихъ сдѣлка была улажена на чистоту, съ торгомъ, за условленную цѣну, Жоржъ Ивановичъ, вѣрно, и задатокъ уже взялъ, потому что покупатель очень нагло началъ приступать къ сторгованной жертвѣ, тогда какъ продавецъ явно ему при этомъ подслуживался...

Произошла омерзительная сцена насилія надъ молодой, невинной женщиной, и почти на глазахъ ея мужа! Но для такого подвига стараго развратника все таки не хватило. Кончилось однимъ злоумышленіемъ... Захваченная въ расплохъ, Евгенія Семеновна успѣла вырваться изъ западни и, не подозрѣвая что ею она обязана милому супругу, бросилась къ нему-же за защитой. Понятно, какъ онъ долженъ былъ ее встрѣтить! Своимъ сопротивленіемъ она разстроила его честную спекуляцію и, когда она кинулась къ нему, застыженная и расплаканная, съ жалобой на поступокъ съ нею его пріятеля, онъ пришелъ въ бѣшенство и уже безъ церемоніи раскрылъ свои карты. Заглянувъ въ нихъ, Евгенія Семеновна сперва не могла повѣрить своимъ глазамъ и ушамъ, а потомъ, когда мужъ напрямикъ уже потребовалъ отъ нея

отдаться тому, кому онъ ее продалъ, на нее напалъ просто ужасъ...

Разочаровавшись на счетъ возможности извлекать изъ жены этимъ остроумнымъ способомъ профитъ для себя, господинъ Черкесниковъ буквально выбросилъ ее на улицу вмѣстѣ съ дѣтьми. Она сама была этому рада потому, что тутъ только у нея вполнѣ открылись глаза на всю низость, подлость и бездушіе человѣка, съ которымъ ее связала судьба. Жить съ нимъ она не могла и хотѣла-бы никогда съ нимъ больше не встрѣчаться!

Все-же положеніе молодой женщины было бѣдственнѣйшее. Одна, съ двумя дѣтьми на рукахъ, безъ гроша въ карманѣ, безъ родныхъ и знакомыхъ, безъ всякой опоры... Что̀ ей было дѣлать?—Оставалась у ней одна надежда—на возвращеніе въ родительскій домъ, хотя мѣста тамъ для нея лишняго не было... Ну, думала, потѣснятся для родной дочки! Написала письмо, одно, другое, третье, о томъ, чтобъ дали пріютъ и выслали деньги на возвращеніе. Ни отвѣта, ни привѣта, то есть—ни одного словечка. Сочли, значитъ, за отрѣзанный ломоть. Тѣмъ временемъ, нужно было какъ нибудь жить и дѣтишекъ кормить. Евгенія Семеновна сначала, въ ожиданіи помощи отъ родныхъ, продовольствовалась, прижимаясь до послѣдней крайности, вещичками, какія у нея были. Лишняго ничего не было, но приходилось, для пропитанія, сбывать и необходимое. Наконецъ, дошло до того, что нечего уже было снять съ себя и промѣнять на хлѣбъ. Стала она тогда искать работы, мѣста какого нибудь; но, при ея воспитаніи, къ какой работѣ годилась-бы она, да еще съ дѣтьми, а тѣмъ паче въ Петербургѣ, гдѣ на каждую работу, на каждое занятіе такая страшная конкуренція?—Впрочемъ,

она попробовала таки этого черстваго хлѣба: и на рынокъ шила, и въ прачешной стирала бѣлье, и коробочки для папиросъ клеила... Хотѣла и на мѣсто какое нибудь поступить, да дѣти мѣшали, а нужда и голодъ, между тѣмъ, становились все тяжелѣе и несноснѣе. Правда, предлагали ей нѣкоторыя бывалыя сосѣдки по «угламъ», заглядываясь на ея молодость и пригожество, легкое и прибыльное занятіе—такое, что только выйди на прогулку по улицѣ—заработокъ и въ карманѣ. Не разъ соглашали ее на такого сорта сдѣлку и уличные любители женской красоты, да она все крѣпилась, изъ боязни и неодолимаго отвращенія къ разврату.

Но, вотъ, разъ, когда у нея не было ни гроша, заболѣлъ ея сынокъ—любимое ея дѣтище, заболѣлъ внезапно и опасно. Она бросилась искать доктора. Нашелся какой-то сердобольный, что не побрезгалъ подняться на чердакъ къ бѣднякамъ и не потребовалъ платы за визитъ; но, кромѣ того, нужны были лекарства. Докторъ сказалъ, что ихъ можно получить безплатно, но только нужно свидѣтельство о бѣдности. Гдѣ его было взять, да и время-ли о томъ хлопотать, когда ребенокъ умираетъ? Евгенія Семеновна заказала лекарство въ аптекѣ—спросили что-то около рубля. Пока его приготовляли, она сняла съ себя свое послѣднее ветхое пальтишко и понесла къ закладчику; тотъ взглянулъ, потрясъ его на свѣтъ, покачалъ головою и возвращаетъ:—«ниже, говоритъ, всякой оцѣнки!» Она къ другому, къ третьему—тѣ и смотрѣть не стали. Встрѣтился ей на улицѣ старьевщикъ-татаринъ, она ему предложила купить у нея пальто. Посулилъ всего сорокъ копѣекъ и то безъ особенной охоты.

Въ отчаяніи, убитая, растерянная, идетъ она и не знаетъ—куда идти, что начать, а сердце-то такъ и обливается кровью при мысли, что дорогое дитятко ея остается безъ лекарства и, можетъ, въ эту минуту духъ испускаетъ! Вотъ въ эту-то горькую, несчастную минуту и подвернулся избавитель... Кто онъ такой былъ, какой наружности, старый или молодой,—она никогда не могла потомъ припомнить.

— Что́,—говоритъ,—пригорюнилась, красотка?—и чувствуетъ она, что онъ безцеремонно взялъ ее пальцами за подбородокъ, поднялъ ея лицо къ свѣту фонаря и осматриваетъ—стоющее-ли, молъ, вниманія?

Она бросилась бѣжать, онъ за нею; нагналъ и такъ ласково, сладко заговариваетъ... Пришла ей тутъ, съ отчаянія, наивнѣйшая идея: а что, если добрый, сострадательный человѣкъ—авось, сжалится и поможетъ!

Разсказала она ему чистосердечно свое материнское горе, свою безъотлагательную, мучительную нужду въ рублѣ, только въ одномъ рублѣ, для спасенія своего ребенка.

Выслушалъ внимательно, пожалѣлъ и говоритъ:

— Рубля вамъ, душенька, мало въ такихъ обстоятельствахъ. Я вамъ, говоритъ, дамъ три—зайдемте только на минутку въ гостинницу чайку попить!

Что оставалось дѣлать бѣдной въ такомъ отчаянномъ, безпомощномъ положеніи, и когда кругомъ ни одной сострадательной человѣческой души, а сплошь безжалостные плотоядные звѣри?!..

Лекарство было добыто своевременно и помогло: сынокъ сталъ поправляться, только докторъ сказалъ, что для полнаго возстановленія силъ ребенку нужно то-то и то-то, что онъ и заболѣлъ именно отъ плохой пищи и дурнаго со-

держанія. Ну, теперь все это перемѣнилось къ лучшему: дѣти не голодали больше, не ходили въ рваныхъ сапожкахъ и не замачивали ножекъ, не задыхались въ тѣсныхъ и смрадныхъ «углахъ»...

Прошло съ этого роковаго въ жизни Евгеніи Семеновны случая нѣсколько мѣсяцевъ. Неощутительно она втянулась въ свой новый промыселъ, приспособилась... Эти скользкіе пути ужь таковы, что только разъ ступилъ на нихъ и— покатился, возврата нѣтъ!

Разъ, какъ-то, въ одномъ публичномъ грязномъ притонѣ, куда она изрѣдка заглядывала въ поискѣ «заработка», встрѣчается ей, вдругъ, любезнѣйшій супругъ, пьяный, растерзанный, въ конецъ опустившійся. Захватилъ онъ ее какъ разъ въ ту минуту, когда она, по ихнему техническому выраженію, «занималась съ мужчиной...» Жоржъ Ивановичъ такъ и вцѣпился въ жену! Разыгралъ скандалезнѣйшую сцену ревности, обиды и оскорбленія за свою поруганную супружескую честь; сталъ грозить и полиціей, и судомъ, и—все это публично. Къ счастью еще, хозяинъ притона догадался, для прекращенія соблазна и безпорядка, обоихъ ихъ вытолкать вонъ на улицу.

Съ этой минуты положеніе бѣдной Евгеніи Семеновны усложнилось до нестерпимости. Разумѣется, ревность господина Черкесникова и негодованіе за измѣну были одной комедіей. Ему нужно было застращать жену единственно ради гнуснѣйшей эксплоатаціи. Дошелъ онъ въ это время до полной нищеты, промотавъ все, что ему досталось отъ матери, сталъ круглымъ, въ конецъ потеряннымъ бездѣльникомъ. Въ такомъ отчаянномъ положеніи онъ увидѣлъ дорогую, спасительную для себя находку въ паденіи жены,

т. е., въ возможности обращать плоды этого паденія себѣ на потребу, для поддержанія своего существованія. Въ такомъ практическомъ смыслѣ онъ и повернулъ все дѣло сейчасъ, какъ оно для него выяснилось.

Очень хорошо зная свои законныя права и преимущества, какъ мужа и отца, и опираясь на нихъ, Жоржъ Ивановичъ предложилъ Евгеніи Семеновнѣ выбирать одно изъ двухъ: или лишиться дѣтей, которыхъ онъ грозилъ немедленно у нея отнять, и идти подъ судъ за нарушеніе святости брака, или—откупаться.

Бѣдная женщина, у которой отнять дѣтей—значило отнять жизнь, разумѣется, согласилась безпрекословно на послѣднее условіе. Негодяй обложилъ ее правильнымъ оброкомъ, составлявшимъ львиную долю ея несчастнаго «заработка», и аккуратно, съ невозмутимой совѣстью, являлся за нимъ каждую субботу (Вотъ почему она и предостерегала меня, чтобы я не ходилъ къ ней по субботамъ, о чемъ я забылъ и нарвался на непріятную встрѣчу!).

Господинъ Черкесниковъ былъ, однако-же, недоволенъ своей оброчной статьею. Онъ находилъ, что получаетъ мало, находилъ, что жена мало «заработываетъ», издѣвался надъ нею, обзывалъ «дурой» и «разиней», которая не умѣетъ-де продавать себя съ большей прибылью. Онъ даже училъ ее, какъ это дѣлать, и, между прочимъ, совѣтовалъ выудить солиднаго, денежнаго «содержателя»... Такимъ, вотъ, искомымъ «содержателемъ» я и показался въ его безстыжихъ, алчныхъ глазахъ, чѣмъ и объяснились и его торжествующій видъ, при встрѣчѣ со мною, и его необычайная, деликатнѣйшая, какъ онъ мнилъ, предупредительность по отношенію ко мнѣ!

Свою догадку на мой счетъ онъ и выразилъ напрямикъ въ той «парѣ словъ», для которой вызвалъ, передъ своимъ уходомъ, Евгенію Семеновну въ переднюю. При этомъ, онъ упрекнулъ ее за то, что она, будто-бы, хотѣла скрыть отъ него обрѣтеніе желаннаго качества «содержателя». Возраженій онъ не сталъ слушать и коротко, рѣшительнымъ тономъ истаго разбойника, потребовалъ увеличенія своей «вдовьей пенсіи», какъ цинически называлъ свою мзду на своемъ кабацкомъ, балагурскомъ жаргонѣ.

— Ахъ, какъ это не хорошо, что вы съ нимъ здѣсь встрѣтились!—еще разъ посѣтовала Евгенія Семеновна, кончивъ свою печальную повѣсть.

Я самъ видѣлъ теперь, что нехорошо. Какъ разувѣрить въ заблужденіи негодяя, утратившаго всякій стыдъ, всякую вѣру въ человѣка, въ добро, въ возможность чистыхъ цѣломудренныхъ, дружескихъ отношеній между мужчиной и женщиной, каковы, именно, были наши отношенія съ Евгеніей Семеновной? Ктому-жь, еслибы онъ и не вѣрилъ самъ въ свою догадку о грѣховной связи моей съ его женою, то, вѣдь, въ его подломъ разсчетѣ было настаивать на томъ, что связь эта есть, вопреки хотя-бы всякой очевидности... Что могли мы ему возразить? Съ другой стороны, и уступить его грабительскому требованію, во избѣжаніе непріятностей и для безпрепятственнаго продолженія моего знакомства съ Евгеніей Семеновной, которымъ я такъ дорожилъ, было не разсудительно, да и отяготительно. Положимъ, потребовалъ онъ не Богъ вѣсть какія деньги, но и тѣ трудно было достать: ей положительно было бы не въ моготу, а мои средства, какъ я уже сказалъ, были тогда очень тонки. Я и то уже во многомъ отказывалъ себѣ,

лишь-бы имѣть удовольствіе хоть пустячками неощутительно помогать моей милой пріятельницѣ, главнѣе—въ уходѣ за ея дѣтками. Но, кромѣ, того, если-бы мы согласились до поры до времени выплачивать налогъ за наше знакомство (бываютъ, вѣдь, въ жизни и эдакіе налоги!), то, безъ сомнѣнія, господинъ Черкесниковъ понялъ-бы это такъ, что онъ, значитъ, угадалъ и совершенно правъ, а ужь послѣ этого переспорить его нечего было-бы и думать.

Положеніе было со всѣхъ сторонъ скверное и очень тяжелое!

Поговоривъ обстоятельно объ этомъ пакостномъ приключеніи съ Евгеніей Семеновной, я далъ ей совѣтъ на первый разъ не поддаваться притязанію мужа, на томъ основаніи, что онъ грубо ошибся, а тамъ будетъ видно, какъ поступить. Во всякомъ случаѣ, я обѣщалъ ей—и вполнѣ искренно—подумать серьезно о томъ, чтобы окончательно вывести ее изъ тягостнаго положенія.

Въ это время неожиданно представилась мнѣ неотлагательная, очень важная надобность съѣздить къ себѣ на родину, и—я даже не зналъ заранѣе, на какой именно срокъ. Предстоявшая разлука съ Евгеніей Семеновной огорчила и меня и ее, но мы утѣшались надеждой скоро свидѣться при лучшихъ обстоятельствахъ. Нужно сказать, что отъ поѣздки этой зависѣло поправленіе моихъ средствъ; затѣмъ, отъѣздъ мой могъ естественнымъ порядкомъ разсѣять гнусныя подозрѣнія господина Черкесникова на счетъ моихъ отношеній съ его женою и заставить его отказаться отъ наложенной имъ на нее контрибуціи. Для этой цѣли я нарочно составилъ прощальную записочку къ Евгеніи Семеновнѣ и послалъ ей по почтѣ, чтобы этимъ способомъ дать ей

въ руки какъ-бы нѣкоторый документъ для оправданія передъ мужемъ.

Попрощались мы очень сердечно и я уѣхалъ. При прощаніи, мы условились писать другъ другу и на первыхъ порахъ, по моемъ отъѣздѣ, у насъ шла довольно оживленная переписка. Правда, Евгенія Семеновна далеко не была мастерицей по писательской части, но—я не могу разсказать, съ какимъ наслажденіемъ получалъ я и по нѣсколько разъ прочитывалъ ея немудрящія, нетвердой рукою, съ граматическими ошибками, набросанныя письмеца, полныя милаго дѣтскаго простодушія! Вообще, разлука эта окончательно убѣдила меня въ томъ, что я глубоко и искренно привязался къ моей злополучной пріятельницѣ, и въ тѣ минуты я уже обдуманно рѣшилъ попрочнѣе скрѣпить нашу связь тотчасъ, какъ улажусь съ моими дѣлами; но этому не суждено было случиться, не суждено было намъ даже свидѣться больше, о чемъ я и до сихъ поръ скорблю и сожалѣю.

Побывка моя на родинѣ затянулась долѣе, чѣмъ я разсчитывалъ и желалъ. Прошелъ мѣсяцъ, другой и третій, а о возвращеніи въ Петербургъ нельзя было еще и думать. Около этого времени я вовсе пересталъ получать письма отъ Евгеніи Семеновны. Меня это очень встревожило, потому что на всѣ мои настойчивыя просьбы и разспросы—не приходило отъ нея ни словечка. Вдругъ, послѣ долгаго молчанія, пишетъ она мнѣ отчаянное письмо, что она заболѣла, что ее «взяли» въ больницу и разлучили съ дѣтьми и что безъ нихъ она съ ума сходитъ отъ тоски. Въ заключеніе она умоляла и заклинала меня, что, если она умретъ,—сберечь ея дѣтей, спасти ихъ отъ гибели.

Это былъ для меня тяжелый ударъ и, по первому побужденію, я хотѣлъ было все бросить и ѣхать въ Петербургъ на помощь дорогой для меня страдалицѣ; но благоразуміе взяло верхъ. Я ограничился тѣмъ, что, не медля, послалъ ей, сколько могъ, деньжонокъ.

Послѣ этого опять кореспонденція Евгеніи Семеновны со мною прекратилась и уже разъ на всегда. Больше я отъ нея не получилъ ни словечка, и—Богъ знаетъ, чего на ея счетъ не передумалъ! И то, чего я больше всего боялся, дѣйствительно случилось.

Время, между тѣмъ, шло да шло. Наконецъ, управившись со своими дѣлами и уже съ запасомъ порядочныхъ средствъ, я поспѣшилъ въ Петербургъ. По пріѣздѣ, сейчасъ-же бросаюсь въ хорошо знакомый домикъ па Пескахъ, но тамъ ни Евгеніи Семеновны, ни ея дѣтей не оказалось, и никто не могъ мнѣ ничего толкомъ о нихъ объяснить. Ѣду въ больницу, изъ которой она мнѣ писала въ послѣдній разъ, и—узнаю грустную истину...

Бѣдная кончила свою молодую, страдальческую жизнь на больничной койкѣ. Нѣжная, слабая и кроткая натура не вынесла тяжелой, позорной доли «публичной женщины» и сломилась подъ ея бременемъ... Въ больничномъ скорбномъ реестрѣ значилось, что Евгенія Семеновна умерла отъ скоротечной чахотки, осложненной отвратительною заразой, сопровождающей ужасный промыселъ, которымъ она жила.

Черствый я старый холостякъ, а извѣстіе о смерти Евгеніи Семеновны убило и потрясло меня до слезъ... Да, я плакалъ, и—откровенно скажу—можетъ быть, не было у меня во всей жизни другаго горя болѣе сердечнаго, болѣе искренняго!

Хотѣлъ я было сходить хоть на могилку ея, панихиду отслужить, вѣнокъ на нее положить и поплакать; но оказалось, что умерла она всѣми забытая, и похоронили ее, бѣдную, на казенный счетъ въ общей могилѣ на Преображенскомъ кладбищѣ...

Оправившись нѣсколько отъ перваго горькаго чувства этой утраты, я пустился искать дѣтей покойной. Дорожа ея памятью, ея послѣднимъ завѣщаніемъ мнѣ, я твердо положилъ себѣ въ душѣ озаботиться участью несчастныхъ сиротокъ; но гдѣ ихъ было искать?—Прежде всего и всего естественнѣе было думать, что они взяты отцомъ, но какъ могъ распорядиться ихъ судьбою такой безпутный, дурной отецъ, какъ господинъ Черкесниковъ? Основываясь на такомъ соображеніи, я усердно сталъ его разыскивать, но—безъуспѣшно. Въ адресномъ столѣ его даже имени не оказалось. Вызывалъ я его чрезъ газеты—не отозвался. Пустился я странствовать по разнымъ столичнымъ трущобамъ—въ надеждѣ, не встрѣчу-ли какъ нибудь случайно забулдыжнаго поручика?—Напрасно. Мучила меня неудача моихъ поисковъ ужасно, точно тяжелый камень носилъ я на своей совѣсти.

Прошло съ мѣсяцъ; однажды иду я около Казанскаго собора, вдругъ, откуда не возмись—пристаетъ ко мнѣ мальчуганъ, оборванный, грязный и жалобно клянчитъ:

— Милый, добрый господинъ, подайте копѣечку, Христа ради, бѣдному сиротинкѣ!

На петербургскихъ улицахъ такія маленкія нищія сиротинки, пристающія къ прохожимъ съ жалобными мольбами о милостынкѣ,—дѣло обыкновенное.

Оборачиваюсь я на кружившаго около меня мальчугана, вглядѣлся въ его личико, да такъ и ахнулъ.

— Саша! ты-ли это?—воскликнулъ я, схвативъ его за руку.

— Я, дяденька!—отвѣчаетъ, воззрясь на меня глазенками и, въ свою очередь, узнавъ меня, видимо, съ удовольствіемъ.

Оказался сынокъ Евгеніи Семеновны. Обрадовался я ему, какъ не знаю кому. Сейчасъ-же усадилъ на извощика, привезъ къ себѣ, напоилъ, накормилъ и сталъ разспрашивать про мать, про все и какимъ родомъ дошелъ онъ до нищенства?

Онъ все мнѣ разсказалъ съ дѣтской откровенностью. Дѣло было такъ.

Когда мама заболѣла и ее увезли въ больницу, Сашу и Лелю взяли сперва на попеченіе добрые люди—сосѣди по дому; но вскорѣ пришелъ папа и увелъ ихъ къ себѣ въ большущій такой домъ, гдѣ было много мужиковъ и нищихъ. Тамъ Сашѣ и Лелѣ жить стало очень не хорошо: ихъ обижали сосѣди, такіе все дурные, злющіе, и папа все сердился, и кушать имъ давалъ мало и плохо, они часто плакали и по мамѣ очень, очень скучали. Папа не пускалъ къ мамѣ, и только разъ какая-то старуха, сосѣдка по квартирѣ, сводила ихъ къ ней въ больницу. Мама—такая худенькая, больная, совсѣмъ уже съ кровати не вставала,—очень обрадовалась своимъ дѣткамъ, долго, долго цѣловала ихъ, плакала и все не хотѣла отпускать отъ себя, и они-бы хотѣли возлѣ нея остаться, да нельзя было... Больше они мамы и не видали, а потомъ, какъ-то, папа сказалъ, что она умерла. Это было такъ ужасно, что они долго не вѣрили папѣ и все ждали, что мама придетъ и возьметъ ихъ къ себѣ, но она не приходила и всѣ стали

называть ихъ сиротинками. А между тѣмъ, еще до этого папа сталъ посылать ихъ ходить по улицамъ и просить у прохожихъ копѣечекъ на бѣдность. Сначала они ходили съ какими-то старухами—нищенками, которыя учили ихъ какъ и у кого просить, притомъ такимъ родомъ, чтобы не попадаться на глаза городовому. Потомъ, папа сталъ ихъ однихъ посылать и всѣ копѣечки, которыя имъ подавали добрые прохожіе, забиралъ себѣ; когда случалось имъ мало собирать, то папа сердился, не давалъ имъ кушать и даже билъ Сашу. Плохо и тяжело имъ было очень, особенно зимою, когда приходилось по нѣсколько часовъ зябнуть на морозѣ. Леля отъ этого простудилась, занемогла и скоро умерла тоже въ какой-то больницѣ, куда ее свезъ папа. Саша одинъ остался и—теперь по цѣлымъ днямъ шныряетъ по улицамъ, выпрашиваетъ у прохожихъ копѣечки и отдаетъ ихъ вечеромъ папѣ...

Съ сердечной болью и негодованіемъ выслушалъ я этотъ разсказъ моего маленькаго гостя и твердо положилъ себѣ немедленно вырвать его изъ рукъ недостойнаго отца, такъ подло и безжалостно обрекшаго свое дѣтище на погибель, ради грошовой корысти.

Какъ я и ожидалъ, задача эта оказалась очень трудной. Господинъ Черкесниковъ, котораго я нашелъ въ одной изъ трущобъ Вяземскаго дома, въ самомъ мерзостномъ состояніи порочной потерянности, по первому разу наотрѣзъ и съ бранью отказался отдать мнѣ своего сына на воспитаніе. Доводами благоразумія и человѣколюбія тутъ ничего нельзя было достигнуть; опустившемуся въ конецъ бездѣльнику сынъ нуженъ былъ, какъ единственная доходная статья для его пропитанія.

Нечего было дѣлать:—пришлось мнѣ выкупать Сашу изъ унизительнаго рабства у его отца. Я передъ этимъ не остановился и—достигъ цѣли, составлявшей мой задушевнѣйшій обѣтъ передъ дорогой для меня памятью несчастной Евгеніи Семеновны. И кому-жь, мой пріемышъ оживилъ мое угрюмое одиночество, а забота о его воспитаніи согрѣла мою старость, дала ей содержаніе...

Саша въ настоящее время учится на мой счетъ въ ремесленномъ училищѣ и—такой способный, славный мальчикъ изъ него вышелъ! Я имъ вполнѣ доволенъ.

Текстъ къ картинкѣ (стр. 211).

X.

Текстъ къ картинкѣ.

Я думаю всѣ, посѣщающіе петербургскія картинныя выставки, замѣтили на одной изъ нихъ небольшую, хорошо написанную и очень умную, по мысли, картинку г. Клодта: «Съ родины». Представлена молодая, недурная собой дѣвица, съ нѣмецкими чертами лица, сейчасъ только прочитавшая лежащее на ея колѣняхъ письмо съ родины и, по этому поводу, впавшая въ грустное раздумье. Костюмъ дѣвицы съ претензіей на кокетство, ея взбитая, расфуфыренная прическа, румяны на поблеклыхъ щекахъ, «убогая роскошь» комнатной обстановки все это сразу говоритъ зрителю, знакомому съ темными сторонами городской жизни, гдѣ онъ и съ кѣмъ имѣетъ здѣсь дѣло. Это—сама дѣйствительность, художественно только переданная, безъ ея позорныхъ ярлыковъ и грубой наготы!

Чтó же заставило взгруснуть это «милое, но погибшее созданіе?» Что такое въ письмѣ, откуда оно и отъ кого?— Всѣ эти вопросы художникъ оставилъ открытыми на догадку любознательнаго зрителя.

— Конечно, письмо отъ родителей, которые не знаютъ, что ихъ милая дочка, поруганная и закабаленная, гибнетъ гдѣ-то на чужбинѣ въ грязномъ вертепѣ,—догадывались одни зрители.

— Вѣрнѣе такъ, что сейчасъ только узнали, и теперь бранятъ и грозятъ родительскимъ проклятіемъ, если дочка не оставитъ дурнаго поведенія... А то, чего-жь бы ей и грустить?—комментировали картинку другіе.

— Возможно также, — предполагали третьи, — что письмо траурное: умеръ кто нибудь изъ родныхъ... бабушка, тамъ, какая нибудь, отъ которой внучка ждала наслѣдства, но, вмѣсто того, бабушка, узнавъ объ ея грѣхѣ, разсердилась и ничего не оставила... Вотъ внучкѣ и грустно!

Могли быть еще и другія, въ такомъ родѣ, догадки, не менѣе достовѣрныя и правдоподобныя; но можетъ быть и самому художнику не приходила на мысль вѣроятность такой, повергающей въ уныніе адрессантку, особенной корреспонденціи, которую мы предложимъ здѣсь, безъ дальнихъ околичностей, въ видѣ текста къ его картинкѣ.

Маленькая только оговорка. Разсказываемый нами, въ нѣкоторомъ отношеніи чудовищный романъ—вовсе не вымышленъ, вовсе не составляетъ рѣдкаго, исключительнаго явленія въ міркѣ, изъ котораго взята вышеописанная картинка; но, кажется, героинями подобныхъ романовъ наиболѣе способны быть «честныя» нѣмки, притомъ—не здѣшнія и даже не aus Riga, а преимущественно aus Königsberg или aus Hamburg, словомъ, откуда нибудь подальше и изъ такихъ мѣстъ любезнаго Vaterland'a, гдѣ, какъ говорится, нѣмецъ на нѣмцѣ сидитъ и нѣмцемъ погоняетъ, гдѣ мудрая нѣмецкая экономія выучиваетъ бѣдняковъ стряпать такое, напр., химерическое блюдо, какъ габеръ-супъ, вымолачивать

рожь на обухѣ, выдумывать обезьяну и—что еще страннѣе—выдумывать столь безнравственные способы «честно заработывать» обезпеченіе семейнаго счастья, объ одномъ изъ которыхъ идетъ здѣсь рѣчь. Во всякомъ случаѣ, условимся: героиня нашего романа—кенигсбергская уроженка, пріѣхавшая въ Петербургъ шить себѣ приданное; она въ перепискѣ съ женихомъ, бравымъ, молодымъ нѣмцемъ, служащимъ кельнеромъ въ одной берлинской гостинницѣ, въ которой и она служила прежде горничной. Съ годъ тому назадъ они встрѣтились, нѣжно и цѣломудренно полюбили другъ друга и рѣшили навѣки соединиться священными узами Гименея, но не прежде, какъ пріобрѣтутъ взаимными усиліями необходимыя для семейнаго быта средства.

Таковъ прологъ нашего романа, а содержаніе его читатель уразумѣетъ изъ нижеприводимой переписки.

Отъ него къ ней.

«Дорогая Минна! изъ твоего письма вижу, что ты, наконецъ-то, въ Петербургѣ... По моему мнѣнію, тебѣ слѣдовало вовсе не засиживаться въ Ригѣ, гдѣ живутъ больше такіе-же, какъ и мы, честные, бережливые нѣмцы, а прямо и какъ можно скорѣе ѣхать въ Петербургъ, такъ какъ извѣстно, что въ Петербургѣ много богатыхъ русскихъ, которые, по своей дикой натурѣ, очень разгульны и порочны и очень расточительны, поэтому съ ними—ты понимаешь—всего выгоднѣе имѣть дѣло. Но, слава Богу, ты, наконецъ, на мѣстѣ и, надѣюсь, не станешь больше терять даромъ время. Чѣмъ скорѣе ты заработаешь твою долю нашего будущаго общаго состоянія (Помни: твоя доля—три тысячи

марокъ, ни пфенигомъ менѣе!), тѣмъ ближе станетъ наше счастье. О, съ какимъ страстнымъ нетерпѣніемъ я жду этой минуты! Нужно только, милый другъ, быть тверже и осмотрительнѣе. Ты описываешь, какимъ образомъ и на какихъ условіяхъ вошла ты, для перваго раза, въ сдѣлку съ какой-то гнусной жидовкой—сводней... Это меня, признаюсь, глубоко опечалило. Какъ! ты, невинная, молодая, свѣжая, прекрасная дѣвушка, продала себя всего за полтораста марокъ?! Невѣроятно! Тебя безчеловѣчно обманули. Безъ сомнѣнія, эта подлая жидовка взяла, по крайней мѣрѣ, втрое, и, еслибъ она мнѣ попалась, я, кажется, изувѣчилъ-бы ее... Да, моя безцѣнная дурочка, ты сильно продешевила; но—этого ужь не воротишь. Утѣшаюсь увѣренностью, что ты скоро наверстаешь этотъ убытокъ и будешь впредь разсчетливѣе. Пожалуйста, пиши мнѣ почаще о своихъ петербургскихъ успѣхахъ, только не вздумай влюбиться тамъ въ какого нибудь русскаго князя—убью! Я, благодаря Бога, здоровъ, но дѣлишки мои пока не важны; думаю перейти въ другую гостинницу, гдѣ постояльцы и гости почище, и гдѣ, слѣдовательно, Trinckgeld'a нашему брату перепадаетъ больше. Отъ всего сердца любящій тебя Михель».

Отъ нея къ нему.

«Милый мой Михель! ты меня бранишь за то, что я не разсчетливая дурочка и до сихъ поръ мало заработала. Это правда; но повѣрь мнѣ, милый Михель, я ужасно стараюсь и себя не жалѣю, чтобы только нажить лишній пфенигъ. Я не виновата, что это очень трудно, потому что теперешнее мое занятіе вовсе не такое прибыльное, какъ мы

съ тобой думали. Все почти, что добываешь, приходится отдавать хозяйкамъ за гардеробъ, за квартиру, и все это страшно дорого. Вотъ еслибы точно въ меня влюбился какой-нибудь богатый русскій князь и взялъ къ себѣ,—ну, тогда было-бы другое дѣло; но такое счастье здѣсь также рѣдко, какъ вездѣ, и если кому изъ нашихъ сестеръ достается, то больше безстыднымъ француженкамъ, хотя онѣ изъ себя и драныя кошки. Русскіе очень любятъ женское безстыдство, а, вѣдь, ты знаешь—мое сердце невинно и чисто, и я хочу, чтобы оно такимъ на вѣкъ осталось для тебя, мой возлюбленный Михель! Ты пишешь также, что въ Петербургѣ легко добывать деньги, такъ какъ въ немъ очень много богатыхъ русскихъ. Не знаю; до сихъ поръ я только видѣла очень много пьяныхъ русскихъ и, еслибъ ты зналъ, какіе они противные... фуй! Хуже всего, что они не только сами напиваются, но и заставляютъ насъ напиваться... Не пить невозможно и—я стала пить; но не знаю, на какія жертвы я не пошла-бы, лишь-бы сдѣлать тебѣ угодное, лишь-бы достигнуть счастья соединиться съ тобою! Вся твоя по гробъ Минна».

Отъ него къ ней.

«Мало утѣшительнаго читаю я въ твоихъ письмахъ, милая моя Минночка! Вотъ сколько уже мѣсяцевъ какъ ты пустилась въ свѣтъ дѣлать деньги, а, по всему вижу, что въ кошелькѣ у тебя пусто. Всего огорчительнѣе для меня то, что ты, повидимому, нисколько не дѣлаешься практичнѣе и разсчетливѣе. Ты говоришь, между прочимъ, что въ Петербургѣ очень хорошо платятъ за безстыдство, и, при

этомъ, упоминаешь, что въ тебѣ его нѣтъ, что сердце твое стыдливое и чистое. Прекрасно, моя голубка, я это знаю и еслибъ сердце твое не было такое, то я, конечно, никогда-бы тебя и не полюбилъ такъ сильно, но—что-же дѣлать?— мы съ тобой бѣдные люди и должны помнить, что изъ чистоты сердечной шубы себѣ не сошьемъ и никогда не составимъ своего счастья. Пусть она остается при насъ и для насъ только, а что касается комерческаго дѣла, то всегда нужно предлагать тотъ товаръ, который спрашиваютъ... Если можно получить хорошій барышъ на безстыдствѣ, то отчего-же не пустить въ оборотъ этотъ товаръ? Насъ отъ этого не убудетъ—я такъ полагаю. Полагаю я также, что глупо, какъ говорится въ пословицѣ, плакать по волосамъ, когда голова снята... Ты меня понимаешь... Вотъ тоже глупый анекдотъ съ браслетомъ, который ты разсказываешь въ одномъ изъ послѣднихъ твоихъ писемъ. Похвалилась ты, что тебѣ подарили дорогой золотой браслетъ съ бриллiантами, а, между тѣмъ, потомъ оказалось, что онъ вовсе не золотой и бриллiанты въ немъ стеклянныя... Что-жъ это такое? Развѣ въ этой свинской странѣ нѣтъ вовсе правосудія, чтобы можно было безнаказанно дѣлать такой наглый обманъ? И, наконецъ, неужели ты сама настолько еще глупа, что не умѣешь различать настоящіе бриллiанты и золото отъ фальшивыхъ? Стыдно, милая! Мои дѣла такъ себѣ, но, конечно, гораздо лучше твоихъ. Смотрѣлъ сдающійся ресторанчикъ, о какомъ мы съ тобой мечтали, чтобы зажить по хозяйски, послѣ нашей сватьбы. Просятъ пять тысячъ... Гдѣ-же намъ до такой суммы, когда мы съ тобой такъ плохо работаемъ! Впрочемъ, остаюсь неизмѣнно любящій Михель».

Отъ нея къ нему.

«Наконецъ, милый Михель, ты, кажется, будешь мною доволенъ; только не вздумай ревновать меня, потому что, кромѣ тебя, я никого не люблю и никогда не полюблю! Слѣдуя твоимъ наставленіямъ, я много выиграла въ мнѣніи здѣшнихъ мужчинъ и достигла даже того, что въ меня влюбился одинъ богатый русскій... не князь, впрочемъ, а купецъ, но это, я думаю, все равно. Купецъ этотъ выкупилъ меня изъ долговъ (объ нихъ я тебѣ не писала, боясь огорчить тебя, но, повѣришь-ли, въ этомъ занятіи никакъ невозможно безъ долговъ!), далъ мнѣ квартиру, содержаніе, даритъ понемногу деньги и вещи, возитъ на гулянья и, вообще, кажется, очень меня любитъ, только любитъ онъ какъ-то странно, дико. порусски. Когда трезвъ (къ сожалѣнію, это съ нимъ рѣдко бываетъ), то такой всегда тихій, скромный, нѣжный и все руки мнѣ цѣлуетъ; но, чуть выпьетъ, сейчасъ дѣлается настоящей русской свиньей: буянитъ, кричитъ, ругается и позволяетъ себѣ такія безстыдства и гадости со мною, что убѣжала бы отъ него. Конечно, я не убѣгу и буду терпѣливо сносить этотъ срамъ, пока не соберу назначенную тобою сумму, которая нужна для составленія нашего счастья. Ахъ, скорѣе-бы кончилась эта пытка! Вся твоя Минна».

Отъ него къ ней.

«Отчего ты, милый другъ Минна, такъ давно мнѣ не пишешь? Не случилось-ли съ тобой чего нибудь? здорова-ли ты?.. Я сильно тревожусь о тебѣ. Признаться, больше всего

боюсь—не обманули-ли тебя снова, по твоей простотѣ. Что̀ твой купецъ и успѣла-ли ты его хорошенько обработать, какъ я тебѣ совѣтовалъ? Это былъ прекрасный случай! По моему разсчету, ты должна быть теперь съ капиталомъ... Быть можетъ, разбогатѣла, стала важной барыней и забыла о бѣдномъ Михелѣ... Грѣхъ тебѣ будетъ за это! Пожалуйста, отвѣчай мнѣ немедленно. Любящій тебя Михель».

Отъ нея къ нему.

«Безцѣнный, ненаглядный мой Михель! могу-ли я забыть тебя? У меня только и мыслей, что о тебѣ, только и желаній, какъ-бы скорѣе соединиться съ тобою на вѣки. Не писала-же я тебѣ такъ долго, потому что стыдно было и не хотѣлось тебя огорчать моими неудачами... Ты думаешь, что я разбогатѣла... Горько мнѣ сознаваться, но— суди меня какъ хочешь: или я набитая дура, или мнѣ нѣтъ счастья, а только, какъ ни стараюсь, профита отъ моего занятія не имѣю. Изнашиваю себя только напрасно, худѣю, здоровье теряю отъ этой проклятой жизни... Ахъ, какъ мнѣ трудно, какъ мнѣ гадко, дорогой Михель! Лучше бы я осталась навсегда судомойкой, только бы жить съ тобою,— я была-бы встократъ счастливѣе. Напиши мнѣ, мой милый, одно словечко—я все брошу и прилечу къ тебѣ... Одно только словечко, Михель! Пожалѣй меня, потому что я умру отъ тоски по тебѣ, умру отъ этой скверной жизни... Твоя по гробъ Минна.

«P. S. Забыла сказать о купцѣ, да и вспоминать о немъ не хотѣла-бы. Довольно тебѣ знать, что этотъ русскій скотъ, напившись какъ-то до звѣрства, побилъ меня и вы-

гналъ на улицу чуть не въ одномъ платьѣ... Жаловаться и искать защиты мнѣ, въ моемъ положеніи, въ чужомъ городѣ, конечно, было-бы совершенно напрасно. Я была рада уже тому, что меня хоть приняли въ заведеніе, въ которомъ я жила до этого».

Отъ него къ ней.

«Ну, Fraülein Минна, одолжили вы меня, нечего сказать! Цѣлыхъ два года я ждалъ отъ васъ проку, цѣлыхъ два года вы таскались, потеряли невинность, стыдъ, здоровье, красоту, и—у васъ нѣтъ ни гроша... Можно-ли придумать болѣе глупый гэшефтъ и болѣе нелѣпую женщину? И послѣ этого, вы просите меня написать вамъ «одно словечко», такое «словечко», чтобы вы—эдакая, подумаешь, радость!—очутились у меня на шеѣ со своими подержанными нѣжностями... Покорно благодарю! я еще не сдѣлался дуракомъ...

«Минна! милая! прости мнѣ эти жестокія слова, но я, по совѣсти, долженъ былъ ихъ сказать. Очевидно, планы наши не удались, намъ не повезло счастье и теперь о бракѣ нашемъ нечего и думать, такъ какъ семейная жизнь безъ капитала—безумство и даже преступленіе. Однѣми нѣжностями сытъ не будешь и дѣтей не накормишь. Нѣтъ денегъ—невозможно и счастье. Впрочемъ, остаюсь готовый къ услугамъ Михель».

Отъ нея къ нему.

«Я не сержусь на тебя, неизмѣнно милый, дорогой Михель, за твое послѣднее... разумѣется, *послѣднее* письмо и больше не стану докучать тебѣ. Да, я—глупая и несчаст-

ная, и теперь, когда потеряла молодость, красоту, здоровье и невинность, не стою твоего вниманія и твоей любви; но для кого-же я ихъ теряла, кому принесла ихъ въ жертву? Конечно, изъ этой жертвы ничего не вышло по моей глупости, но я думала, что ты, по крайней мѣрѣ, не станешь попрекать меня моимъ позоромъ... Это жестоко, Михель! Но Богъ съ тобой... Будь счастливъ и хоть изрѣдка вспомни обо мнѣ безъ досады... Я умираю... Вотъ уже второй мѣсяцъ лежу въ больницѣ; доктора сказали—они съ такими паціентками, какъ я, не церемонятся,—что у меня неизлѣчимая чахотка. Жить осталось мнѣ недолго, но и при послѣднемъ вздохѣ я буду попрежнему и помнить и любить тебя. Минна».

Не бывать-бы счастью, да несчастье помогло (стр. 228).

XI.

Не бывать-бы счастью, да несчастье помогло.

(Разсказъ слѣдователя).

Теперь ужь я не припомню, въ которомъ году это было. Хорошо помню только, что дѣло происходило въ скоромные, праздничные дни—не то послѣ розговинъ, не то передъ заговинами... Ужь на счетъ хронологической точности не взыщите со старика.

Нужно вамъ знать, при этомъ, что въ нашей слѣдственно-полицейской практикѣ всякія эти розговины и заговины—самое боевое время: часу отдыха на знаешь за множествомъ всевозможныхъ, уголовнаго свойства «происшествій» и «приключеній»... Народъ, знаете, въ такіе дни, вслѣдствіе разрѣшенія вина и елея, совсѣмъ разнуздывается, шалѣетъ; разъигрываются страсти и темные инстинкты, и всему тому, что въ иное время лежитъ въ человѣкѣ подъ спудомъ, дается полный просторъ... «Гуляй душа безъ кунтуша!»—однимъ словомъ.

Ну, понятно, при такомъ душевномъ расположеніи обывателей, служителямъ благочинія и правосудія открывается огромная практика для «пресѣченій» и «предупрежденій»... И презанимательные казусы, при этомъ, подвертываются

подъ руку. Вотъ одинъ изъ такихъ я и хочу вамъ разсказать.

Стояло, какъ я сказалъ, скоромное, мясопустное время. Однажды утромъ является ко мнѣ въ камеру совершенно потеряннаго вида субъектъ. Мужчина лѣтъ подъ пятьдесятъ, съ обрюзглымъ, непозволительно-помятымъ лицомъ человѣка, много и долго предававшагося спиртному отравленію. Однако-жь, въ вицъ-мундирѣ, да еще со знакомъ отличія «за безпорочную службу», но все на немъ засалено, грязно, неряшливо... Внѣшности такія не располагаютъ къ себѣ.

— Имѣю честь представиться: отставной надворный совѣтникъ и домовладѣлецъ Перепелкинъ!—обратился ко мнѣ вицъ-мундиръ, стараясь сохранить видъ собственнаго достоинства.

— Что вамъ будетъ угодно?—освѣдомился я дѣловымъ тономъ.

Вицъ-мундиръ съ минуту, какъ будто, замялся, торопливо прошелся дрожавшей, очевидно отъ перепоя, рукою по борту своего сюртука, пригладилъ шершавые волосы на головѣ и, сдѣлавъ театральный шагъ по направленію ко мнѣ, какъ-бы съ рѣшимостью на что то важное, неожиданно огорошилъ меня такимъ вопросомъ:

— Позвольте узнать у васъ, милостивый государь, доподлинно: женатъ я или холостъ?

Я посмотрѣлъ ему въ глаза: не пьянъ-ли и въ своемъ-ли умѣ?—Глаза мутные и оторопѣлые, но признаковъ свѣжаго охмѣленія не видно.

— Вы смотрите, милостивый государь, въ своемъ-ли я видѣ?—отозвался вицъ-мундиръ, замѣтивъ мой испытующій взглядъ.—Точно,—продолжалъ онъ,—человѣкъ я пью-

щій, каюсь въ этомъ; но передъ тѣмъ, какъ явиться къ вамъ съ ходатайствомъ, я цѣлыя сутки вытрезвлялся на зельтерской водѣ и квасѣ, и теперь, совершенно... совершенно въ трезвомъ умѣ и твердой памяти, покорнѣйше прошу васъ разрѣшить весьма важный для меня вопросъ, можно сказать, жизни: долженъ-ли я считать себя женатымъ или холостымъ?

— Весьма странный вопросъ! Кому-жь лучше знать объ этомъ, какъ не вамъ самимъ?—возразилъ я.

— Если бы я это зналъ, то не смѣлъ-бы васъ и безпокоить... Впрочемъ, я понимаю ваше удивленіе, потому что случай необыкновенный. Передъ вами, милостивый государь, жертва величайшей наглости и неслыханнаго обмана!

— Въ чемъ-же, однако, дѣло?

— А, вотъ, все это у меня на бумагѣ изложено,— сказалъ мой посѣтитель, торопливо вытащивъ изъ боковаго кармана и подавъ мнѣ смятую записку, мелко исписанную на нѣсколькихъ листахъ.

Я невольно поморщился при видѣ такого многоглаголиваго сочинительства.

— Простите-съ: очень ужь необычайное дѣло и, для правдоподобности, необходимо было привести всѣ обстоятельства!—извинился авторъ прошенія.—Но, быть можетъ, —добавилъ онъ,—вы позволите мнѣ разсказать устно мою куріозную трагедію... Такъ было-бы вразумительнѣе-съ.

— Пожалуй, разскажите... Не угодно-ли присѣсть?—указалъ я на стулъ близъ моего письменнаго стола и собрался слушать. Новый мой кліентъ сталъ меня интриговать.

— Я живу въ Галерной Гавани,—началъ Перепелкинъ свою «трагедію».—Домишко у меня тамъ есть свой—пло-

хенькій, но даетъ кое какой доходецъ. Я-же человѣкъ одинокій, притомъ, получаю маленькій пенсіонъ отъ правительства... Средства для существованія, такимъ родомъ, у меня имѣются довольно независимыя; но это то и нехорошо для нашего брата, малодушнаго человѣка. Пользуясь готовымъ, впадаешь въ праздность, а праздность, какъ изволите знать, мать всѣхъ пороковъ... Покамѣстъ я былъ помоложе и служилъ, воздерживался и старался соблюдать себя на линіи благороднаго человѣка. Ну, а послѣ отставки, какъ зарылся въ нашей Гавани... совсѣмъ, вѣдь, это дикое захолустье и—никто-бы не повѣрилъ, что оно въ районѣ просвѣщенной столицы находится! Посудите: обыватели и даже дамы по улицамъ въ спальномъ костюмѣ разгуливаютъ... Гдѣ это видано? Какъ закопался я, говорю, въ этомъ нашемъ гаваньскомъ болотѣ, такъ и пошли прахомъ всякій образъ и подобіе порядочной жизни, приличной благородному человѣку... Дѣлать нечего, общества, облагороживающаго нравы, никакого, праздность и скука,—куда дѣваться?.. А какъ на грѣхъ, въ моемъ-же домишкѣ внизу распивочное заведеніе... Ежеминутный, можно сказать, соблазнъ подъ рукою и, при свойственномъ мнѣ малодушіи, соблазнъ неотразимый... День за днемъ, втянулся я въ нетрезвую жизнь до того, что сталъ и до безпамятства доходить. Какъ и по какому случаю въ заведеніе попалъ—это помнишь, а какъ и когда оттуда домой возвратился—никакого воспоминанія!.. Завелись тутъ у меня, разумѣется, соотвѣтственнаго поведенія пріятели... Пьющаго горькую и потеряннаго народа въ Гавани у насъ пропасть! Мѣсто—знаете—сырое, заброшенное, вдали отъ цивилизаціи и отъ глаза общественнаго мнѣнія,—народъ и спивается безъ всякаго зазрѣнія стыда и совѣсти...

Вотъ эти-то пріятели—собутыльники меня и подкузьмили, какъ сейчасъ увидите... Вы ужь, милостивый государь, позвольте мнѣ все вамъ, въ подробности, разсказать... Я передъ вами все равно, что у отца духовнаго на исповѣди!—вставилъ Перепелкинъ, остановившись и съ безпокойствомъ посматривая на меня.

— Разсказывайте—я васъ слушаю!—успокоилъ я его, дѣйствительно, заинтересованный его повѣстью.

— Живу я,—продолжалъ онъ,—такимъ, вотъ, свинскимъ образомъ, не помня себя, и уже всякое понятіе потерялъ о порядочной жизни... Опустился и погрязъ окончательно! И вдругъ, послѣдствіемъ моего безпамятства оказывается такое неожиданное, вовсе для меня непостижимое обстоятельство, что я въ одно прекрасное утро, ни съ того, ни съ сего, просыпаюсь, съ великимъ для себя удивленіемъ, женатымъ человѣкомъ... Какъ вамъ это покажется?—воскликнулъ разсказчикъ, поднявъ кверху палецъ, съ очевиднымъ желаніемъ поразить и меня этимъ неожиданнымъ въ его жизни «обстоятельствомъ».

— Это, кажется, и составляетъ предметъ вашего заявленія?—отвѣтилъ я.

— Именно... Представьте! Начались теперь эти мясопустные дни... разрѣшеніе вина и елея... Казалось-бы, какого ужь тутъ «разрѣшенія», когда и безъ того человѣкъ повседневно пьянъ?—Но нашъ братъ, запьянцовскій человѣкъ, всякому предлогу радъ, чтобы оправдать свое пропойство и усугубить его. Такимъ образомъ, какъ начались, говорю эти, самые мясопустные дни, я ужь тутъ совсѣмъ утерялъ всякое понятіе о времени, мѣстѣ и обстоятельствахъ... Что такое вокругъ меня дѣлается, гдѣ я и что я—

не понимаю!.. Теперь, слушайте! Среди этакого-то безпамятства моего, просыпаюсь я однажды, утромъ, у себя дома,—слѣдовательно, съ нѣкоторыми признаками отрезвленнаго сознанія,—и нахожу возлѣ себя, на постели, неизвѣстно кому принадлежащее тѣло... Что за оказія?—Ощупываю: тѣло теплое, живое...

— Кто это здѣсь?—спрашиваю съ недоумѣніемъ.

— Ваша законная супруга,—отвѣчаетъ тѣло.

— Какая супруга, чортъ возьми! Откуда?

— Съ которой вы совершили брачное таинство...

— Когда? Какимъ родомъ?

— Вчерашняго числа, въ храмѣ Божіемъ, по установленію православной церкви...

— Что ты врешь? Я знать ничего не знаю, вѣдать не вѣдаю...

— Напрасно, потому что есть свидѣтели...

— Да ты кто такая?.. Я тебя впервые отъ роду вижу...

Вглядываюсь: бабенка—ничего, молодая, полненькая, свѣжая, но совсѣмъ мнѣ неизвѣстная... Такъ только, смутное воспоминаніе бродитъ, что гдѣ-то и когда то ее видѣлъ.

— Это очень странно отъ васъ слышать!—отвѣчаетъ она съ жеманствомъ.—Сопряглись законнымъ бракомъ съ дѣвицей честнаго дома и, говорите, не знаете съ кѣмъ?

— Не знаю, говорю, и представить себѣ не могу, откуда ты, вдругъ, взялась—вотъ и все тутъ!

— Нѣшто отставной боцманъ Поцѣлуевъ не есть вашъ всегдашній пріятель?—Я его дочь...

Я ударилъ себя по лбу: вотъ оно откуда привалило мнѣ это благополучіе! Дѣйствительно, боцманъ Поцѣлуевъ—бравый отставной унтеръ,—мой постоянный собутыльникъ,

не разъ проговаривался, что мнѣ надо жениться и что онъ меня женитъ. Конечно, я считалъ это пьяными бреднями, и мнѣ въ голову не приходило, что онъ прочитъ за меня свою дочь, которая, какъ мнѣ было извѣстно, занимается портомойствомъ. Какая-жь она мнѣ пара—посудите! Разумѣется, я, съ своей стороны, какъ домовладѣлецъ и чиновникъ-пенсіонеръ, могъ представляться для нихъ очень выгоднымъ женихомъ... И, вотъ, они меня втяпали! Нѣтъ, думаю, врете: я этакого обмана не допущу надъ собою!

На такія мои возраженія мнимая жена моя, по бабьему обычаю, въ слезы; но не успѣлъ я, какъ должно, разобраться въ постигшемъ меня злоключеніи—звонокъ и гости!

— Кто такіе?—спрашиваю у кухарки.

— Тесть и посаженный отецъ,—получаю въ отвѣтъ.

Тьфу, ты пропасть! Жилъ—поживалъ бобылемъ и, вдругъ, не думая, не гадая, нажилъ себѣ и жену, и тестя, и посаженнаго отца... А, между тѣтъ, они ужь забрались въ покои... поздравляютъ съ законнымъ бракосочетаніемъ... лѣзутъ цѣловаться... предлагаютъ выпить магарыча... У тестя подъ мышками два полуштофа—одинъ съ очищенной, другой съ сладкой наливкой. Посаженный отецъ—оказался сосѣдъ-лавочникъ, сѣрый купчина, предающійся запою,—у того цѣлый ворохъ закусокъ... Раскупорили, выложили закуски, налили, подносятъ... Сердце не камень: выпилъ, потомъ опять, рюмка за рюмкой—налимонились... Начинаю разговоръ объ этомъ самомъ фальшивомъ бракосочетаніи и стою на томъ, что я не позволю... Заспорили... естественнымъ порядкомъ, вышла драка... Прогналъ я моихъ новыхъ родичей а, между тѣмъ, именующаяся моей супругой—тутъ, какъ тутъ, и вонъ идти не хочетъ... Что мнѣ въ этомъ случаѣ

дѣлать?—Первымъ долгомъ отправляюсь справиться въ нашъ мѣстный приходъ—какъ, значитъ, могла постичь меня эта напасть и правда-ли, что надо мной совершенъ былъ брачный обрядъ?—Обращаюсь съ этимъ вопросомъ къ дьякону.

— А мнѣ,—отвѣчаетъ,—по чемъ знать? Мало-ли у насъ бракосочетается всякаго народу... Вчера, вонъ, восемнадцать паръ вѣнчали... Всѣхъ не упомнишь!

— А вы-бы,—говорю,—въ вашихъ книгахъ справились.

— Справка у насъ денегъ стоитъ, да и недосугъ мнѣ теперь...

— Тѣмъ не менѣе,—говорю,—мнѣ безотлагательно нужно знать сейчасъ-же—былъ ли я вчерашняго числа подъ вѣнцомъ, или нѣтъ?—Это для меня вопросъ жизни...

— Да васъ какъ звать то?

— Надворный совѣтникъ Перепелкинъ.

Дьяконъ задумался и потеръ себѣ лобъ, стараясь освѣжить память.

— Точно,—сказалъ онъ, наконецъ,—вчера мы вѣнчали какого-то надворнаго совѣтника не въ своемъ видѣ... Два матроса его все время подъ руки таскали по церкви, но лицо его не было видно и осталось въ неизвѣстности... Не вы-ли это были?

Конечно, я... Кому другому быть! Но теперь, милостивый государь, сколько могу понимать, я имѣю право возбудить юридическій вопросъ: въ какой степени безчувственно пьяный человѣкъ можетъ считаться правоспособнымъ для совершенія законнаго брака, и не имѣю-ли я, поэтому, основаніе вчинить искъ объ обманномъ повѣнчаніи меня съ дѣвицей Поцѣлуевной и о расторженіи моего съ нею брака совершившагося безъ моего вѣдома? Вотъ, почему я и об-

ратился къ вамъ съ удивившимъ васъ вопросомъ: долженъ-ли я считать себя женатымъ или холостымъ? Въ вашихъ рукахъ рѣшить—жить мнѣ или умереть?

— Зачѣмъ-же умирать?—возразилъ я.—Бракъ—дѣло житейское...

— Съ дочерью унтеръ-офицера, съ прачкой, обманомъ мнѣ навязанной?—Покорно васъ благодарю!

— Я, конечно, въ этомъ вопросѣ не судья; но скажу только, что, если вы серьезно хотите возбудить дѣло объ обманномъ васъ повѣнчаніи, безъ вашего вѣдома, какъ вы говорите,—дѣло это выйдетъ очень скандалезное для васъ, хлопотливое и весьма спорное... Такого дѣла, сколько могу припомнить, въ нашей судебной практикѣ еще не бывало... Какъ вы докажете, что въ моментъ бракосочетанія находились въ состояніи невмѣняемости?

— Докажу!—съ азартомъ воскликнулъ Перепелкинъ.—Вся Гавань можетъ засвидѣтельствовать, что я подверженъ безпамятству, вслѣдствіе нетрезвой жизни...

— Ну, какъ знаете... Угодно начинать дѣло—я обязанъ принять ваше заявленіе и произвести слѣдствіе.

— Убѣдительнѣйше прошу васъ объ этомъ!

Нечего было дѣлать, я принялъ формально претензію надворнаго совѣтника и произвелъ немедленно слѣдствіе. Показаніе моего кліента подтвердилось во всѣхъ главныхъ чертахъ: дѣйствительно, оказалось, что онъ велъ безпросыпно-пьяную жизнь и что самое бракосочетаніе его, весьма скандализовавшее гаваньскихъ моралистовъ, было совершено съ экспромта и въ такой моментъ, когда женихъ не вязалъ лыка. Разумѣется, прежде всего я подвергнулъ допросу новобрачную и, съ первыхъ же словъ ея, долженъ

былъ убѣдиться, что она менѣе всѣхъ повинна здѣсь въ умышленномъ обманѣ. Это—оказалась простодушнѣйшая, симпатичная, не лишенная миловидности, мѣщаночка, вышколенная въ суровой субординаціи «тятенькой», который могъ принудить ее сдѣлать, что ему угодно... «Тятенька» приказалъ ей снарядиться и идти подъ вѣнецъ съ совершенно незнакомымъ ей чиновнымъ пропойцей, и—она безпрекословно повиновалась, ни о чемъ не разсуждая. Всю эту надувательскую штуку устроилъ боцманъ Поцѣлуевъ—пренахальная, продувная солдатская косточка, очевидно, искусившаяся во всякаго рода темныхъ продѣлкахъ. Въ этомъ случаѣ его оправдывало нѣсколько родительское чувство, ради котораго онъ рѣшился осчастливить, по его понятію, свою дочку бракомъ съ чиновникомъ-пропріетеромъ.

Произведя слѣдствіе, я передалъ его въ подлежащую инстанцію и забылъ о немъ думать. Вдругъ, спустя мѣсяца три, является ко мнѣ снова господинъ Перепелкинъ, и—до неузнаваемости измѣнившійся: лицо трезвое и благообразное, сюртучекъ новенькій, бѣльецо бѣлоснѣжное, въ рукахъ ни слѣда предательскаго трясенія.

— Вы-ли это?—говорю, пріятно изумленный этой перемѣной.

— Я-съ,—отвѣчаетъ, стыдливо потупившись.

— Васъ узнать нельзя... Такая въ васъ счастливая перемѣна!

— Благодарю Бога... воззрилъ на меня окаяннаго!

— Очень радъ,—говорю.—Чѣмъ-же вамъ могу теперь служить?

— Я пришелъ просить васъ о прекращеніи начатаго мною дѣла, на счетъ незаконности моего бракосочетанія...

— Вотъ-те разъ! Какъ-же это? Такъ прежде настаивали и, вдругъ, теперь на попятный...

— Раздумалъ и раскаялся,—отвѣчаетъ.

— Что-же такъ?

— Да ужь такъ... Богъ благословилъ меня такой благодѣтельницей-супругой, что желаю всякому...

— Это дѣвица-то Поцѣлуева?

— Она самая-съ... Благодѣтельница, а не жена! Ей теперь я обязанъ всѣмъ, какъ вы меня видите... Вина въ ротъ не беру, занятіе нашелъ, образъ человѣческій обрѣлъ на себѣ... Все, благодаря ея любви и заботѣ... Золотая женщина!

— Вотъ и чудесно!—говорю.

— Да-съ... Пословица правду говоритъ: не знаешь, гдѣ потеряешь, гдѣ найдешь... Покорно прошу васъ прекратить мое дѣло! Мнѣ даже стыдно вспомнить о немъ.

— Да, вѣдь, теперь,—говорю,—не отъ меня это зависитъ... Дѣло пошло въ ходъ!

— Очень жаль; но, все равно, я не допущу, чтобы оно получило дальнѣйшее движеніе... Прощенія прошу!

— Желаю вамъ счастливаго успѣха!

Мы разстались, и съ той поры я ужь не встрѣчался съ этимъ чудакомъ. Знаю только, что онъ дѣло, дѣйствительно, прекратилъ и, вѣроятно, по сіе время служитъ образцомъ семейныхъ и гражданскихъ добродѣтелей для всей Галерной Гавани... Такія-то, иногда, господа, совершаются спасительныя коловратности со смертными, злоупотребляющими разрѣшеніемъ вина и елея.

Захудалый (стр. 252).

XII.

Захудалый

Однажды, лѣтъ семь-восемь тому назадъ, въ петербургскомъ окружномъ судѣ сидѣла на скамьѣ подсудимыхъ весьма странная личность, живѣйшимъ образомъ заинтересовавшая, а подъ конецъ и вполнѣ расположившая къ себѣ и немноголюдную на тотъ случай публику, и присяжныхъ, и господъ судей, и даже господина прокурора, даже жандармскаго солдатика, стоявшаго съ саблей наголо на стражѣ у рѣшетки скамьи подсудимыхъ.

Это былъ человѣкъ лѣтъ сорока, имѣвшій очень жалкій, неряшливый видъ полнѣйшей опущенности и захудалости. Его испитое, обрюзглое лицо, съ жидкой, клочковатой, точно выѣденной молью, шевелюрой и съ щетинистымъ подбородкомъ, изобличало въ немъ застарѣлаго алкоголика, что было и на самомъ дѣлѣ, и, вообще, субъекта, долго прожигавшаго жизнь самымъ безпутнымъ и непорядочнымъ образомъ (и это впечатлѣніе тоже было вполнѣ согласно съ обстоятель-

ствами дѣла). Одѣтъ былъ онъ очень плохо: на изможденныхъ плечахъ его болтался ветхій, порыжѣлый сюртучекъ съ прорванными локтями, застегнутый наглухо, никакихъ признаковъ бѣлья и на ногахъ истоптанные, нечищенные сапоженки. Словомъ, такая физіономія и такой туалетъ, которые свойственны темнымъ скитальцамъ петербургскихъ трущобъ и, при встрѣчѣ съ которыми на улицѣ, вы невольно ждете стереотипной просьбы одолжить «кельк-шозъ благородному, но несчастному человѣку».

Тѣмъ не менѣе, въ его независимой и положительно граціозной манерѣ, съ которой онъ держался, въ способѣ выражаться и въ изящномъ, литературномъ складѣ рѣчи, наконецъ, въ спокойной и часто остроумной ироніи, съ которой онъ относился къ себѣ и къ своему трагическому положенію, видѣнъ былъ человѣкъ, несомнѣнно, благовоспитанный, изъ хорошаго общества, и, притомъ, очень неглупый. Все это производило крайне рѣзкій, странный контрастъ съ неблаговидной, мизерной внѣшностью подсудимаго и съ самымъ его положеніемъ. Похоже было на то, какъ еслибы тутъ сидѣлъ закостюмированный въ нищаго принцъ, невольно выдающій себя своимъ безукоризненно-джентльменскимъ тономъ.

Это-то и заострило вниманіе жрецовъ и очевидцевъ происходившаго судилища къ подсудимому. Не мало тому способствовало также и то, что подсудимый носилъ довольно громкое имя и значился отставнымъ штабсъ-ротмистромъ гвардіи. Судился онъ за подложные векселя на сумму свыше трехсотъ рублей. Мы его будемъ звать здѣсь чрезъ литеру N., такъ какъ лицо это не вымышленное, а дѣйствительно существовавшее, можетъ, и до сихъ поръ существующее, и

все здѣсь разсказываемое почерпнуто изъ истиннаго происшествія.

— Подсудимый!—спросилъ предсѣдатель:—вы значитесь несостоятельнымъ должникомъ?

— Злостнымъ, ваше превосходительство!

— Какую сумму вы должны?

— Одинъ милліонъ семьсотъ пятьдесятъ девять тысячъ, четыреста весемьдесятъ рублей серебромъ и тридцать шесть копѣекъ мѣдью!

Всѣ присутствовавшіе сдѣлали большіе глаза, какъ еслибъ неожиданно услышали какую-нибудь неприличную и глупую шутку. Предсѣдатель даже очень строго посмотрѣлъ на N., собираясь сдѣлать ему внушеніе за неумѣстный юморъ, но, по справкѣ, оказалось, что онъ не думалъ шутить и сказалъ совершенную правду.

— По вашимъ дѣламъ имѣется конкурсъ?—продолжалъ допрашивать предсѣдатель.

— Какъ же, дѣйствуетъ въ полной формѣ!—съ усмѣшкой отвѣтилъ N.

— Стало быть, у васъ есть состояніе?

— Ровно никакого, господинъ предсѣдатель, если не считать того, что вы на мнѣ видите и, безъ сомнѣнія, съ полнымъ отвращеніемъ!

— Но, значитъ, у васъ было состояніе прежде?

— И не было никогда рѣшительно ни малѣйшаго!

— Странно!.. Какимъ-же родомъ вы могли задолжать такую огромную сумму?

— Исторія весьма обыкновенная и вовсе не такая интересная, какъ это можетъ казаться на первый взглядъ.

— Все-же, она была-бы не лишняя, въ интересѣ вашей-же защиты. Не разскажете-ли вы ее?

— Съ величайшимъ удовольствіемъ; но тогда ужь позвольте, господинъ предсѣдатель, разсказать вкратцѣ все мое прошлое. Иначе, самая исторія о моей несостоятельности не будетъ достаточно ясна и послѣдовательна.

— Разсказывайте!

N. разсказалъ, приблизительно, слѣдующее.

«Я родился въ богатствѣ и роскоши и съ самаго ранняго дѣтства воспитался въ ихъ пользованіи до такого ослѣпленія, что не могъ даже представить возможность для себя другаго, болѣе скромнаго существованія, а тѣмъ менѣе—возможность бѣдности. Можетъ быть, нѣсколько страннымъ покажется вамъ, господа судьи, если я скажу, что и въ настоящемъ моемъ, какъ говорится, бѣдственномъ положеніи, когда я прошелъ на опытѣ полный курсъ всевозможныхъ видовъ паденія, нужды и униженія, я все-таки не понимаю бѣдности и совершенно лишенъ способности примѣниться къ обстоятельствамъ, сократить себя и какъ-нибудь устроиться по-человѣчески въ границахъ честной, трудовой умѣренности... Впрочемъ, это для меня едва-ли было бы возможно, даже при искреннемъ желаніи выдти изъ того омута, въ которомъ я, вотъ, ужь много лѣтъ тону и не утопаю. Изъ этого омута нѣтъ выхода, а во мнѣ, къ тому-жь, сказать чистосердечно, нѣтъ и не было и желанія выпутаться изъ него. Но возвращусь къ началу моей исторіи.

«Отецъ мой былъ большой баринъ. Онъ слылъ за человѣка богатаго, знатнаго и расточительно-хлѣбосольнаго. Я помню, что въ нашемъ большомъ роскошномъ домѣ тол-

пился чуть не весь Петербургъ—tout le monde, на дававшихся отцомъ парадныхъ обѣдахъ и блестящихъ балахъ. Хозяйкой на этихъ пиршествахъ была моя сестра—тогда пятнадцатилѣтняя дѣвочка. Мать наша очень рано умерла и, можетъ быть, это было самое большое несчастье въ моей жизни, такъ какъ я матери почти не помнилъ. У отца насъ было только двое—я и сестра, значительно меня старшая. Она очень молодою вышла замужъ и, спустя нѣсколько лѣтъ послѣ замужества, умерла. Дѣтство мое прошло въ совершенномъ одиночествѣ. Единственный и лучшій другъ мой была старая няня. Отца я рѣдко видѣлъ; онъ весь отдавался свѣтской, суетной жизни, но ничего не жалѣлъ для меня и для моего воспитанія. Мальчикомъ, семивосьми лѣтъ, я уже имѣлъ, какъ-бы, свой маленькій дворъ—изъ толпы слугъ, гувернеровъ, учителей; у меня былъ свой экипажъ, были свои лошади, своя «половина» въ домѣ; всѣ мои желанія и прихоти исполнялись безпрекословно, по первому требованію. Словомъ, я росъ и воспитывался, какъ дофинъ какого-нибудь владѣтельнаго герцогства.

«О состояніи и объ источникахъ моего отца я никогда ничего въ точности не зналъ и до сихъ поръ не могу составить себѣ яснаго представленія—съ чего онъ жилъ и какъ изворачивался? Правда, у него были здѣсь дома, были роскошныя загородныя дачи, было какое то, совершенно для меня миѳическое, «черноземное» имѣніе; но получавшійся со всего этого состоянія доходъ представлялъ не болѣе, какъ каплю въ нашемъ огромномъ, расточительномъ бюджетѣ.

«Отецъ до конца, то есть, до своей смерти, не мѣнялъ порядка и образа жизни, всегда выдерживалъ тонъ, всегда

былъ веселъ и беззаботенъ; однакожь, изрѣдка и на мои дѣтскіе глаза кидались кое-какіе признаки затруднительнаго положенія отца. Никогда не забуду слѣдующую, очень поразившую меня, сцену.

«Было мнѣ тогда лѣтъ восемь или девять. Разъ, утромъ, когда я только-что сталъ просыпаться и нѣжился въ постели съ закрытыми глазами, въ спальню ко мнѣ вошелъ отецъ въ шлафрокѣ. Со мной въ одной комнатѣ спала моя старая няня, давно уже въ ту минуту вставшая и одѣвшаяся.

«Отецъ вошелъ къ намъ, точно крадучись, очевидно, не желая меня разбудить, взглянулъ на меня мелькомъ и обратился къ нянѣ. Приходъ его заставилъ меня открыть глаза, но не помню—изъ-за какого дѣтскаго соображенія—я не хотѣлъ показать, что проснулся, и, притворяясь спящимъ, внимательно, полураскрытыми глазами, слѣдилъ за отцомъ и съ такимъ же вниманіемъ вслушивался въ его разговоръ съ няней. Онъ вполголоса сталъ ее спрашивать обо мнѣ и о моемъ здоровьи. Няня отвѣчала, но я замѣтилъ, что лицо у нея сдѣлалось сухое и строгое. Отецъ какъ-то, вдругъ, замялся и сконфуженно сказалъ почти шепотомъ:

— Нянюшка! а я къ тебѣ, милая, съ просьбой.

— Что прикажете, баринъ батюшка?—отвѣчала няня холодно.

— Есть у тебя еще деньги?.. Я знаю, что есть...

— Какія-жь, батюшка, у меня деньги?—Что было, вамъ же отдала...

— Ну, ты, пожалуйста, не безпокойся, и — прошу тебя—дай мнѣ еще рублей двадцать пять... Христа ради!

— Не знаю, найдутся-ли?—ворчливо сказала няня, отправилась къ себѣ за ширму, щелкнула замкомъ въ своемъ комодѣ, долго что-то копалась и, наконецъ, вынесла старенькую двадцатипятирублевую бумажку.

«Все время, пока она возилась, отецъ безпокойно ходилъ по комнатѣ, мягко шлепая своими туфлями. Я пристально слѣдилъ за нимъ и лицо его меня поразило. Никогда прежде я не видѣлъ на немъ такого выраженія. Отчаянье, стыдъ и какая-то мучительная тревога—все здѣсь было, въ этомъ новомъ для меня выраженіи. Мнѣ до боли стало его жалко и я чуть не заплакалъ, глядя на его лицо.

— Сколько-же я теперь буду долженъ тебѣ, няня?—спросилъ отецъ, взявъ ассигнацію и торопливо скомкавъ ее въ рукѣ.

— Да сотни, чай, двѣ наберется,—озабоченно отвѣтила няня.

— Ну, будь спокойна: я тебѣ возвращу вдвое!—сказалъ отецъ, ласково похлопавъ старуху по плечу, и быстро удалился, какъ-бы стыдясь дольше у насъ оставаться.

Едва онъ вышелъ, какъ я вскочилъ и, усѣвшись на своей кроваткѣ, со слезами въ горлѣ воскликнулъ:

— Няня, зачѣмъ здѣсь былъ папа? Что это у васъ такое?

— Да что такое?—раздражительно и обидчиво возразила няня.—Раззоритель твой папа... Вотъ что такое!

— Какъ, раззоритель?

— А то какъ-же! Весь измотался самъ и теперь у бѣднаго человѣка кровную копѣйку выжиливаетъ... Хорошо это?

«И тутъ няня поразсказала мнѣ такія вещи о нашемъ раззореніи, что у меня на головѣ дыбомъ волосы встали.

Оказалось, напримѣръ, что онъ долженъ всей прислугѣ въ домѣ и мало того: если у кого изъ прислуги завелась копѣйка про черный день, онъ забираетъ ее въ долгъ. Хотя я былъ тогда еще ребенокъ, но я понялъ, что, когда такой баринъ, какъ мой отецъ, унижается до долговыхъ заимствованій у своей прислуги, значитъ — положеніе его отчаянное и ужасное.

«Къ сожалѣнію, мой отецъ какъ-то избѣгалъ окончательной катастрофы и ни разу не раззорялся до тла, до ликвидаціи. Я объ этомъ теперь искренно жалѣю, потому что, случись это въ моемъ дѣтствѣ, жизнь моя сложилась-бы иначе, потому что и воспитаніе я получилъ-бы болѣе разумное, болѣе соотвѣтствовавшее моему настоящему положенію.

«Отецъ умѣлъ какъ-то выворачиваться изъ самыхъ трудныхъ обстоятельствъ, благодаря, отчасти, особенному своему счастью. То неожиданно наслѣдство получитъ, то, пользуясь связями, подхватитъ какой-нибудь выгодный подрядъ или концессію. Потомъ люди, близко его знавшіе, говорили мнѣ, что онъ за свою жизнь прожилъ нѣсколько огромныхъ состояній, да и въ ту минуту, когда я осиротѣлъ, я былъ увѣренъ, что онъ мнѣ оставилъ богатое наслѣдство.

«Я получилъ, такъ-называемое, блестящее воспитаніе и восемнадцатилѣтнимъ мальчикомъ началъ, такъ называемую, блестящую карьеру свѣтскаго молодаго человѣка. Я поступилъ въ щегольской гвардейскій кавалерійскій полкъ, въ которомъ могли служить только люди состоятельные. Ради этого и чтобы я могъ поддержать достоинство нашей фамиліи, отецъ ассигновалъ мнѣ въ годъ двѣнадцать тысячъ на карманные, такъ сказать, расходы, потому что

я продолжалъ жить у него въ домѣ, на его-же счетъ. На первыхъ-же порахъ оказалось, однако, что двѣнадцати тысячъ очень мало для того, чтобы не отставать отъ товарищей въ блескѣ и размахѣ холостаго бонвиванства и щегольства, съ безумно расточительными тратами на кутежи и карты, на танцовщицъ и каскадныхъ француженокъ. Когда я потребовалъ у отца увеличенія моего оклада, онъ отказалъ, добавивъ, что ему трудно давать мнѣ и то, что онъ даетъ. Я ему не повѣрилъ, но не настаивалъ и, съ беззаботностью молодаго сибарита, началъ восполнять мой бюджетъ долгами.

«Кутящимъ молодымъ людямъ, представителямъ jeunesse dorée, у которыхъ родители богатые или, по крайней мѣрѣ, слывутъ за богатыхъ, не трудно дѣлать долги. Существуютъ особые ростовщики, которые спеціально ведутъ дѣло съ такого сорта юношами, отлично знаютъ общественное и матеріальное положеніе каждаго изъ нихъ, слѣдятъ внимательно за ихъ жизнью и карьерой и въ точности изучаютъ степень вѣроятія предстоящихъ каждому изъ нихъ въ будущемъ наслѣдствъ и всякихъ благъ. Если справки такого рода, на ихъ взглядъ, удовлетворительны, тогда они охотно открываютъ своимъ кліентамъ кредитъ, даже сами напрашиваются иногда съ одолженіями; но горе молодому повѣсѣ, попавшему въ лапы этихъ благодѣтелей! Тѣ условія и обязательства, на которыхъ они даютъ деньги, совершенно неслыханны, невозможны, и принятіе ихъ на себя можно объяснить только полнѣйшимъ сумасбродствомъ.

«Скажу о себѣ, господа судьи. Въ двадцать три года я уже былъ долженъ болѣе трехсотъ тысячъ, хотя, по совѣсти, могу сказать, что въ дѣйствительности я не получилъ и десятой доли этой суммы. Петля затягивается здѣсь

чрезвычайно просто и исподоволь. Обыкновенно, за каждый взятый въ долгъ рубль выдается обязательство въ нѣсколько рублей, въ видѣ, какъ-бы, ручательства за аккуратную плату въ срокъ, то есть, если заплатите въ срокъ, то кредиторъ обѣщаетъ не требовать излишне вписанной суммы; не заплатили—вексель дѣлается для васъ обязательнымъ во всей своей суммѣ. Этого мало. Большею частью, разумѣется, кутящій молодой человѣкъ не соблюдаетъ сроковъ; тогда ему начинаютъ угрожать взысканіемъ, избѣжать которое представляется одинъ выходъ—переписка векселей. Это значитъ, что къ первоначальной суммѣ долга вы вынуждены, въ видѣ преміи за отсрочку, приписать еще новую фиктивную сумму, какую Богъ на душу положитъ кредитору.

«Вотъ такою, именно, перепискою векселей я и занимался, господа судьи, всю мою жизнь и въ ней, главнымъ образомъ, объясненіе той страшной цифры моего долга, которая привела васъ въ недоумѣніе! Повѣрьте, что изъ моего почти двухмилліоннаго долга черезъ мои руки проскользнуло много-много—тысячъ пятьдесятъ. Все остальное—дутая, фиктивная цифра, образовавшаяся изъ приписокъ и переписокъ, которыя я, съ своей стороны, давалъ направо и налѣво съ полнѣйшей беззаботностью.

«Я, господа судьи, не оправдываюсь; я только указываю вамъ путь, посредствомъ котораго запутываются подобные мнѣ, сумасброды, и создаются эти, ошеломляющія глазъ, милліонныя несостоятельности, на самомъ дѣлѣ совершенно эфемерныя. Могу только одно сказать себѣ въ извиненіе, что, когда я начиналъ дѣлать долги, я былъ увѣренъ, что заплачу ихъ въ будущемъ, получивъ наслѣдство отъ отца, въ реальности котораго я не сомнѣвался; но въ этомъ я

жестоко ошибся и—отсюда начинается мое безнадежное, невозвратное паденіе. Замѣчу, при этомъ, что отецъ такъ искусно поддерживалъ свой престижъ и маскировалъ истинное положеніе своихъ дѣлъ, что даже проницательные по этой части кредиторы были введены въ заблужденіе—иначе, конечно, они не стали бы давать мнѣ денегъ.

«Смерть моего отца случилась внезапно, и—тутъ только открылись у меня глаза на всю глубину нашего раззоренія! Когда были приведены въ извѣстность его дѣла, то оказалось долговъ на нѣсколько сотъ тысячъ больше, чѣмъ осталось состоянія. Мнѣ посовѣтовали отказаться отъ наслѣдства, и—я это сдѣлалъ; но отъ этого положеніе мое не стало лучше.

«Я вдругъ, мгновенно, со смертью отца, остался рѣшительно безъ всякихъ средствъ и съ огромнымъ личнымъ долгомъ, въ нѣсколько сотъ тысячъ, который теперь дѣлался, дѣйствительно, злостнымъ. Выходило такъ, что я должалъ, завѣдомо зная, что мнѣ не изъ чего будетъ заплатить. Кредиторы мои пришли въ отчаяніе и съ ожесточеніемъ на меня накинулись...

«Чѣмъ я могъ ихъ удовлетворить? Однимъ только:—перепиской моихъ обязательствъ, и я на этотъ счетъ былъ щедръ безгранично. Но тутъ я долженъ, господа судьи, разсказать объ одномъ свѣтломъ и, въ то-же время, тяжеломъ эпизодѣ въ моей жизни, который до сихъ поръ и до слезъ меня трогаетъ и лежитъ камнемъ на моей душѣ.

«Незадолго до смерти отца, я посватался къ одной прекрасной, милой дѣвушкѣ изъ хорошаго и довольно состоятельнаго семейства. Исканіе мое было принято и уже была назначена наша свадьба. Я любилъ и былъ любимъ...

впереди мнѣ улыбалось счастье, и я весь жилъ въ будущемъ, разсчитывая покончить съ холостымъ безпутствомъ и посвятить всего себя женѣ, семейству и заботамъ о нашемъ гнѣздѣ. Но, когда умеръ отецъ и надо мной разразилась катастрофа раззоренія, я съ болью долженъ былъ передъ собою сознаться, что свадьба моя теперь невозможна, что связать съ собою молодую, едва разцвѣтшую жизнь въ то время, когда я онозоренъ, какъ злостный банкротъ, лишился служебной карьеры и ношу на своей шеѣ мертвую петлю кабалы у хищныхъ ростовщиковъ,—было бы просто безчестно. Въ этомъ смыслѣ я написалъ письма моей невѣстѣ и ея родителямъ, возвратилъ ей обручальное кольцо и считалъ это дѣло поконченнымъ, хотя покончить съ нимъ мнѣ стоило такой душевной ломки и такихъ страданій, какихъ ни прежде, ни послѣ я никогда не переживалъ. Когда во мнѣ созрѣло это рѣшеніе, я почувствовалъ, что съ этой минуты я потерялъ все, что мнѣ было дорого, что въ жизни моей не осталось больше никакого смысла и—она вовсе не нужна даже мнѣ самому... Я серьезно подумывалъ о самоубійствѣ и теперь не помню—что помѣшало мнѣ тогда всадить себѣ пулю въ лобъ. Такое отчаяніе вы поймете, когда я скажу, что рѣшеніе мое было безповоротное и—другаго исхода я и допустить не могъ, еслибы даже онъ былъ предложенъ со стороны моей невѣсты и ея родныхъ. Исходъ такой могъ стоить для нихъ огромнаго самопожертвованія, котораго я никогда-бы не принялъ.

«Необходимо добавить, что въ тѣ роковыя для меня минуты позоръ мой былъ доведенъ до послѣдней крайности. Я былъ исключенъ изъ полка и засаженъ въ долговую тюрьму однимъ изъ кредиторовъ, руководившимся, какъ по-

томъ оказалось, адскимъ разсчетомъ. Безнадежность моя была полная, и, при этомъ, я одинаково боялся и того, чтобы моя невѣста, узнавъ о моемъ паденіи, не поторопилась малодушно предупредить своимъ отказомъ мой отказъ, и того, чтобы она, въ порывѣ великодушія, не вздумала приносить мнѣ себя въ жертву... Я хотѣлъ сохранить въ душѣ ея дорогую память, ея образъ,—такимъ яснымъ, чистымъ и благороднымъ, какимъ я его любилъ. Но—кто-бъ могъ ожидать?—незабвенная, чудная дѣвушка рѣшилась для меня на такой подвигъ, о которомъ я и теперь не могу безъ слезъ вспомнить.

«Когда, со смертью отца, надо мной стряслась бѣда и кредиторы мои увидѣли, что въ данную минуту съ меня взятки гладки, то нѣкоторые изъ нихъ, наиболѣе алчные и находчивые, пустились всячески развѣдывать—не предстоитъ-ли мнѣ хотя въ будущемъ откуда-нибудь какого ни на есть наслѣдства или иного полученія? Натурально, имъ жаль было потерять свои деньги и, подъ вліяніемъ этой паники, они напряженно изыскивали способы вернуть свое и выжать изъ меня все, что только можно было выжать.

«Развѣдки въ области моей будущности не могли имъ особенно многаго обѣщать. Хотя у меня, дѣйствительно, были родственники съ состояніемъ, но я имѣлъ очень мало основаній разсчитывать получить отъ нихъ что-нибудь. Тогда одинъ изъ главныхъ моихъ кредиторовъ, котораго вы, господа судьи, видите въ настоящую минуту здѣсь передъ собою въ ряду свидѣтелей, вызванныхъ обвиненіемъ противъ меня... Пусть этотъ господинъ не безпокоится: если только онъ не изобличитъ себя самъ краской стыда на своемъ лицѣ,—я его не выдамъ и имени его не назову,

такъ какъ и не помышляю звать его къ отвѣту... Въ то время, говорю, когда обнаружилась круглая моя безнадежность, этотъ-то, вотъ, почтенный мой кредиторъ и придумалъ такую остроумную махинацію, воспоминаніе о которой и до сихъ поръ приводитъ меня въ волненіе.

«Развѣдалъ онъ о томъ, что я посватался, что у меня есть невѣста и я уже помолвленъ съ нею. Были, конечно, собраны справки и о состояніи родныхъ моей невѣсты, и объ ея приданомъ. Вооружившись всѣми этими свѣдѣніями, является ко мнѣ господинъ кредиторъ и съ перваго разу начинаетъ очень грозно наступать... Все это у него выходило по тонко разсчитанному стратегическому плану... И страхъ долговой тюрьмы, и перспектива злостнаго банкротства—все своевременно было пущено въ ходъ.—«Что-жь?—говорю:—дѣлайте со мною, что хотите!»... Тогда мой грозный заимодавецъ сталъ понемногу смягчаться и миролюбиво кончилъ такимъ снисходительнымъ для меня предложеніемъ:—онъ будетъ терпѣливо ждать уплаты моего долга, онъ готовъ даже, если мнѣ нужно, снабдить меня еще нѣкоторой суммой на свадебные расходы, напримѣръ, ибо онъ слышалъ, что я женюсь, но все это подъ однимъ маленькимъ, совершенно пустячнымъ условіемъ—пусть на моихъ, вновь переписанныхъ, векселяхъ поручатся родители моей невѣсты или хотя-бы она одна... Я—человѣкъ ровнаго характера и никогда не позволялъ себѣ грубостей съ кѣмъ-бы то ни было; но тутъ, услышавъ этотъ ultimatum, я вышелъ изъ себя и очень рѣзко отвѣтилъ моему искусителю, оскорбившему меня самымъ предположеніемъ, что я способенъ пойти на такую подлость... Тогда во мнѣ еще были свѣжи всѣ такія понятія порядочности и добрыя чув-

ства; я далекъ еще былъ той ступени паденія, на которой теперь вы, господа судьи, меня видите...

«Я думалъ, что на этомъ и кончился остроумный замыселъ моего кредитора; но онъ, къ несчастью, оказался человѣкомъ систематическимъ и упрямымъ. Повелъ онъ подкопы подъ меня очень дѣятельно, такъ что я вскорѣ долженъ былъ оставить полкъ и переѣхать на даровую квартиру въ долговую тюрьму. Я этого ждалъ и покорился моей участи безпрекословно. Тяжело мнѣ было только, какъ я уже говорилъ, отказаться отъ счастья вступить въ бракъ съ любимой дѣвушкой, на разрывъ съ которой я тогда уже окончательно рѣшился и въ этомъ смыслѣ распорядился, ничего не подозрѣвая о производившейся въ ту самую минуту механикѣ моего кредитора.

«Разъ меня позвали въ пріемный залъ долговой тюрьмы, сказавъ, что меня желаетъ видѣть какая-то дама. Вхожу и, съ чувствомъ невыразимой радости и мучительной тревоги въ то-же время, нахожу мою возлюбленную невѣсту, несравненную мою Мери... Блаженство этой встрѣчи я не стану разсказывать, потому что, и безъ того, вижу, что въ моемъ «показаніи» впадаю въ нѣкоторый лиризмъ, который прошу васъ мнѣ извинить...

— Зачѣмъ вы здѣсь?—спрашиваю я мою невѣсту, послѣ обмѣна привѣтствій.

— Странный вопросъ!—отвѣтила она, пожавъ плечами.— Затѣмъ прежде всего,—сказала она трогательнымъ тономъ искренней обиды,— чтобы спросить васъ, какъ смѣли вы писать мнѣ и моимъ родителямъ такія гадкія, малодушныя письма, какъ смѣли вы такъ дурно думать обо мнѣ—ду-

мать, что я откажусь отъ даннаго вамъ слова послѣ того, какъ у васъ не оказалось состоянія?

— Я въ восторгѣ отъ вашего великодушія, Мери,— возразилъ я,—но, къ сожалѣнію, вы не знаете всего: у меня не только нѣтъ состоянія, я не только совершенный бѣднякъ—что меня не пугало-бы и не заставило-бы еще отказаться отъ васъ, но я теперь человѣкъ опозоренный, на всю жизнь закабаленный,—развѣ чудомъ какимъ можно было-бы освободиться мнѣ отъ лежащей на моей шеѣ мертвой петли.

— Будто-бы?—съ наивнымъ лукавствомъ удивилась она.—Будто-бы безъ чуда тутъ и спасенія нѣтъ?—Тогда,— продолжала она съ милой торжественностью,—вы должны будете признать меня волшебницей, своей феей... Я пришла сказать вамъ, что вы свободны!

Я былъ пораженъ. Значитъ, чего я боялся—то и случилось!

— Какъ такъ?—воскликнулъ я.—Что такое вы сдѣлали?

— А очень просто: взяла волшебную палочку, махнула ею три раза въ воздухѣ и—чудо совершилось!

— Мери, оставимте шутки...

— Да, оставимте шутки, и извольте, сударь, уходить отсюда, скорѣе уходить, сейчасъ-же, сію минуту! Мнѣ больно и противно даже думать, что вы здѣсь... сидите,—брезгливо оглянулась она на стѣны тюремнаго зала.

— Уйти для того, чтобы завтра снова сюда возвратиться... Покорно благодарю! съ горькой ироніей возразилъ я.—Вотъ почему, къ сожалѣнію, я лишенъ отрады и благодарить васъ за то,—продолжалъ я въ томъ же тонѣ,— что вы меня выкупили, такъ такъ, конечно, въ этомъ и

заключается ваше волшебство. Затѣмъ, позвольте васъ спросить—кто вамъ далъ право приносить мнѣ эту жертву? Или вамъ мало показалось одной петли на моей шеѣ, и вы обязательно прибавили къ ней отъ себя другую... Вѣдь, я никогда и ничѣмъ не буду въ состояніи отплатить вамъ за ваше непрошенное великодушіе, за ваше ненужное и напрасное освобожденіе меня отсюда? Захотѣли вы быть благодѣтельной феей, а, вмѣсто того, вы только ухудшили мою безнадежную участь, вы влили въ мою горькую чашу лишнюю каплю самой ѣдкой отравы, потому что ко всѣмъ моимъ терзаніямъ прибавили новое и самое оскорбительное—всю жизнь сознавать себя неблагодарнымъ... Да, вы найдете себѣ награду въ гордости отъ принесенной жертвы, отъ сдѣланнаго подвига... Вы этого хотѣли и достигли цѣли, но убѣдительнѣйше прошу васъ—пусть это будетъ въ послѣдній разъ... Для меня слишкомъ, слишкомъ довольно и одного опыта служить объектомъ вашего великодушія и человѣколюбія.

«Я понималъ всю грубость, всю жестокость моихъ словъ; когда я ихъ высказывалъ съ разсчитанной холодностью и язвительностью, у меня сердце разрывалось отъ боли и отъ благоговѣйной любви къ этой прекрасной дѣвушкѣ; но, по долгу чести и совѣсти, какъ я его понималъ, я долженъ былъ во что-бы то ни стало порвать эту дорогую для меня связь и, чтобы этого достигнуть, старался вооружить противъ себя Мери, заставить ее почувствовать ко мнѣ негодованіе и отвращеніе... Самоотверженное усердіе свое я довелъ до того, что позднѣе нѣсколько, когда увидѣлъ, что моя невѣста остается неколебимой въ своемъ великодушномъ намѣреніи раздѣлить мою злую судьбу, я ей

грубо и наотрѣзъ сказалъ, что не люблю ее и никогда не любилъ. Эта ложь оказала дѣйствіе, и—мы разстались навсегда...

«Въ этомъ грустномъ для меня эпизодѣ, кредиторъ мой, о которомъ я говорилъ, игралъ, въ нѣкоторомъ родѣ, роль какъ-бы режиссера и достигъ того, чего хотѣлъ. Удостовѣрившись, что я ни за что не соглашусь искать поручительства по моимъ векселямъ у невѣсты и ея родныхъ, господинъ этотъ посадилъ меня въ долговую тюрьму съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы вызвать состраданіе ко мнѣ въ любящей меня дѣвушкѣ. Онъ нашелъ случай повидаться съ ней, тронулъ ея сердце моей печальной участью и натолкнулъ ее на великодушную мысль сдѣлаться моей освободительницей. Она выпросила у родителей часть своего приданнаго и выкупила меня, какъ я уже сказалъ; но этимъ путемъ былъ удовлетворенъ только одинъ изъ моихъ кредиторовъ, и великодушная жертва моей невѣсты, дѣйствительно, не только не улучшила, но еще ухудшила мое положеніе и причинила мнѣ много лишнихъ нравственныхъ страданій..

«Выкупленный на свободу, я пользовался ею очень недолго. Другіе кредиторы, увидѣвъ удачный опытъ своего товарища, бросились его повторять, и мнѣ стоило большихъ хлопотъ противодѣйствовать ихъ возмутительнымъ поползновеніямъ эксплоатировать мою бывшую невѣсту и ея семью, надоѣдать имъ, преслѣдовать ихъ...

«Послѣ того, какъ произошелъ окончательный мой разрывъ съ невѣстой и въ моей жизни какъ-бы исчезъ послѣдній просвѣтъ, я совершенно пересталъ заботиться о себѣ и думать о своемъ будущемъ. Мною овладѣло полное равнодушіе и пренебреженіе къ себѣ. Я сознавалъ, что судьба моя разъ навсегда испорчена и что какая-бы напасть меня не постигла впереди—хуже мнѣ оттого уже не станетъ.

«Въ этомъ состояніи, я началъ искать успокоенія и забвенія въ винѣ, къ злоупотребленію которымъ прежде я никогда не имѣлъ наклонности. Я началъ пить и такъ какъ я постоянно нуждался, то пилъ исключительно простое вино, водку, и вскорѣ дошелъ до того, что пересталъ стыдиться ходить въ кабаки и грязные трактиры и водить въ нихъ компанію съ такими-же, какъ я, потерянными пропойцами и со всякимъ темнымъ, трущобнымъ людомъ. Паденіе мое совершилось быстро и безповоротно!

«Кредиторы меня оставили было, но, къ несчастью, нѣкоторые изъ нихъ пронюхали, что сюда пріѣхала одна изъ моихъ тетокъ—старая бездѣтная вдова, имѣющая довольно значительное состояніе, которое она вольна завѣщать кому угодно изъ своихъ родныхъ; слѣдовательно, можетъ завѣщать его и мнѣ. И, вотъ, начинается новая жалкая комедія, въ которой я игралъ—каюсь—вполнѣ презрѣнную роль. Кредиторы мои задумали подставить меня тетушкѣ съ тѣмъ, чтобы я снискалъ ея расположеніе, въ разсчетѣ получить отъ нея наслѣдство или хоть что-нибудь. Они меня вытрезвили, снарядили и направили къ тетушкѣ. Она

обо мнѣ была уже наслышана, и приняла меня не очень ласково, а когда я, послѣ нѣсколькихъ визитовъ, заикнулся о помощи, дала мнѣ нѣсколько рублей и просила, чтобы я пересталъ безпокоить ее моими посѣщеніями. Женщина она оказалась мнительная и скупая, да и съ какой стати стала бы она сорить на меня деньги?

«Кредиторы мои на этой неудачѣ не успокоились и нашлись между ними изобрѣтатели, которые своими внушеніями и довели меня, наконецъ, до преступленія. Я, господа судьи, ихъ не виню и себя не оправдываю, но чистосердечно сознаюсь, что мнѣ самому и въ голову не пришлобы пуститься въ сочиненіе тѣхъ документовъ, за которые вы меня теперь судите. Неощутительно я былъ приведенъ къ мысли, что если позволю себѣ выдать нѣсколько векселей съ фальшивыми бланками тетки, то она не захочетъ меня погубить и заплатитъ по нимъ. Тѣ, кто бралъ у меня эти векселя, очень хорошо знали о подложности ихъ бланковъ...

«Зато и платили мнѣ за нихъ удивительныя цифры! Право, я не преувеличиваю:—мнѣ случалось выдавать подобныя обязательства, въ нѣсколько сотъ рублей, просто-напросто за дешевое угощеніе! Томимый моей страстью къ водкѣ, я самъ иногда предлагалъ выдать какой угодно вексель за бутылку «очищенной»... Словомъ, начавъ эту фабрикацію, съ полной беззаботностью человѣка опустившагося и равнодушнаго къ своей судьбѣ, я вскорѣ надавалъ этого рода векселей, съ подложными подписями и бланками моей тетки, безсчетное количество. Тогда мои кредиторы попробовали реализировать эти «цѣнныя бумаги» и адресовались къ теткѣ, но сразу-же опытъ не удался... Тетка объявила векселя подложными и отказалась платить. Опыть повели

дальше, въ надеждѣ, что, когда меня потянутъ къ слѣдователю и погрозятъ тяжкой карой за подлогъ, тетушка смягчится, сжалится и выручитъ меня изъ бѣды; но тетушка не сжалилась и—хорошо сдѣлала...

«Вотъ какимъ путемъ, господа судьи, я пришелъ къ моему преступленію, которое является, въ сущности, только лишь звеномъ въ длинной цѣпи моей, съ дѣтства, какъ вы видѣли, испорченной жизни. Я все сказалъ».

СВЯТОЧНЫЕ РАЗСКАЗЫ.

I.

Дѣтская логика.

Ровно тысяча восемьсотъ восемьдесятъ второй разъ всходитъ на темномъ небѣ надъ грѣшною землей та самая вечерняя заря, такая-же неизмѣнно ясная, тихая, ласково сверкающая голубыми лучами, что освѣтила въ Галилеѣ деревенскія ясли, въ которыхъ родился на свѣтъ Божественный Младенецъ, предназначенный водворить свое царство надъ міромъ—царство любви и блага...

Ярко свѣтитъ неугасаемая вечерняя заря, чистая и кроткая, еще ярче сіяетъ царственный искупительный вѣнецъ надъ дивнымъ образомъ Богочеловѣка, признаннаго человѣчествомъ, ставшаго его символомъ и идеаломъ, а—гдѣ-же царство любви, мира и счастья?

Гдѣ?.. Чудная легенда—удивительно простая и понятная, но, въ то-же время, вотъ уже тысяча восемьсотъ восемьдесятъ второй разъ остающаяся все такой-же загадочной, непостижимой и неосуществимой, какою она была и въ первый разъ при своемъ божественномъ вочеловѣченіи!

И кто-же, умудренный вѣкомъ трезваго реализма и матеріализма, задумывается еще надъ ней и пытается ее разрѣшить? Прекрасная легенда оставлена для однихъ дѣтей. Она для нихъ доступна, сродна ихъ младенческому уму и, притомъ, нравоучительна... Пусть вдохновляются и поучаются! Но бываютъ странныя дѣти, которыя принимаютъ легенду за живое дѣло и видятъ въ ней заразительный примѣръ, настойчиво требующій дѣятельнаго подражанія...

* * *

— Мама, такъ это та самая вечерняя зорька?

— Да, мой другъ, та самая. Она также свѣтила, когда родился въ ясляхъ младенецъ—Христосъ, и на ея свѣтъ пришли пастухи и поклонились ему... Она показала имъ, гдѣ Его искать; потомъ пришли, по ея-же указанію, цари...

— Значитъ, она и намъ показываетъ теперь Христа?

— Безъ сомнѣнія, показываетъ и напоминаетъ намъ и всѣмъ людямъ, что въ этотъ вечеръ Онъ родился для спасенія людей... Оттого у насъ и праздникъ нынче.

— И у всѣхъ праздникъ сегодня?

— У всѣхъ.

— Значитъ, и у всѣхъ дѣтей будетъ елка нынче?

— У всѣхъ не можетъ быть.

— Почему-же, мама?

— Потому, мой другъ, что есть бѣдныя дѣти...

— Развѣ Христосъ не любитъ бѣдныхъ дѣтей?

— Напротивъ: бѣдныхъ, убогихъ, вообще, Онъ особенно любитъ...

— Почему-же у нихъ не будетъ елки?

— Ну, это долго разсказывать, мой мальчикъ...

— Мама, я люблю Христа, я хочу, чтобы онъ меня любилъ и, если онъ любитъ бѣдныхъ, я не хочу быть богатымъ, мнѣ не нужно елки...

— Ахъ, ты глупый, глупый! Вѣдь бѣдные вовсе не хотятъ быть бѣдными... И бѣдныя дѣти тоже хотѣли-бы, чтобы у нихъ сегодня была елка; но имъ не откуда ее взять.

— Отчего-же богатыя дѣти не позовутъ ихъ къ себѣ

— Всѣхъ позвать нельзя...

— Мама, позовемъ прачкиныхъ дѣтей.

— Ну, вотъ еще какія глупости выдумалъ... Очень нужно связываться съ какими-то замарашками!

Мамаша разгнѣвалась и больше не стала бесѣдовать съ фантазеромъ-сыномъ.

Онъ остался одинъ у окна. Сложивъ руки на подоконникъ и склонивъ на нихъ кудрявую головку, онъ вдумчиво и благоговѣйно устремилъ глаза на сіявшую въ темнѣющей синевѣ вечерняго неба яркую зорю... Въ ея мерцаньи и игрѣ лучей чудилась дѣтской душѣ та тихая радость, та кроткая, безпредѣльная любовь, которыми возвѣстилъ свое пришествіе добрый, милосердный Христосъ—другъ бѣдныхъ дѣтей. Въ живой, впечатлительной памяти мальчика быстро пробѣгали уже разсказанныя ему и самимъ прочитанныя трогательныя страницы чудесной легенды. Вотъ Онъ учитъ и на собственномъ примѣрѣ показываетъ, какъ нужно любить ближнихъ и всѣмъ жертвовать для нихъ; вотъ Онъ страдаетъ за нихъ, принимаетъ мученическій вѣнецъ и испускаетъ духъ на крестѣ, опозоренный, оклеветанный, безвинно осужденный, и все это за то только, что Онъ любилъ людей и училъ ихъ любви...

А вѣщая зорька на небѣ сіяетъ все ярче и выразительнѣе и, кажется, какъ будто манитъ къ себѣ и хочетъ повѣдать отзывчивой дѣтской душѣ о томъ, какъ она зажглась неугасимыми лучами радости и счастья, ставъ свидѣтельницей рожденія живаго Бога на землѣ.

Сильно бьется маленькое сердце въ сжатой груди, взволнованной обоятельными образами дивной легенды, и неощутительно исчезаетъ въ дѣтскомъ, мистическомъ сознаніи раздѣлительная грань между этими увлекательными образами и знакомой, скучной дѣйствительностью... Выше и выше, на незримыхъ крыльяхъ, волшебной силой взлетаетъ дѣтская, чистая душа, несется по небесной лазури и—вотъ, вотъ,—поцѣлуется съ бѣгущей на встрѣчу очаровательно-милой зорькой... Ахъ, еслибъ не разминуться!

* * *

— Жоржъ меня сегодня очень озадачилъ... Представь, сталъ отказываться отъ елки потому только, что есть-де бѣдныя дѣти, которыя ея не будутъ имѣть, а потомъ сталъ просить, чтобы мы позвали на свою елку прачкиныхъ дѣтей... Каково?

— Онъ, вообще, очень нервный мальчикъ... Сильныя впечатлѣнія для него вредны!

Такой діалогъ, по поводу маленькаго героя этой маленькой правдивой повѣсти, произошелъ между его родителями вечеромъ въ сочельникъ, передъ тѣмъ, какъ позвать дѣтей на устроенную и зажженную для нихъ елку.

Петръ Семеновичъ и Анна Ивановна Троицкіе, люди интеллигентные и достаточные, были очень чадолюбивыми родителями. Богъ наградилъ ихъ цѣлой кучей ребятъ, и они

не щадили ни себя, ни средствъ, чтобы какъ можно лучше ихъ воспитать и доставить имъ всякія удобства и выгоды барской комфортабельной жизни. Оттого всѣ дѣти были у нихъ здоровыя, розовыя, веселыя и благонравныя. Одинъ только средній сынокъ, восьмилѣтній Жоржъ, внушалъ имъ порой тревогу. Вопервыхъ, онъ былъ ненадежнаго здоровья— блѣдный, худенькій, и часто недомогалъ; но въ особенности возбуждалъ опасенія его странный, не подѣтски меланхолическій нравъ. Онъ всегда о чемъ то думалъ, забравшись куда нибудь въ уголокъ, чуждался дѣтскихъ игръ и, въ то время, какъ другія дѣти съ восторгомъ принимали родительскіе подарки и ласки, онъ относился къ нимъ довольно холодно, чѣмъ особенно огорчалась Анна Ивановна... Любилъ онъ только слушать отъ старой няни сказки и читать книги, какія ему попадались подъ руки. Всего-же болѣе пристрастился онъ къ священной исторіи и перечиталъ ее нѣсколько разъ.

Теперь, по случаю сочельника и праздничной елки, Жоржъ не измѣнилъ своему нраву, но принялъ весьма дѣятельное участіе въ расхищеніи елочныхъ подарковъ и лакомствъ, даже обнаружены были случаи, гдѣ онъ пытался стащить ихъ у братьевъ и сестеръ, что было въ немъ совершенно ново.

Анна Петровна хотѣла было наказать его за это, но Петръ Семеновичъ воспротивился.

— Оставь, ma chère,—мудро замѣтилъ онъ ей.— Очевидно, изъ Жоржа выйдетъ отличный хозяинъ... Смотри, все, что онъ прибралъ къ рукамъ, онъ тщательно припрятываетъ въ сумку и самъ ничего не ѣстъ.... Замѣтила?— Превосходный будетъ хозяинъ!

Дѣйствительно, Жоржъ съ преувеличеннымъ стараніемъ, ревниво и скропулезно спряталъ въ свою сумку все, что ему ни попадалось подъ руки: игрушки, яблоки, конфекты, орѣхи, даже свѣчи и даже двѣ, три серебряныя чайныя ложечки... Ему въ этомъ никто не мѣшалъ съ той минуты, какъ папаша прозрѣлъ въ этомъ грабительствѣ черту будущаго основательнаго хозяина.

Елка сгорѣла, ея сокровища раздарены дѣтямъ, частью съѣдены, частью оставлены про запасъ. Часы ударили десять. У дѣтокъ, уставшихъ отъ бѣготни и волненія, слипаются глазки... Пора спать! Анна Ивановна зоветъ нянюшекъ, благословляетъ дѣтей и приказываетъ вести въ спальни. А гдѣ же Жоржъ? Неужели самъ заблагоразсудилъ улечься въ постель? Вотъ—умница!.. Нѣтъ! Въ спальнѣ его не оказалось... Гдѣ же онъ?

Жоржа зовутъ по всему дому, ищутъ во всѣхъ углахъ: нигдѣ нѣту... Пропалъ мальчикъ, какъ въ воду канулъ! Господа Троицкіе, а съ ними и прислуга не на шутку встревожились... Явилось множество предположеній, куда могъ-бы исчезнуть, вдругъ, бѣдный Жоржъ, и—въ воображеніи родителей стали рисоваться ужасающія картины разныхъ несчастныхъ случайностей. Поиски были перенесены за предѣлы квартиры и къ содѣйствію были призваны дворники... Весь домъ пришлось поднять на ноги!

— Господи, да ужь не къ прачкинымъ ли дѣтямъ онъ убѣжалъ?—спохватилась Анна Ивановна, послѣ тысячи догадокъ о причинѣ исчезновенія Жоржа—и послѣ того, какъ поиски за нимъ не увѣнчались успѣхомъ.

— Зачѣмъ-бы онъ могъ туда убѣжать?—усомнился Петръ Семеновичъ.

— Отъ него станется... Такой своенравный и взбалмошный ребенокъ! Онъ, вотъ, просилъ меня, чтобы прачкиныхъ дѣтей позвать. Я отказала: онъ и побѣжалъ къ нимъ... Пари держу!—уже съ увѣренностью утверждала Анна Ивановна, и тотчасъ же командировала няню къ прачкѣ.

* * *

Прачкины дѣти жили на заднемъ дворѣ въ подвальномъ этажѣ въ томъ-же домѣ, гдѣ обитали Троицкіе, занимая бель-этажъ по лицевому фасаду.

О прачкиныхъ дѣтяхъ Жоржъ получилъ представленіе потому, что ихъ мать—поденщица-прачка—ходила иногда стирать бѣлье, по найму, къ Троицкимъ. Жоржъ видѣлъ ее въ своей кухнѣ нѣсколько разъ и видѣлъ иногда, какъ вмѣстѣ съ нею приходило двое малютокъ-дѣвочекъ, смирно сидѣвшихъ въ уголку у дверей, пока она работала, и внимательными глазенками поглядывавшихъ на все, происходившее передъ ними. Жоржа эти малютки очень занимали и удивляли... Онѣ были такія замарашки, такія дикія и вовсе не похожія на его братцевъ и сестрицъ, и, вообще, на всѣхъ культурныхъ дѣтей, которыхъ онъ до сихъ поръ видѣлъ. Ему было жалко ихъ и, въ то же время, онѣ его пугали; онъ не могъ понять, зачѣмъ онѣ такія неопрятныя и отчего ихъ не пускаютъ въ комнаты? Можетъ быть, онѣ—дурныя дѣти... Дурныя-ли, нѣтъ-ли, но онѣ—мужичьи дѣти и благороднымъ дѣтямъ съ ними знаться не слѣдуетъ. Это ему внушала няня, и онъ съ такимъ доводомъ согласился; но случились святки, онъ узналъ о Христѣ, онъ видѣлъ его звѣзду—и въ душѣ мальчика совершился переломъ.

Когда посланная Анной Ивановной няня спустилась въ подвалъ прачки, ей представилась такая картина.

При тускломъ свѣтѣ стѣнной лампы, у стола, заставленнаго чайными чашками и остатками скуднаго ужина, сидѣлъ прачкинъ мужъ—пожилой отставной солдатъ, въ поношенной ситцевой сорочкѣ, и, держа въ рукахъ сумку Жоржа, стоявшаго посрединѣ комнаты, велъ къ нему внушительную рѣчь. Прачка сидѣла тутъ-же, поджавъ рукой щеку, и жалостливо посматривала на мальчика, а ея дѣвочки, уже уложенныя въ постель, какъ волченки, дикими глазами воззрились на него.

Жоржъ стоялъ совершенно потерянный и смущенный.

— Конечно, мы весьма вамъ благодарны, баринъ, за ваше приношеніе,—говорилъ ему солдатъ,—а только эдакъ невозможно... Эдакъ, вѣдь, съ вами бѣду наживешь. Что теперича скажутъ папенька и маменька ваши, ежели мы возьмемъ вашъ подарокъ?.. Вишь, вы чего сюда не насовали?.. Пусть-бы съѣстное только, либо игрушечную рухлядь, а то и серебряныя ложечки предоставили... На-кось! Вѣдь, за это, знаете, какъ нашего брата, бѣднаго человѣка, честятъ...

— Я ихъ взялъ—вы не будете отвѣчать... Вы—бѣдные, и я хочу, чтобы васъ Христосъ любилъ, чтобы и у вашихъ дѣвочекъ была елка,—лепеталъ Жоржъ.

— Спасибо, милый баринъ... Только мы прежде у маменьки вашей спросимъ, какъ она—соизволитъ-ли? Лукерья,—обратился солдатъ къ женѣ:—снарядись—ка, да сведи-ка барченка домой... Поди, чай, его тамъ ищутъ теперь! Э, да вотъ, никакъ, и нянюшка за вами пришла!—добавилъ онъ, увидѣвъ входившую въ дверь няню.

— Вишь ты, пострѣлъ, куда его занесло!—съ сердцемъ сказала няня, хлопнувъ себя по бедрамъ, увидѣвъ Жоржа.—А тамъ весь домъ изъ-за него растревожили... Поди-ка, поди-ка къ папенькѣ, пусть онъ хорошенько выдеретъ для праздника!—И съ этими словами няня схватила въ охабку нашего разрыдавшагося героя и понесла домой. Прачка отправилась за нею съ поличнымъ, т. е. съ контрабандной сумкой бѣднаго Жоржа.

Прибытіе Жоржа и обрадовало, и огорчило господъ Троицкихъ. Поступокъ сына выходилъ изъ ряда дѣтскихъ шалостей. Особенно произвело на нихъ угнетающее впечатлѣніе похищеніе чайныхъ ложечекъ.

— Зачѣмъ ты это сдѣлалъ? допрашивалъ его строгій родитель.

— Я хотѣлъ сдѣлать такъ, какъ училъ Христосъ,— сквозь слезы отвѣчалъ мальчикъ.

—Что-о? Развѣ Христосъ училъ красть... А?

Жоржъ былъ примѣрно наказанъ и долго, лежа въ своей кроваткѣ, безутѣшно рыдалъ и не могъ отдать себѣ отчета въ волновавшихъ его сомнѣніяхъ.

На утро онъ провинился въ другомъ неслыханномъ преступленіи—въ доносѣ на родителей Іисусу Христу!

Вставъ рано, онъ бросился къ своему столику и сталъ писать, сколько позволяли ему способности и искусство. Черезъ полчаса, передъ тѣмъ, какъ идти въ столовую къ чаю, онъ упросилъ няню, подъ секретомъ, опустить написанное имъ письмо въ почтовый ящикъ.

Неграмотная няня сочла за благо вручить этотъ пакетъ Петру Семеновичу.

Взглянувъ на пакетъ, господинъ Троицкій едва не ахнулъ. На немъ дѣтской рукою былъ написанъ такой адресъ:

«Господину

Іисусу Христу

въ собств. руки».

Съ удивленіемъ распечаталъ Петръ Семеновичъ письмо и прочиталъ въ немъ слѣдующее:

«Добрый нашъ Іисусъ Христосъ!

«Я Васъ очень люблю, и мама и папа говорятъ, что Васъ нужно любить и нужно такъ дѣлать, какъ Вы дѣлали и учили. Я знаю, Вы очень любили бѣдныхъ дѣтей, и я хотѣлъ ихъ любить также и дѣлать имъ все, все... Вчера я отнесъ къ прачкинымъ дѣтямъ, потому что они бѣдныя и не имѣютъ елки, мои подарки и лакомства и чайныя ложечки; но они не взяли, а мама и папа очень разсердились и меня наказали, и я не знаю за что... Милый Іисусъ Христосъ! Скажите мамѣ и папѣ, чтобы они меня простили, потому что я очень ихъ люблю, я всѣхъ люблю и хочу, чтобы не было бѣдныхъ, какъ Вы того хотите.

Вашъ другъ Жоржъ».

Письмо это сдѣлалось анекдотомъ дня въ семействѣ гг. Троицкихъ и въ кругу всѣхъ ихъ знакомыхъ. Надъ Жоржемъ много тѣшились и смѣялись; но что у него дѣлалось на душѣ, какія новыя—добрыя или злыя—откровенія и мысли внесло въ его голову это маленькое событіе,—объ этомъ никто не спрашивалъ!

Филантропическая елка (стр. 288).

II.

Филантропическая елка.

I

роська, какъ «кликала» нашу героиню вся квартира, въ которой она, вмѣстѣ съ матерью, занимала «уголъ», была совершенная дикарка.

Ей одинадцать лѣтъ; она выросла въ высокую, тоненькую дѣвочку, съ неподѣтски серьезнымъ, хитрымъ и злымъ личикомъ—вотъ какія бываютъ у иныхъ звѣрьковъ, имѣющихъ много враговъ, казалась гораздо старше своихъ лѣтъ, постоянно жила въ столицѣ и—представьте—не имѣла никакого понятія о рождественской елкѣ.

Фроська о многомъ, что извѣстно другимъ болѣе благовоспитаннымъ дѣтямъ, не имѣла понятія. Въ ея рукахъ, напр., никогда не бывало ни одной дѣтской игрушки, ни одной куклы, и она даже представить себя не могла обладательницей тѣхъ красивыхъ диковинокъ, которыя ей случалось видѣть въ окнахъ игрушечныхъ лавокъ, какъ не могла представить, что-бы она съ ними стала дѣлать?

Невѣжество Фроськи простиралось гораздо дальше. Она, напр., не знала что значитъ быть сытымъ, что значитъ зимою не зябнуть на улицѣ. Всегда одѣтая въ лохмотья съ чужаго плеча и обутая кое какъ въ тяжелые, дырявые материнскіе опорки, дѣлавшіе ея походку неловкой и неуклюжей, Фроська считала этотъ костюмъ единственно для себя доступнымъ и вполнѣ приличнымъ. Когда ей встрѣчались дѣвочки ея возраста, чистенькія, выхоленныя, хорошо одѣтыя, въ исправныхъ, по ногѣ сшитыхъ, ботинкахъ, она засматривалась на нихъ, но не завидовала. Онѣ казались ей просто какими-то высшими существами, совсѣмъ различной отъ ея породы, и мысль сравнивать себя съ ними ей не приходила даже въ голову... Землеройка не соперничаетъ съ ланью и не завидуетъ ей.

Идеаломъ и предметомъ соревнованія у Фроськи была ихъ сосѣдка по «угламъ»—старуха-нищенка, о которой вся квартира въ одинъ голосъ говорила, что она счастливица и живетъ «у Бога за пазухой». Поговаривали, что у нея есть и деньжонки... Нищенка каждый день, пошатавшись нѣсколько часовъ по улицамъ и церковнымъ папертямъ, приносила домой копѣекъ тридцать, сорокъ, а иногда и больше. Досыта поѣвши и опорожнивъ косушку, она заваливалась спать и, вообще, блаженствовала. Сама себѣ барыня, никто ее не понукаетъ и не бьетъ, никто не отымаетъ у нея заработка, ѣстъ она сколько хочетъ, дѣлаетъ что хочетъ... Чѣмъ не житье?

По крайней мѣрѣ, Фроська не могла представить себѣ ни лучше житья, ни счастливѣе доли и только о томъ мечтала, какъ-бы достигнуть завиднаго положенія сосѣдки-нищенки. Разницы въ возрастѣ съ нею она не сознавала,

потому что, строго говоря, дѣтства у нея не было и даже, по внѣшности, по привычкамъ и понятіямъ, она производила странное впечатлѣніе старухи-ребенка. Она во всемъ подражала своему идеалу—нищенкѣ, въ разговорѣ, въ манерахъ, и училась у нея ея ремеслу. Фроська тоже занималась попрошайничествомъ, но не по своей волѣ, а по приказу матери, и все, что успѣвала выклянчить, отдавала ей, подъ страхомъ жестокихъ колотушекъ за утайку всякаго грошика. Фроськина мать была поломойка-поденщица, очень мало заработывавшая, потому что у нея болѣли ноги и еще потому, что она часто предавалась запою. Она каждый день выгоняла Фроську на улицу собирать подаяніе и, когда та мало приносила, она била ее и морила голодомъ... Это заставляло Фроську жаловаться на свою судьбу и чувствовать себя несчастной; но все, чего она желала, это—освободиться изъ подъ зависимости матери, собирать грошики на одну себя, жить самостоятельно, ѣсть до сыта, спать въ волю,—словомъ, жить такъ, какъ живетъ эта счастливая сосѣдка-нищенка. Другихъ стремленій и идеаловъ у Фроськи не было... Настоящая дикарка!

Дико и сурово было и ея маленькое дѣтское сердце. Матери—единственнаго роднаго ей человѣка—она не любила и совершенно искренно желала ей поскорѣе «околѣть», громко выражая это въ нерѣдкія минуты происходившихъ между ними ссоръ и столкновеній, въ которыхъ страдательную роль всегда, конечно, играла одна Фроська. Мать платила ей тѣмъ-же чувствомъ равнодушія или злобы и смотрѣла на дочку, какъ на доходную статью—не болѣе.

Ни откуда не встрѣчая ласки и любви, видя кругомъ себя вѣчную грызню этихъ тупыхъ и озлобленныхъ существъ,

готовыхъ перегрызть другъ другу горло изъ-за каждаго жалкаго куска, Фроська совершенно одичала и совершенно сроднилась съ этой грязью, съ этой звѣроподобной жизнью, среди безъисходнаго нищенства, мрака и ненависти. Иныхъ людей, иной жизни, иныхъ интересовъ она не знала и даже вообразить себѣ не могла. Но случаю было угодно перенести ее на мгновеніе въ иной міръ,—міръ, представлявшійся ей несбыточной, фантастической сказкой, и пробудить въ ея одичалой душѣ человѣческія чувства, зажечь въ ней искру любви, красоты и поэзіи...

Случилось это вотъ какимъ образомъ.

II.

Владѣлица того огромнаго дома на Гороховой, въ которомъ жила Фроська, вдова генеральша Кормилицына, какъ-то незадолго до рождественскаго праздника прочитала въ газетѣ очень чувствительное воззваніе, приглашавшее читателей скрасить праздникъ бѣднякамъ благотворительными приношеніями. Особенно тронуло генеральшу патетическое обращеніе автора къ дамамъ.

«Къ вамъ, великодушныя русскія женщины, къ вашему нѣжному, отзывчивому на все доброе сердцу, обращаемся мы по преимуществу!—говорилось въ воззваніи.—Пусть ваши мужья и братья, въ позорномъ увлеченіи жидовкой и чужеземкой Саррою Бернаръ, раззоряются на поднесеніе ей букетовъ и драгоцѣнныхъ камней... Вы покажете имъ примѣръ патріотизма, добродѣтели и милосердія, искони васъ украшающихъ! Оглянитесь кругомъ себя, спуститесь въ затхлые подвалы, поднимитесь на чердаки, смрадные и холодные,—отовсюду протягиваются къ вамъ сотни, тысячи

изможденныхъ рукъ сирыхъ, вдовыхъ, престарѣлыхъ и увѣчныхъ... Имъ нечѣмъ встрѣтить праздника; многіе изъ нихъ нуждаются даже въ хлѣбѣ... Заставьте-же эти руки благословить васъ»!

Теплое воззваніе проняло генеральшу до слезъ. Она была дама чувствительная, слабонервная и слыла за филантропку. Ея имя встрѣчалось въ числѣ «благотворительныхъ дамъ»—членовъ различныхъ обществъ, а въ обществѣ «доставленія бѣднымъ дѣтямъ гигіеническихъ наушниковъ» она даже состояла предсѣдательницей.

Осушивъ слезки батистовымъ платочкомъ и понюхавъ освѣжающаго спирта изъ хрустальнаго флакончика, генеральша на минуту задумалась и въ ея головѣ созрѣла блестящая филантропическая мысль. «Спускаться» въ подвалы и «подыматься» на чердаки, для отысканія «протянутыхъ рукъ», какъ приглашала газета, Кормилицына, конечно, не могла, да это и не нужно. Не лучше-ли сдѣлать такъ, чтобы «протянутыя руки» сами предстали предъ ясныя очи «благотворительной дамы»? Дѣло очень простое! У генеральши имѣется малютка-дочь, для которой будетъ устроена, по обыкновенію, елка. Елку эту нужно сдѣлать филантропической —позвать на нее десятокъ, другой бѣдныхъ дѣтей, угостить ихъ чаемъ и конфектами, подарить каждому приличный его состоянію презентикъ, и, такимъ образомъ, осчастливить ихъ и сдѣлать для нихъ праздникъ въ праздникъ... Мысль прекрасная и вполнѣ comme il faut!

Порѣшивъ такъ, генеральша нетерпѣливо позвонила и приказала явившемуся слугѣ сейчасъ-же позвать къ ней управляющаго ея домомъ.

Управляющій не замедлилъ явиться.

— Скажите, пожалуйста, въ нашемъ домѣ есть бѣдные?—спросила его генеральша.

— То-есть, которые, значитъ, неисправно за квартиры платятъ?—кашлянувъ въ руку, освѣдомился управляющій.

— Ну, да, и... вообще—бѣдные...

— Виноватъ, ваше превосходительство! Точно, вы приказывали, чтобъ не держать въ домѣ такой шушеры, да—съ виду, какъ ее различишь? Въѣдетъ, кажись, спервоначалу и путный, а потомъ окажется голь перекатная... Никакъ невозможно уберечься! Вотъ и теперь три, четыре семейства есть такія, что ничего не остается, какъ по шеямъ выгнать...

— До праздниковъ вы этого не дѣлайте... Нужно пожалѣть бѣдныхъ людей и, кромѣ того, мнѣ нужны теперь бѣдные...

— Слушаю-съ! — сказалъ управляющій, вытаращивъ глаза на хозяйку отъ удивленія: «на кой, молъ, прахъ, ей понадобилась эта сволочь?»

— Только мнѣ нужны настоящіе бѣдные... понимаете?—продолжала генеральша.

— Понимаю-съ...

— И, собственно, не сами бѣдные, а ихъ дѣти... малютки, совсѣмъ, совсѣмъ несчастныя, у которыхъ даже своей елки не будетъ на праздникахъ... Есть у насъ такія?

— Найдутся, ваше превосходительство! Кого, кого, а этой швали сколько угодно...

— Мнѣ нужно, по крайней мѣрѣ, десять такихъ дѣтей... Можно и немного больше... Я хочу устроить у себя для нихъ филантропическую елку.

— Не стоютъ они такой чести, ваше превосходительство!

— Ну, я уже это порѣшила сдѣлать... Тутъ просто доброе дѣло и я васъ прошу помочь мнѣ.

— Радъ стараться, ваше превосходительство!

— Вы выберете изъ самыхъ бѣдныхъ семействъ десять дѣтей и прикажете ихъ родителямъ прислать ихъ ко мнѣ въ сочельникъ, вечеромъ... Только постарайтесь выбрать самыхъ хорошенькихъ дѣтей, и чтобъ они были благовоспитанные, чисто вымытые, бѣдно, но опрятно одѣтые и сморкались-бы непремѣнно въ носовые платки... Это ужасно непріятно видѣть, когда у дѣтей неряшливъ носъ и они вытираютъ его, помужичьи, голыми руками... Фи!

— Будьте покойны, ваше превосходительство, подберемъ чистый народъ и отшлифуемъ!

— Да еще, смотрите, чтобы между ними не попались больные или какіе нибудь уроды... Я этого не могу выносить!

— Не сомнѣвайтесь, ваше превосходительство,—ребята будутъ первый сортъ!

— Такъ распорядитесь, пожалуйста!

— Слушаю-съ!

По уходѣ управляющаго, генеральша присѣла къ роскошно инкрустированному бюро, вооружилась карандашикомъ въ золотомъ рейсфедерѣ и составила смѣту для предстоявшей елки, подробно обозначивъ, сколько и какихъ, именно, подарковъ слѣдуетъ для нея купить. Покончивъ съ этимъ, она позвонила, приказала позвать къ себѣ дочь и закладывать карету.

Въ будуаръ генеральши вбѣжала бѣленькая, нѣжная, какъ лепестокъ ландыша, миловидная дѣвочка, лѣтъ один-

надцати, въ шотландскомъ костюмѣ, съ голенькими розовыми колѣнками, и, граціозно порхнувъ къ матери, обвила ея шею лилейными рученками.

— Chère Nadine, мы сейчасъ съ тобою поѣдемъ въ гостинный дворъ,—сказала генеральша, цѣлуя кудрявую, бѣлокурую головку дочки.

Дѣвочка радостно вскрикнула.

— Мы поѣдемъ покупать подарки для твоей елки,— продолжала генеральша.—У тебя на этотъ разъ будетъ особенная елка—съ бѣдными.

— Съ бѣдными, мама! Что это значитъ?—широко раскрывъ голубые глазки, спросила Nadine.

— Это значитъ, милая, что мы позовемъ на твою елку бѣдныхъ дѣтей, у которыхъ не будетъ своей елки; ты имъ раздашь подарки, станешь угощать ихъ,—словомъ, будешь для нихъ маленькой феей...

— Ахъ, какъ это хорошо!—захлопала въ ладоши дѣвочка.

— Yes! that is charming!—одобрительно отозвалась сопровождавшая Nadine гувернантка—англичанка, необыкновенно прямая и чопорная дѣва, со строгимъ лицомъ.

III.

— Только вы смотри у меня, чтобъ во всемъ благородно... Паче же всего насчетъ носовъ: не смѣть сморкатьея! Ну, а ежели никакъ невозможно безъ того, утрись платочкомъ, по благородному... слышите? Кто проштрафится— безпремѣнно трепка и по шеямъ... такъ ужь и знай!

Съ такою внушительной предикой адресовался управляющій дома Кормилицыной къ десятку ребятъ, собранныхъ имъ для генеральской филантропической елки.

Дѣло происходило вечеромъ, въ сочельникъ. Дѣти были собраны въ кухнѣ генеральской квартиры и, въ ожиданіи, когда ихъ позовутъ въ залу, гдѣ была приготовлена елка, управляющій—отставной гвардейскій унтеръ—производилъ имъ инспекторскій смотръ и давалъ педагогическія наставленія. Въ наставленіяхъ этихъ большинство навербованныхъ имъ ребятъ, правду сказать, не нуждалось: это все были чистенькіе, опрятно одѣтые отроки обоего пола, и между ними находились даже два гимназистика. Дѣло въ томъ, что управляющій, желая, съ одной стороны, угодить хозяйкѣ, требовавшей чистыхъ и благовоспитанныхъ «бѣдныхъ» дѣтей, а, съ другой, своимъ пріятелямъ и знакомымъ, у которыхъ имѣлись дѣти, позвалъ послѣднихъ на генеральскую елку, изъ чести и какъ на особливое торжество, не всегда доступное простымъ смертнымъ. Такимъ образомъ, хотя эти маленькіе протеже управляющаго, безспорно, принадлежали къ небогатымъ семействамъ мелкаго служилаго люда, но «*настоящими* бѣдными», какимъ жаждала благотворить генеральша, ихъ нельзя было назвать. Исключеніе составляла одна лишь наша знакомка Фроська, которая удостоилась этого счастья по прихоти случая. По военному точный въ исполненіи начальственныхъ приказаній, управляющій счелъ своимъ непремѣннымъ долгомъ представить генеральшѣ, согласно ея желанію, ровно десять малютокъ, а, между тѣмъ, онъ могъ набрать ихъ изъ семействъ своихъ знакомцевъ только девять: одного не хватило. Пришлось поискать его у стороннихъ бѣдныхъ жильцовъ. Тутъ недостатка въ подходящихъ рекрутахъ не было, но управляющій остановилъ свой выборъ на Фроськѣ, потому что она, по своей миловидной внѣшности и хорошенькимъ чернымъ глазкамъ, болѣе

другихъ отвѣчала требованіямъ генеральши, желавшей, какъ мы знаемъ, видѣть изящныхъ и красивыхъ «бѣдныхъ» дѣтей. Управляющій не постоялъ даже за цѣлымъ рублемъ, выданнымъ въ рискованный кредитъ, на улучшеніе гардероба Фроськи, командировалъ ее предварительно въ баню, выдалъ ей на подержаніе, только для этого вечера, собственный носовой платокъ, училъ ее, какъ обращаться съ нимъ, и, вообще, старался, по возможности, «отшлифовать» ее и вымуштровать. Фроська оказалась очень понятливой, особенно, въ виду обѣщанной ея менторомъ, въ случаѣ какого-нибудь съ ея стороны невѣжества, «безпремѣнной трепки».

Часу въ восьмомъ елка была готова и генеральша приказала звать на нее маленькихъ гостей. Дѣти подъ наблюденіемъ и командой управляющаго, двинулись въ роскошно освѣщенную залу и установились рядышкомъ вдоль стѣнки. Послѣдней къ дверямъ и поближе къ своему ментору была поставлена Фроська. Она какъ-бы окаменѣла отъ всего, что здѣсь представилось ея глазамъ... Ничего подобнаго, отродясь, она не видывала и не воображала!

Красивая, свѣтлая зала, съ блестѣвшимъ паркетомъ, золотые стулья, огромныя зеркала во всю стѣну и—чудо изъ чудесъ—эта нарядная, ярко сверкавшая разноцвѣтными огнями и золотыми яблоками, елка, увѣшанная пестрыми, великолѣпными игрушками и всякими сюрпризами. Фроська смотрѣла на все это широко раскрытыми, дикими глазами, не шелохнувшись, и чувствовала, какъ у нея кружится голова. Минутами ей становилось страшно. Ей чудилось, что съ нею совершается какое-то навожденіе, что ее морочитъ нечистая сила и что все это волшебное видѣніе, вотъ-вотъ, сейчасъ разсыплется и исчезнетъ...

— Дяденька, развѣ это все взаправду?—придя въ себя, обратилась она со своими сомнѣніями къ управляющему.

— Молчать!.. Не смѣй у меня здѣсь рта разѣвать!—грозно буркнулъ тотъ въполголоса.

Съ противуположнаго конца залы шумно раскрылась дверь. Вошла важной поступью генеральша, ведя за руку разряженную, какъ куколку, Nadine, сопровождаемую гувернанткой. Генеральша, храня на лицѣ благосклонную улыбку, направилась къ шеренгѣ дѣтей.

— Здравствуйте, малютки!—радушно обратилась она къ нимъ.

Сконфуженныя «малютки» молчали.

— Здравія желаемъ, ваше превосходительство!—гаркнулъ отъ ихъ лица управляющій, задѣтый за живое ихъ недогадливостью. Генеральша поморщилась отъ этой услужливости и, желая ободрить смущенныхъ гостей, стала ласково разговаривать съ каждымъ изъ нихъ, по очереди, участливо разспрашивая объ ихъ родителяхъ, занятіяхъ, нуждахъ и проч. Разспросы эти повергли ея превосходительство въ легкое разочарованіе.

— Но это вовсе не настоящія бѣдныя дѣти,—промолвила она по-французски недовольнымъ тономъ.—Какой болванъ этотъ управляющій!

Очередь дошла до Фроськи.

— Эта, должно быть, самая бѣдная изъ нихъ?—обратилась генеральша къ управляющему, разглядывая въ лорнетку оторопѣвшее почти до безумія личико Фроськи и всю ея тощую, мизерабельную фигурку, въ грошовомъ ситцевомъ платьицѣ.

— Точно такъ, ваше превосходительство! Самая, что ни на есть несчастная... Мать—поденщица, притомъ больная.

Съ чего кормятся—неизвѣстно!—отрапортовалъ управляющій, тонкимъ нюхомъ вѣрнаго слуги угадавшій капризъ барыни.

Генеральша просіяла и необыковенно обрадовалась Фроськѣ. Вотъ это—думала она—настоящій, неподдѣльный объектъ для изліянія филантропическаго елея!

— Ты, миленькая, очень бѣдная... да?—отнеслась она къ дѣвочкѣ, взявъ ея подбородокъ своими пухленькими надушенными пальчиками.

Фроська въ эту минуту ничего не видѣла и не слышала.

— Elle est très jolie, mais comme elle est sauvage... Pauvre enfant!—соболѣзнующимъ голоскомъ сказала Кормилицына, адресуясь къ гувернанткѣ.

— Certainement!—процѣдила та сквозь зубы.

Маленькая Nadine тоже съ особеннымъ любопытствомъ разсматривала Фроську и больше всего ея грубыя, красныя руки, которыя ей казались очень озябшими. Видъ этихъ рукъ возбуждалъ въ нѣжной дѣвочкѣ состраданіе, и ей хотѣлось взять Фроську и свести къ топившемуся въ глубинѣ залы камину, чтобъ она обогрѣлась.

— Такъ твоя мама—больная? Какая у нея болѣзнь?—продолжала свои разспросы генеральша, но Фроська стояла передъ нею и молчала, какъ пень.

— О, ее нужно приласкать... Какъ она запугана, несчастная! Тѣмъ лучше,—мы разбудимъ въ ней душу, заставимъ почувствовать себя человѣкомъ... Nadine, ты займешься этой дикаркой больше, чѣмъ остальными твоими гостями, которые не такъ бѣдны и жалки, какъ она!

— Да, мама!—съ живостью отозвалась Наденька и, взявъ Фроську за руку, сказала:—Пойдемъ погрѣться... Тебѣ вѣдь холодно?

Фроська машинально дала себя вести. Nadine усадила ее на золотомъ стулѣ передъ каминомъ и заставила ее грѣть предъ огнемъ руки, хотя онѣ у Фроськи вовсе не были озябшими. Потомъ она заставила ее протянуть ноги на каминную рѣшетку и учила, какъ это нужно дѣлать... Фроська покорно повиновалась всему, какъ кукла, да и сама Nadine, по свойству дѣтей, заинтересовалась своей гостьей-дикаркой, больше, какъ новой куклой, и во весь этотъ вечеръ Фроська составляла для нея самую милую, самую забавную игрушку. Это былъ для нея лучшій подарокъ на елкѣ! Изъ того-же чувства и вслѣдствіе обычной въ дѣтскихъ играхъ фантазіи, Nadine стала закармливать свою гостью-игрушку лакомствами и наряжать ее, тѣмъ болѣе, что она была такъ плохо одѣта. Генеральша-мать нашла эту мысль прелестной, въ филантропическомъ отношеніи, и охотно позволила Наденькѣ подарить Фроськѣ одинъ изъ своихъ поношенныхъ костюмовъ и тотчасъ-же перерядить ее. Съ помощью горничной Наденька занялась туалетомъ Фроськи и, когда вывела ее, послѣ этого, въ залу, въ щеголеватомъ розовомъ платьицѣ, убранномъ лентами и кружевами, въ хорошенькихъ ботинкахъ на высокихъ каблучкахъ, съ завитыми волосами, переплетенными пунцовой лентой, Фроську трудно было узнать.

— Посмотри, какая ты стала хорошенькая!—сказала Наденька, восхищенная дѣломъ рукъ своихъ, и подвела Фроську къ зеркалу.

Фроська, какъ зачарованная, стояла передъ зеркаломъ и дивилась.

— Это—ты, барышня, а это-же кто?—спросила она, указывая пальцемъ на отраженія въ зеркалѣ Наденьки и себя.

— Ахъ, какая ты забавная! Вѣдь это ты-же,—смѣялась Nadine.

— Я?—съ недоумѣніемъ вскинула глаза на барышню Фроська.—Эта-то, вотъ, дѣвочка, что тамъ стоитъ, значитъ, я?

— Ну, да, ты!.. Какъ ты этого не понимаешь, глуненькая?

Фроська сдѣлала движеніе къ зеркалу—ея отраженіе пошло къ ней навстрѣчу... Она отступила, въ невольномъ испугѣ, и—«дѣвочка» въ зеркалѣ отступила. Фроська приблизилась снова къ «дѣвочкѣ», протянула къ ней лицо и стукнулась объ ея голову... Потомъ она потыкала пальцемъ въ свое отраженіе, долго, долго смотрѣла на него и—расхохоталась дикимъ смѣхомъ, въ которомъ звучали рѣзкія ноты радости, счастья и гордости.

— Вишь ты, какая я! А я, вѣдь, и не знала!—сказала Фроська, не отрывая глазъ отъ своего отраженія въ зеркалѣ, и стала поворачиваться изъ стороны въ сторону, чтобы полюбоваться на себя съ различныхъ точекъ.

Въ дикаркѣ и нищенкѣ мгновенно проснулось сознаніе своей личности, проснулось уваженіе къ себѣ. Фроська впервые узнавала, что она хорошенькая, что она ребенокъ—женщина и что этому перевороту въ себѣ она обязана волшебному міру, который ей открылся здѣсь, этому прелестному, доброму, великодушному существу—этой чудной «барышнѣ», которая стояла теперь съ нею рядомъ и смотрѣла на нее ласково улыбающимися, небесными глазками... Невыразимое, никогда неиспытанное несчастной дѣвочкой, сладкое, жгучее чувство охватило ея сердце! Она не могла назвать это чувство, не сознавала его, но чувствовала, что оно дополна и вдругъ залило ея сиротливое сердце... Чувство

это была любовь. Она любила въ эту минуту себя и всѣхъ окружавшихъ, но болѣе всѣхъ и горячѣе любила она свою благодѣтельную фею—«барышню»... Она только не знала и не понимала, какъ это выразить.

— А вѣдь и ты, барышня хорошенькая... очень, очень хорошенькая!—сказала она, заглядывая радостно сверкавшими глазами въ бѣленькое личико Наденьки.—Вишь, волосы у тебя—ровно шолкъ!—продолжала она, съ восхищеніемъ гладя рукою нарядную головку барышни.

— Ахъ, ты мнѣ испортишь прическу!—отклонила озабоченно голову Nadine.

Съ этого момента, роковаго въ жизни Фроськи, какъ потомъ увидимъ, она стала неузнаваема. Всю застѣнчивость и дикость съ нея, какъ рукой сняло. Въ ней пробудились живость и игривость здороваго, жаднаго къ наслажденіямъ ребенка. Она принимала самое дѣятельное участіе во всѣхъ, затѣянныхъ для утѣхи гостей филантропической елки, играхъ, бѣгала, плясала какой-то невообразимый, неимѣющій названія, танецъ, когда гувернантка заиграла на роялѣ, смѣялась, пѣла, а, во время разбора подарковъ и лакомствъ, развѣшанныхъ на елкѣ, первая кинулась на нее и опрокинула...

— Я говорила, что мы сдѣлаемъ эту маленькую дикарку ручною... Она прелестна; только—жаль—рѣзка и грубовата... Какіе иногда цвѣтки, какъ подумаешь, гибнутъ отъ ужасной бѣдности!—съ чувствомъ разсуждала генеральша, любуясь, какъ развеселившіяся и оживившіяся дѣти расхищали, съ визгомъ и крикомъ, елочные презенты.

Фроська весь вечеръ этотъ ногъ подъ собой не слышала и была внѣ себя. Это былъ для нея какой-то очаровательный сонъ на яву.

IV.

Послѣ сильныхъ и столь необычайныхъ для нашей героини впечатлѣній, испытанныхъ ею на генеральской елкѣ, кончившейся въ полночь, она проснулась на утро въ своемъ «углѣ» позднѣе обыкновеннаго. Пробужденіе не сразу пришло къ ней. Нѣкоторое время Фроська оставалась въ той сладкой полудремотѣ, подъ наитіемъ которой чарующія сонныя грезы причудливо мѣшаются въ представленіи съ неясными впечатлѣніями дѣйствительности, принимающими, въ свою очередь, фантастическій обликъ. Въ этомъ состояніи Фроська снова переживала ощущенія вчерашняго восхитительнаго праздника, пестрые, сверкающіе обрывки котораго неслись теперь передъ нею, какъ волшебныя тѣни въ китайскомъ фонарѣ, и среди нихъ она сама представляется себѣ такой-же красивой, обворожительной тѣнью, полной блеска и движенія... Вотъ передъ нею и ея добрая фея, ея чудная «барышня»,—весело и ласково заглядываетъ ей въ лицо своими небесными, точно звѣздочки, глазами, любовно сжимаетъ ей руку своей теплой, нѣжной, бѣленькой ручкой, и—обѣ онѣ, вдругъ, вспорхнули, будто на крыльяхъ, и, переплетясь руками, куда-то, несутся, несутся, окутанныя розовымъ туманомъ, опьяненныя радостью и счастьемъ... И чудится Фроськѣ, звенящій какъ-бы издали, ласкающій голосокъ «барышни»... «Барышня» говоритъ ей, что она хорошенькая, что она сама теперь стала «барышней» въ этомъ чудесномъ розовомъ платьицѣ, въ этихъ тонкихъ, атласныхъ башмачкахъ, въ которыхъ такъ легко и ловко ногамъ... И еще говоритъ ей «барышня», что она много, много подаритъ ей и такихъ платьевъ, и такихъ башмач-

ковъ... Но—что это?—Голосъ «барышни», вдругъ, сталъ переходить въ грубые, рѣзкіе, дребезжащіе тоны, и говоритъ она уже совсѣмъ не то, говоритъ что то дикое, обидное, да и сама она... куда она вдругъ дѣвалась? Развѣ это теперь «барышня»? Развѣ это ея рѣчи?

— ...И говоритъ она мнѣ, то ись, значитъ, эта самая еврейка-перекупщица: «Откуда, говоритъ, быть у тебя такимъ хорошимъ вещамъ? Это, говоритъ, платье съ господскаго дитяти. Не иначе, говоритъ, матушка, какъ оно у тебя краденное»... Я ей отвѣчаю, что, молъ, генеральская барышня намедни дочкѣ моей подарила, для святокъ... Не вѣритъ и совсѣмъ несообразную цѣну даетъ,—вѣстимо, какъ за краденное... Билась я, билась съ нею, матушка, насилу три цѣлковенькихъ вымаклачила за весь приборъ.

Фроська очнулась съ невыразимой болью въ сердцѣ, какъ еслибъ ей приснился чудовищный, страшный сонъ... Но это уже не былъ сонъ... Передъ нею открылась такая картина: у тусклаго окна, за колченогимъ столомъ, на которомъ красовался наполовину опорожненный полуштофъ, въ компаніи съ мѣднымъ чайникомъ, чашками и глиняными плошками съ расковыреннымъ на нихъ студнемъ и ломтемъ лавочнаго пирога съ капустой, сидѣли и пріятельски бесѣдовали двѣ грязныя, отвратительныя старухи въ лохмотьяхъ. Обѣ онѣ были уже подъ хмѣлькомъ и находились въ блаженномъ настроеніи, какъ существа, для которыхъ сытый желудокъ и хмѣль—верхъ счастья и наслажденія. Одна изъ собесѣдницъ была мать Фроськи, другая—сосѣдка-нищенка.

Фроська протерла глаза, осмотрѣлась вокругъ себя, порывисто ощупала руками свою постель, какъ еслибы чего-то искала, и голосомъ, полнымъ ужаса и скорби, спросила:

— Старуха, гдѣ моя одежа?

«Старухой» она называла обыкновенно, мать; другаго имени у нея для матери не было, потому что и самое представленіе материнства ей было чуждо.

— Какая одежа?—апатично отозвалась одна изъ собесѣдницъ.

— Которую мнѣ вчера генеральская барышня подарила... Куда ты ее дѣвала? Отдай мнѣ ее!

— Жди! Въ барскомъ платьѣ ходить захотѣла... Вишь, фря! Раненько собралась, доченька: походи пока и въ дерюгѣ... такъ-то, по нашей бѣднотѣ, прибыльнѣе...

— Ты продала мое платье?

— А нѣшто смотрѣть на него, либо дать тебѣ таскать его?... Выдумала! По крайности, мы, вотъ, благодарить Бога и барскую милость, праздничекъ похристіански встрѣтили... Выпьемъ, Кузминишна!—съ пьянымъ благодушіемъ отнеслась мать Фроськи къ своей собесѣдницѣ, наливая стаканчики.

Какъ звѣренышъ, съ сверкающими злобой и ненавистью глазами, вскочила Фроська на ноги, въ нѣсколько прыжковъ подскочила къ матери и цѣпкими рученками впилась ей въ жидкія косы.

— Отдай мое платье! Отдай, старая колотовка! Ты не смѣла его продавать!—дикимъ голосомъ завопила она, разсыпаясь цѣлымъ градомъ грубыхъ, циничныхъ ругательствъ и проклятій.

Старухѣ стоило немалаго труда освободить свои волосы изъ рукъ обезумѣвшей, отъ горя и гнѣва, дѣвочки. Въ то-же время это неожиданное нападеніе привело ее въ ярость, и когда она, наконецъ, взяла верхъ надъ Фроськой, несчастный ребенокъ былъ избитъ почти до полусмерти.

Долго и горько плакала и стонала отъ боли Фроська послѣ материнской расправы, забившись въ темный уголъ... Никогда еще не чувствовала она себя такой несчастной! Не жестокость матери, не боль отъ побоевъ ее огорчали— къ этому она привыкла: несчастной она чувствовала себя потому, что такъ безжалостно разрушили ея сладкій сонъ, что такъ дико и рѣзко сказалась ей черствая дѣйствительность, послѣ мимолетно испытанныхъ минутъ неизвѣданнаго счастья и наслажденія жизнью... Дикарка узнала цѣну красоты, добра и любви,—тѣмъ ужаснѣе, тѣмъ противнѣе казались ей теперь эта грязная, вонючая трущоба и эти тупыя злыя и отвратительныя твари, ее населяющія, съ ихъ хищностью и скотствомъ. Омерзеніе и стыдъ за себя, за свою принадлежность къ этой клоакѣ терзали маленькое сердечко Фроськи. Но въ то-же время, среди горя и муки, ей свѣтилось яркой звѣздочкой спасеніе, въ образѣ милой, прекрасной «барышни», которая такъ переродила ее и такъ осчастливила своей лаской и добротой, и у которой такъ много прелестныхъ платьицъ, стройныхъ башмачковъ, очаровательныхъ игрушекъ и сладкихъ конфектъ... Что ей стоитъ сдѣлать Фроську совсѣмъ, совсѣмъ счастливой, — взять ее къ себѣ и снова нарядить въ одно изъ своихъ дорогихъ платьицъ, завить волосы, нарядить, какъ куколку, и закормить сластями? Уже разъ она это сдѣлала... Конечно, она сдѣлаетъ это-же опять, будетъ дѣлать постоянно, а Фроська будетъ ее любить горячо, горячо отъ всего сердца...

Фроська отерла на глазахъ слезы, смолкла и предалась своимъ мечтамъ... Въ головѣ ея сталъ складываться планъ, какъ поскорѣе и получше осуществить эти мечты.

V.

Спустя нѣсколько дней послѣ описанныхъ событій въ роскошной квартирѣ генеральши Кормилицыной случилось важное «происшествіе», нарушившее покой ея превосходительства и поднявшее на ноги весь домъ. Въ уборной генеральши, граничившей съ ея спальней, за гардеробнымъ шкапомъ, было неожиданно открыто присутствіе «подозрительной личности», тайно забравшейся туда и спрятавшейся тамъ, очевидно, съ злымъ умысломъ, если не на жизнь генеральши, то, во всякомъ случаѣ, на ея богатый гардеробъ. Открытіе это произошло какъ разъ въ ту минуту, когда генеральша, собираясь въ театръ, находилась въ уборной и совершала свой вечерній туалетъ, при помощи горничныхъ.

«Подозрительная личность», къ великому ужасу и негодованію генеральши, оказалась Фроськой. Генеральша не сразу припомнила ее въ лицо, когда ее вытащили изъ-за шкапа предъ ясныя генеральскія очи; но, когда узнала, что это та самая «бѣдная» дѣвочка, которую она удостоила счастья присутствовать на ея филантропической елкѣ и излила на нее обильный потокъ разныхъ благотвореній,— негодованію ея и скорби за человѣческую неблагодарность и безнравственность не было предѣловъ.

Въ злоумышленіи Фроськи не могло быть сомнѣнія, потому что она, во время произведеннаго ей строгаго допроса, имѣла до безумія растерянный, испуганный видъ (явный знакъ нечистой совѣсти!) и давала ни съ чѣмъ несообразные, дикіе отвѣты.

— Барышню мнѣ надо было видѣть... Я къ барышнѣ пришла... Пустите меня къ барышнѣ!—твердила и молила

она; но, конечно, свести такого монстра съ барышней было бы нелѣпостью (Nadine, вѣдь, такъ невинна и такъ впечатлительна!), да и не ясно-ли, что «барышня» въ устахъ этой маленькой воровки одинъ предлогъ, одна отговорка.

«Подозрѣніе» въ злонамѣренности Фроськи подтвердилось еще одной полновѣсной уликой. Оказалось, по показаніямъ швейцара, повара и лакея, что коварная дѣвчонка нѣсколько разъ передъ этимъ пыталась проникнуть въ генеральскую квартиру съ разныхъ входовъ, ссылаясь каждый разъ, какъ пресѣкали ея покушенія, на то, что ей-де необходимо повидаться съ барышней. Разумѣется, каждый разъ ее, безъ дальнихъ разговоровъ, выпроваживали по шеямъ; но, очевидно, многократная острастка не подѣйствовала на закаленную въ преступномъ дерзновеніи злоумышленницу, и она рѣшилась теперь тайно проникнуть въ генеральскія хоромы для исполненія своего хищническаго замысла...

На всѣ эти обвиненія у Фроськи было одно оправданіе, что ей «безпремѣнно хочется видѣть барышню». Сначала было предположеніе отправить ее въ участокъ; но потомъ, принявъ во вниманіе ея несовершеннолѣтіе и то, что у нея имѣется мать, генеральша приказала дворнику отвести ее къ послѣдней, подъ строгимъ конвоемъ, и внушить, чтобы мать приняла рѣшительныя мѣры къ исправленію нравственности и злой воли Фроськи. Такъ это и было сдѣлано, съ тою только разницей, что мать нашей героини отнеслась болѣе, чѣмъ равнодушно къ заподозрѣнію ея дочки въ покушеніи на воровство, и потомъ, оставшись съ нею наединѣ, дала ей даже такой благой совѣтъ:

— Дура! Разви такъ дѣлаютъ? Не чѣмъ стибрить что подъ руку попалось и—въ ноги, она, вишь ты, разсѣлась, пока ее накрыли... Впередъ наука!

Нужно-ли объяснять, что Фроська была совершенно неповинна во всѣхъ этихъ поклепахъ и подозрѣніяхъ: у нея была одна мечта, одно страстное желаніе повидать свою «барышню», излиться предъ нею въ своихъ печаляхъ и надеждахъ, и найти въ ней свою спасительницу. Съ этимъ намѣреніемъ она нѣсколько разъ пробовала проникнуть въ генеральскую квартиру; но, когда убѣдилась, что прислуга ее туда не впуститъ и не скажетъ о ней ни слова «барышнѣ», она рѣшилась тайно, какъ кошка, пробраться въ заповѣдныя хоромы, чтобы найти случай встрѣтиться съ своей желанной феей. Какъ мы видѣли, ей это не удалось и не могло удаться, потому что она не знала расположенія комнатъ генеральской квартиры и не знала, гдѣ искать «барышню». Тѣмъ не менѣе неудача и весь, сопровождавшій ее, потрясающій скандалъ и позоръ нисколько не охладили желанія Фроськи, а—напротивъ—заострили ее до степени страстнаго, нетерпѣливаго влеченія... Фроська такъ вѣрила, что, при первомъ-же свиданіи, «барышня» спасетъ ее и сдѣлаетъ счастливой, что она, какъ утопающій, хватающійся за протянутую руку помощи, всѣмъ существомъ своимъ прилѣпилась къ этой мечтѣ, сроднилась съ нею. Въ это время у нея не было другихъ помысловъ и другихъ желаній... Всѣ ея заботы сосредоточились на одномъ—какъ-бы найти удобный случай встрѣтить барышню спасительницу, съ которой ее насильно разлучаютъ всѣ эти недобрые, безсердечные люди... О, еслибъ только встрѣтить и перемолвиться нѣсколькими словечками!

Потерявъ надежду проникнуть къ барышнѣ, въ ея чертогахъ, охраняемыхъ злыми стражами, Фроська стала поджидать ее на улицѣ, когда она выйдетъ на прогулку или

поѣдетъ кататься. По цѣлымъ часамъ, до окочененія, зябла она на улицѣ въ ожиданіи такого случая. Нѣсколько дней она сторожила напрасно. Nadine почему-то не выѣзжала; но, вотъ, однажды, въ полдень, сторожившая на противоположной сторонѣ улицы Фроська увидѣла, какъ къ подъѣзду была подана, хорошо знакомая ей, генеральская карета и какъ, спустя немного, изъ широко раскрытаго подъѣзда вышли, въ сопровожденіи ливрейнаго лакея, генеральша, въ соболяхъ, и Nadine, вся въ бѣлоснѣжномъ зимнемъ нарядѣ, опушенномъ бѣлыми мерлушками.

Фроська, внѣ себя, съ остановившимся отъ волненія дыханіемъ, стремглавъ перебѣжала черезъ улицу и бросилась къ дверцѣ кареты въ то время, когда она готова была уже тронуться. Стекло въ дверцѣ было опущено; въ ея просвѣтѣ глазамъ Фроськи представилась «барышня» — такая свѣжая, розовая, очаровательная... Ея ручка, затянутая въ мягкую шведскую перчатку, опиралась о косякъ дверцы, она сама, привлеченная шумомъ быстрыхъ шаговъ Фроськи, выглянула изъ кареты, и—теперь смотрѣла на нашу героиню широко раскрытыми, недоумѣвающими и непріязненными глазами.

— Барышня!—воскликнула Фроська, кидаясь къ ней и схвативъ ее за руку. Прерывающееся дыханіе мѣшало ей говорить; она едва стояла на ногахъ...

— Барышня!—продолжала она, обращая къ Nadine молящіе глаза, затуманившіеся брызнувшими изъ нихъ слезами.—Барышня!.. Это я... Я къ тебѣ... Возьми меня, барышня, голубушка, золотая, милая!

Все это произошло такъ внезапно и быстро, что всѣ свидѣтели этой сцены не сразу опомнились и поняли, въ

чемъ тутъ дѣло? Привелъ ихъ въ себя крикъ Nadine... Неряшливый, растрепанный видъ Фроськи, ея посинѣлое отъ холода, безумное лицо, и то, что она обратилась къ ней и нагло схватила ее за руку, страшно напугали нѣжную барышню. Съ крикомъ и отвращеніемъ вырвала она свою руку изъ цѣпкихъ, красныхъ рукъ Фроськи и откинулась въ глубину кареты. Въ просвѣтѣ дверцы показалось, во всемъ величіи, удивленное и гнѣвное лицо генеральши. Кинувъ уничтожающій взоръ на сконфуженную и растерянную Фроську, она обратилась къ стоявшему, съ разинутымъ ртомъ, швейцару со строгимъ выговоромъ:

— Ты здѣсь что смотришь?.. Какія-то уличныя потаскушки нахально бросаются къ намъ съ своимъ попрошайствомъ, чуть не лѣзутъ въ карету, а онъ разинулъ ротъ... Ты, милый, не знаешь своихъ обязанностей!

Опростоволосившійся швейцаръ, желая возстановить свою репутацію, тащилъ уже Фроську за шиворотъ отъ кареты.

— Погоди!—остановила его генеральша.—Эта дерзкая дѣвчонка—та самая, которую поймали на дняхъ въ нашей квартирѣ.... Я ее узнала... Скажи управляющему, чтобы ее и мать ея сейчасъ-же вонъ выгнали съ нашего двора, и если она еще разъ покажется намъ на глаза, при выѣздѣ, ты, почтенный, получишь разсчетъ... Ступай!—отнеслась генеральша къ кучеру.

Карета покатилась. Фроська машинально посмотрѣла ей въ слѣдъ и, когда разсерженный швейцаръ сталъ тормошить ее и надѣлять шлепками, она и не пикнула...

— Точно дерево!—выругался швейцаръ.

Да, въ-эту минуту, и потомъ и надолго, можетъ быть, навсегда Фроська превратилась въ дерево... У нея вынули сердце...

III.

Святочная мелодія.

I.

Бываютъ минуты, когда иное «созвучье словъ живыхъ», стихъ изъ пѣсни, отрывокъ мелодіи самой простой и обыденной производятъ удивительное, почти роковое впечатлѣніе на душу.

Это, совершенно неожиданно для себя, испыталъ Евгеній Петровичъ Старицынъ въ одинъ памятный для него вечеръ, въ сочельникъ наканунѣ святокъ, и—вотъ какимъ образомъ.

Евгеній Петровичъ имѣлъ привычку спать послѣ обѣда. Онъ жилъ одиноко въ большой квартирѣ, съ высокими комнатами. Послѣобѣденный отдыхъ онъ совершалъ, обыкновенно, въ своемъ кабинетѣ, на широкомъ оттоманѣ, у деревянной стѣны, которая отдѣляла его жилье отъ сосѣдняго. Спалъ онъ здѣсь и въ писываемый вечеръ, и—вотъ, въ ту минуту, когда онъ началъ уже просыпаться, до его слуха, среди глубокой тишины, донесся откуда-то издалека, точно

дуновеніе замирающаго вѣтерка, тонкій, нѣжный звукъ дѣтскаго голоса. Голосокъ пѣлъ, не дотягивая нотъ, по-дѣтски, съ лепечущей вибраціей, извѣстную пѣсню о жизни, о ея назначеніи, о томъ, что «жизнь для жизни намъ дана». Голосокъ сбивался въ стихахъ, путалъ, но въ чуткой тишинѣ съ особенною внятностью прозвучали два стиха:

„Видѣть духомъ, сердцемъ чтить—
Вотъ что значитъ въ Богѣ жить!“

Именно, эти стихи, выхваченные изъ начала и конца строфы, отчетливо слышалъ Евгеній Петровичъ и—показались они ему, въ этомъ дѣтскомъ, безъискуственномъ лепетѣ, особенно, почему-то, значительными, наивно-торжественными и вѣщими. Давно онъ не испытывалъ такого хватающаго за сердце впечатлѣнія! Чтобы продлить его, онъ не прерывалъ своего полусоннаго состоянія, лежалъ неподвижно, съ закрытыми глазами, и слушалъ. Милый голосокъ продолжалъ пѣть... Евгеній Петровичъ поднялъ вѣки и сталъ смотрѣть въ темноту, и—почудилось ему, будто на ея бархатномъ фонѣ поющій голосокъ прорѣзывается тонкой, свѣтлой серебряной иглою: игла тянется къ верху, все выше и выше, и сладко звенитъ какъ струна, колеблемая незримыми легкими пальцами; но, вотъ, она крѣпнетъ, ростетъ и разсыпается цѣлымъ волнующимся снопомъ сверкающихъ звуковъ... Дѣтскій голосокъ потонулъ въ этомъ снопѣ льющихся, бравурныхъ торжественно-веселыхъ нотъ, безъ конца, казалось, повторявшихъ, въ гармоничномъ хорѣ, все одну и ту-же фразу: «Вотъ что значитъ въ Богѣ жить!...» То былъ какой-то неслыханно-чарующій, полный любви и радости, гимнъ жизни...

Старицынъ затаилъ дыханіе, приникъ ухомъ, вслушался и... разочарованно зѣвнулъ. За стѣной, у сосѣдей, бойко и съ азартомъ играли на роялѣ маршъ изъ «Орфея»... У сосѣдей были дѣти и, очевидно, у нихъ начиналась святочная елка. Иллюзія пропала. Евгеній Петровичъ окончательно проснулся, позвонилъ и велѣлъ человѣку подать огня; но дѣтскій голосокъ и слова пѣсни, донесшіяся къ нему черезъ стѣну отъ сосѣдей и произведшія на него, подъ аффектомъ просонья, такое необычайное, трогательное впечатлѣніе, все стояли въ его ушахъ и продолжали звенѣть гдѣ-то глубоко въ сердцѣ, шевеля въ немъ давно забытыя и, казалось, давно порванныя струны.

II.

Когда слуга освѣтилъ кабинетъ и принесъ чай, Старицынъ, не вставая съ оттомана, предался размышленіямъ, какими онъ рѣдко себя тревожилъ, живя петербургской дѣловой и суетной жизнью, не дающей человѣку сосредоточиваться и философствовать.

Евгеній Петровичъ рѣдко задавалъ себѣ очень простой, но, въ то же время, очень трудный, для разъѣденнаго рефлексіей интеллигента, вопросъ: для чего онъ живетъ и что значитъ жить, какая цѣль этого «дара мгновеннаго, дара прекраснаго», называемаго жизнью? Въ качествѣ свободнаго мыслителя, онъ считалъ этотъ вопросъ празднымъ, а когда онъ, наперекоръ воли, вставалъ въ сознаніи, Евгеній Петровичъ отмахивался отъ него, какъ отъ назойливой мухи, и старался о немъ не думать, понимая, что отвѣтъ не можетъ быть утѣшительный.

И вотъ, теперь его пробудилъ въ немъ, случайно донесшійся, наивный дѣтскій лепетъ, и пробудилъ съ такой силой, что отъ него не отдѣлаешься, да и нужно же когда-нибудь отдать себѣ въ этомъ пунктѣ опредѣленный отчетъ, хотя-бы—такъ, для справки...

Врѣзавшійся въ сознаніи, все еще звенѣвшій въ его глубинѣ голосокъ и роковой вопросъ поставилъ: какъ жить? и отвѣтъ на него далъ прямой и ясный: нужно «въ Богѣ жить»!.. Старицыну до сихъ поръ не приходилъ въ голову такой отвѣтъ. Да и что такое «въ Богѣ жить?» Кто это знаетъ? Дѣти, должно быть, знаютъ... Для нихъ и эта пѣсенка сложена поэтомъ. Они поютъ ее, не заботясь о ея смыслѣ, поютъ съ беззавѣтной вѣрой и живутъ всѣмъ своимъ существомъ, не спрашивая, что такое жизнь?.. Вѣроятно, такъ жить и значитъ—«жить въ Богѣ...»

И однако-жь, Старицынъ чувствовалъ, что рѣшеніе это имѣетъ болѣе широкое и болѣе обязательное для совѣсти значеніе, что въ немъ таится правда... Внутренній голосъ неотступно спрашивалъ его: жилъ-ли онъ въ Богѣ?—Нѣтъ, онъ такъ никогда не жилъ, и—уже самое сознаніе это, новое въ немъ и освѣжающее, давало ему въ руки спасительную нить истиннаго пониманія жизни.

Онъ прожилъ сорокъ пять лѣтъ и, оглядываясь теперь на свое прошлое, съ ужасомъ видѣлъ въ немъ какую-то сѣрую, безформенную, безсмысленную и совершенно ненужную пустоту. Правда онъ много испыталъ и пережилъ на своемъ вѣку всякихъ наслажденій и огорченій, столкновеній и превратностей; но изъ всего прожитаго въ его памяти нѣтъ почти ни одного такого момента, который выдѣлялся-бы яркостью, полнотой и силой добра или хотя-бы зла, кото-

рый былъ-бы для него значителенъ и дорогъ... А взамѣнъ того, сколько-же было мелкаго, пошлаго, дряннаго и просто гнуснаго! Словомъ, подводя итогъ прожитой жизни, Евгеній Петровичъ съ болью чувствуетъ полнѣйшее къ себѣ презрѣніе и—ничего больше... Чувство это, впрочемъ, для него не новое: онъ всегда презиралъ себя, презиралъ людей, всегда носилъ въ своей пустой груди, свинцомъ лежавшее въ ней, холодное отрицаніе и недовольство всѣмъ и вся. Можетъ быть, даже презрѣніе это и это отрицаніе составляли все его внутреннее содержаніе (и ужь навѣрно составляли характеристическую черту его интеллекта), были опорной точкой его мысли, его поведенія, были его силой... Хороша сила!

Съ внѣшней стороны, въ отношеніи практическомъ, Старицынъ устроился хорошо. Онъ былъ изъ удачныхъ карьеристовъ. Начавъ въ молодости безъизвѣстнымъ, ничтожнымъ бѣднякомъ, въ сорокъ пять лѣтъ онъ достигъ виднаго и прочнаго общественнаго положенія, имѣлъ всѣ права причислять себя къ «соли земли», пользовался обезпеченнымъ состояніемъ, даже до избытка, и наслаждался, по своему вкусу, всѣми благами культурной столичной жизни. Съ этой стороны задача жизни разрѣшена блистательно, но развѣ въ этомъ ея конечная, настоящая задача? По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ онъ тратилъ все свое время и силы на мелкую, эгоистическую, муравьиную возню около своей особи, въ угоду трусливому чувству самосохраненія и утробнымъ инстинктамъ, былъ поглощенъ этой возней и мыслью о грубомъ успѣхѣ, ради достиженія котораго приходилось, какъ водится обыкновенно, столько подличать, лукавить, лицемѣрствовать и дѣлать несправедливостей.

И пусть-бы это все такъ: дѣланье карьеры—черная ра-

бота, а черная работа не можетъ быть опрятна,—былъ-бы онъ только счастливъ ею, когда она уже сдѣлана, и доволенъ собой! Но развѣ онъ счастливъ? Нѣтъ и нѣтъ! Ни теперь, ни когда-бы ни было прежде, онъ не могъ заморить въ себѣ мучительнаго червя сомнѣнія, а теперь, въ эту странную и роковую минуту, онъ чувствуетъ его въ себѣ съ особенной язвительной болью.

Старицынъ понимаетъ, что счастье—фикція, что вся суть занимающаго его вопроса—въ субъективныхъ ощущеніяхъ, въ ихъ силѣ и характерѣ. Каковы-бы ни были ощущенія и ихъ результаты на аршинъ покладистой нравственности—задача жизни выполнена, если они захватываютъ доверху все наше существо, воспламеняютъ его сильной кипучей страстью. Вотъ такой-то страсти Евгеній Петровичъ никогда и не испытывалъ, какъ и огромное большинство среднихъ, неглубокой натуры людей!

Провѣряя теперь себя и все свое прошлое, онъ не можетъ вспомнить ни одного случая, когда онъ почувствовалъ-бы во всю мѣру сладость совершеннаго добра, святое, высокое упоеніе сдѣланнаго подвига, какъ равно не помнитъ онъ за собой и такого момента, когда онъ упился-бы, въ страстномъ увлеченіи, острымъ, опьяняющимъ ядомъ зла и грѣха. Маленькія, пошлыя страстишки и умѣренныя, робкія желаньица, мелкое, трусливое подличанье изъ-за угла, въ переплетѣ съ лѣнивымъ выполненіемъ «священнаго долга» и «добрыми дѣлами», на требованіе ходячей дешевой морали,—вотъ все, что онъ съ отвращеніемъ видѣлъ въ своемъ прошломъ!. Неужели это жизнь?

А призывный серебристый голосокъ все звучитъ на днѣ смятенной души, поднимаетъ ее и какъ бы окрыляетъ на

испытаніе того, «что значитъ въ Богѣ жить!..» Хотя разъ, одинъ только разъ испытать до глубины божественное чувство любви и добра!

III.

Евгеній Петровичъ съ живостью поднялся съ оттомана и заходилъ по кабинету. Въ немъ зрѣло какое-то еще не ясное для него самого рѣшеніе, но онъ зналъ заранѣе, что сегодня, сейчасъ-же, сдѣлаетъ такой шагъ, о которомъ ему и въ голову не могло придти еще два, три часа тому назадъ. Тогда шагъ этотъ показался-бы ему нелѣпымъ и глупымъ, а теперь его пробирала внутренно какая-то сладкая, острая дрожь при одной мысли, что онъ его исполнитъ, исполнитъ непремѣнно... Тутъ были и боль, и сладость, но что-то сильное, великодушное и бодрое чувствовалъ онъ въ груди отъ одного предвкушенія зрѣющаго въ немъ рѣшенія. Никогда не чувствовалъ онъ себя такъ хорошо!

Все презирающій, Старицынъ презиралъ и ходячую мораль, выполненіемъ требованій которой такъ гордятся мелкіе люди и, въ простотѣ души, чаютъ себѣ царствія небеснаго. Онъ, напримѣръ, благотворительствовалъ не менѣе записныхъ, прославленныхъ филантроповъ, но никогда не ставилъ себѣ этого въ заслугу и, въ откровенной бесѣдѣ, называлъ филантропію гомеопатическимъ кормленіемъ звѣря съ единственнымъ разсчетомъ, чтобы онъ находилъ механическое развлеченіе въ глоданіи брошенной ему кости и не сломалъ отъ голода своей желѣзной клѣтки.

Евгеній Петровичъ понималъ, что заниматься филантро-

піей вовсе еще не значитъ «въ Богѣ жить»... Сердце его потребовало инаго, болѣе оригинальнаго подвига.

Онъ сѣлъ къ своему письменному столу и сталъ разбирать бумаги, газеты и письма, полученныя по послѣдней почтѣ. Въ числѣ писемъ онъ нашелъ записку, пропитанную тонкими духами и набросанную легкимъ, изящнымъ женскимъ почеркомъ. Онъ узналъ знакомую, милую для него руку и чувство удовольствія овладѣло имъ при одномъ видѣ этой записки. Милая рука посылала ему заманчивое приглашеніе на свиданіе въ одномъ изъ лучшихъ клубовъ на елкѣ, сегодня. Онъ давно добивался такого вниманія и до сихъ поръ напрасно: это была *первая* отъ нея записка и—такая интригующая, такъ много обѣщающая! Конечно, онъ поѣдетъ непремѣнно... Въ его годы надо «ловить часы любви», ни на минуту не опаздывая, надо пользоваться безъ упущеній благосклонностью нравящейся женщины!

Пробѣжавъ еще нѣсколько писемъ, Старицынъ остановился на кинувшейся ему въ глаза вырѣзкѣ изъ газеты. Онъ самъ сдѣлалъ эту вырѣзку дня два тому назадъ и теперь искалъ ее, хотя отлично помнилъ ея содержаніе, заставившее его пережить столько скверныхъ минутъ и толкнувшее его на одинъ гнусный шагъ.

Онъ перечиталъ эту вырѣзку снова. Тамъ стояло такое извѣщеніе:

«Насъ просятъ,—гласила редакція,—довести до свѣдѣнія благотворителей о несчастномъ положеніи одной бѣдной женщины, матери семейства, безжалостно брошенной на произволъ судьбы мужемъ—человѣкомъ съ именемъ, виднымъ положеніемъ и съ болѣе, чѣмъ достаточнымъ состояніемъ. Трудно найти слово довольно сильное для названія поступка

этого безсердечнаго господина! Спросить Елену Ивановну Ст—ну тамъ-то» (слѣдовалъ адресъ).

Извѣщеніе это произвело большой скандалъ и очень повредило Евгенію Петровичу въ мнѣніи его знакомыхъ. Всѣ догадались, что рѣчь шла о его женѣ, съ которой онъ уже давно не жилъ. И дѣйствительно, это была его жена—едва-ли не единственное въ мірѣ существо, которое онъ отъ всего сердца ненавидѣлъ, которое причинило ему много зла и много страданій—тѣхъ интимныхъ, мелочныхъ, но мучительныхъ семейныхъ страданій, которыя у страстныхъ натуръ разрѣшаются иногда кровавой развязкой, а у холодныхъ, разсудительныхъ—взаимнымъ отравленіемъ жизни по мелочамъ, обоюдными пакостями.

Во всякомъ случаѣ, въ извѣщеніи была ложь. Съ перваго-же дня разлуки съ женой Старицынъ предложилъ ей пенсію; но она сама отвергла ее и потомъ никогда не хотѣла принять отъ него никакой помощи не по гордости, а изъ утонченной женской злости и мстительности. Она знала, что этимъ отказомъ отниметъ у Евгеніи Петровича всякое право на признаніе за нимъ великодушнаго отношенія къ ней послѣ того, какъ она ему измѣнила, нанесетъ ударъ его самолюбію оскорбленнаго, но сохраняющаго свое достоинство мужа.

И, вдругъ, она, ни словомъ не обмолвившись ему о помощи, публикуется въ газетахъ, съ откровенностью навыкшей къ попрошайничеству нищенки!.. Позоръ для нея, а еще больше для него!

Но, странная вещь, извѣщеніе это доставило ему больше удовольствія, чѣмъ огорченія! Онъ испытывалъ то ѣдкое злорадство, которое овладѣваетъ самолюбивымъ человѣкомъ

при видѣ униженія и оподленія врага, когда онъ сломанъ и готовъ молить о пощадѣ, пресмыкаться у ногъ противника.

Еще задолго до этого случая, Евгеній Петровичъ началъ хлопотать подъ рукою о разводѣ, на который онъ имѣлъ ясныя и несомнѣнныя права. Теперь, когда явилось вышеупомянутое скандалезное извѣщеніе, онъ тотчасъ-же отправился лично въ редакцію, объяснилъ тамъ откровенно свои отношенія къ женѣ, внесъ тутъ-же въ ея пользу пенсію за полгода впередъ и просилъ гласно пояснить сущность дѣла, не называя именъ, что редакція, дѣйствительно, и сдѣлала. Старицынъ почти торжествовалъ въ сознаніи полнаго обезоруженія и униженія врага; но, къ удивленію, на другой день его извѣстили, что жена наотрѣзъ отказалась отъ назначенной имъ ей пенсіи. Его это привело почти въ бѣшенство... Значитъ, она хочетъ сохранить за собой право и напредки «печататься» въ газетахъ «несчастной женщиной, безжалостно брошенной мужемъ на произволъ судьбы», и—это для того только, чтобъ досаждать ему, скандализировать и портить его репутацію «честнаго человѣка»? Необходимо унять эту злючку! Евгеній Петровичъ сгоряча ничего умнѣе не придумалъ, какъ обратиться съ интимнымъ ходатайствомъ къ начальству, а теперь, въ эту особенную минуту, въ которую мы застаемъ его, самая мысль объ этомъ шагѣ бросала его въ ознобъ стыда... Какъ могъ онъ дойти до такого позорнаго малодушія?!

IV.

Счастливый въ карьерѣ, Старицынъ былъ очень неудачливъ въ устройствѣ семейнаго гнѣзда. Женился онъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ безъ особенно пылкаго влеченія на молоденькой и хорошенькой дѣвушкѣ, съ своей стороны не питавшей къ нему какой-нибудь нѣжной страсти. Оба они вступили въ бракъ для «партіи». Онъ, чрезъ жену, заручался вліятельной родней; она выходила замужъ за порядочнаго, на хорошей дорогѣ стоявшаго, не стараго карьериста,—чего-же больше требуютъ отъ жениховъ разсудительныя барышни?

Евгеній Петровичъ только послѣ свадьбы началъ привязываться къ женѣ, но странной, болѣзненной привязанностью, которая, говорятъ, граничитъ съ ненавистью. Онъ ее ревновалъ самолюбиво, глупо и мелочно, но дошелъ въ этомъ чувствѣ почти до страсти, до изступленія. Правда, и ревность была не безъосновательная. Елена Ивановна была вѣтренная и легкомысленная кокетка, но это-бы еще не бѣда: на несчастье, она полюбила первой горячей любовью одного дряннаго свѣтскаго селадона, не задумавшагося, для минутной прихоти, опозорить молодую женщину и разрушить семейный очагъ нашего героя. Впрочемъ, послѣднее не входило въ его планъ: это устроила уже сама героиня романа. Своей надокучливой ревностью Старицынъ возбудилъ въ женѣ неодолимое къ себѣ отвращеніе... Много произошло между ними дрянныхъ, раздирательно-глупыхъ семейныхъ сценъ, наконецъ, одна вышла такая, что супругамъ ничего не осталось, какъ разъѣхаться.

Однажды, возвратясь домой, молодая женщина застала

мужа въ своемъ будуарѣ за деликатнымъ, секретнымъ занятіемъ: онъ воровски-подобраннымъ ключемъ вскрылъ ея бюро и перечитывалъ ея переписку... Елена Ивановна не взвидѣла свѣта и со всей силы отвѣсила любознательному супругу звонкую пощечину... Это было уже слишкомъ. Мстительный Евгеній Петровичъ никогда не могъ простить женѣ этой пощечины... Ревность его къ ней превратилась въ голую ненависть и просто въ брезгливое презрѣніе, какое возбуждаютъ падшія, потерянныя женщины. Послѣ пощечины, онъ ей ни слова не сказалъ и больше ужь съ нею не встрѣчался... Елена Ивановна въ тотъ-же день бросила мужній домъ и переѣхала къ своему соблазнителю, къ великому своему позору и скандалу. По обыкновенію, соблазнитель ее скоро бросилъ; у него нашелся преемникъ, за первымъ нашелся другой, а тамъ и пошло... Старицынъ зналъ, что его супруга, скитаясь то по столицамъ, то заграницей, пустилась во всѣ нелегкія и грязнитъ его имя, фигурируя въ скандалезной хроникѣ. Она стала въ его жизни какимъ-то проклятіемъ, какимъ-то вѣчно-позорящимъ его пятномъ, отмыть которое онъ не зналъ чѣмъ и какъ! Съ этой цѣлью онъ и принялся хлопотать о разводѣ; но, пожалуй, было уже поздно. Ему было извѣстно, что Елена Ивановна, преждевременно утративъ и красоту и здоровье отъ веселой жизни, давно растеряла всѣхъ своихъ поклонниковъ и живетъ въ одиночествѣ и нуждѣ съ двумя дѣтьми, Богъ вѣсть когда и отъ кого ею прижитыми. Тѣмъ не менѣе, эпизодъ съ извѣщеніемъ показалъ, что она и теперь не перестанетъ позорить его и мстить на немъ свое паденіе... Чувство омерзенія и ненависти къ женѣ поднялось въ немъ отъ этого случая съ новой злобной силой.

V.

А милый, кроткій голосокъ все звенѣлъ и звалъ испытать блага «въ Богѣ жить»...

Евгеній Петровичъ, возбужденный новымъ, страннымъ ощущеніемъ, быстро и живо вспомнилъ все свое прошлое, вспомнилъ всю его безотрадную пустоту, себялюбивый холодъ и мелкое человѣконенавистничество, подвелъ всему итогъ и, какъ-то, сразу успокоился и даже просвѣтлѣлъ. Онъ позвалъ человѣка и приказалъ давать одѣваться. Черезъ четверть часа, парадно одѣтый во фракѣ и бѣломъ галстухѣ, онъ вышелъ въ переднюю, готовясь ѣхать... Слуга подалъ ему шубу.

— Я ѣду въ клубъ, — сказалъ онъ и на минутку задумался... Кстати Иванъ, — сказалъ онъ, поспѣшно вынимая изъ кармана деньги, — поѣзжай сейчасъ-же и, во что-бы ни стало, купи елку и все, что для нея нужно:... игрушки, тамъ, конфекты, фрукты... Понимаешь! Елку приготовь въ залѣ, при полномъ освѣщеніи, да прикажи на кухнѣ приготовить ужинъ на нѣсколько приборовъ... Непремѣнно все это сдѣлай поскорѣе.. Я скоро пріѣду!

— Да для кого-же елка будетъ, Евгеній Петровичъ? — съ удивленіемъ спросилъ Иванъ.

— Это не твое дѣло...: Увидишь... Я привезу гостей изъ клуба... Пожалуйста, сдѣлай все получше, какъ приказано! — заключилъ Старицынъ и уѣхалъ.

Садясь въ карету, онъ приказалъ кучеру везти себя въ клубъ. Дѣйствительно, у него была мысль сдѣлать пріятный сюрпризъ звавшей его въ клубъ милой женщинѣ и ея компаніи. Онъ хотѣлъ всѣхъ ихъ позвать къ себѣ на елку и на ужинъ... Карета катилась; вдругъ, Евгеній Петровичъ дернулъ за снурокъ и крикнулъ кучеру:

— Вези въ шестую улицу на Пески!

Давно назрѣвавшее въ немъ рѣшеніе окончательно имъ овладѣло. Черезъ четверть часа онъ уже поднимался по грязной вонючей лѣстницѣ въ мезонинъ стараго деревяннаго домика въ 6-й улицѣ на Пескахъ. Долго искалъ онъ въ темнотѣ звонокъ отъ двери и, не найдя его, толкнулъ дверь. Она оказалась незапертой. Старицынъ вошелъ въ темную переднюю, куда проникалъ слабый свѣтъ изъ сосѣдней комнаты. Старицынъ пошелъ на свѣтъ и остановился на порогѣ.

Въ бѣдной, вовсе почти немеблированной комнатѣ, стояла тишина. Можно было подумать, что она пустая, но въ ней находились живыя существа. У стѣны на кровати лежала блѣдная, больная, изможденная женщина—лежала неподвижно и, казалось, спала. Возлѣ кровати на полу возились около жалкой, грошовой елки двое малютокъ—дѣвочка лѣтъ шести и мальчикъ годомъ или двумя помоложе. На елкѣ не было ни лакомствъ, ни игрушекъ, но дѣти съ увлеченіемъ ею забавлялись...

Вдругъ, лежавшая на постели женщина повернула голову къ дверямъ, пристально посмотрѣла на Евгенія Петровича, лице ея исказилось ужасомъ и она вскочила.

— Вы... вы... Что вамъ нужно отъ меня?—вскрикнула она, сдѣлавъ колеблющейся походкой нѣсколько шаговъ къ дверямъ.—Я васъ не звала... И объявленіе не я давала: его безъ моей воли напечатали... Слышите! Я не возьму вашей помощи...

Евгеній Петровичъ вошелъ въ комнату. Дѣти, при видѣ его, бросили елку и боязливо прижались къ матери. Евгеній Петровичъ какъ-то робко, нерѣшительно оглянулся и вдругъ упалъ на колѣни, протягивая руки къ стоявшей передъ нимъ женщинѣ.

— Елена Ивановна!—заговорилъ онъ дрожавшимъ го-

лосомъ.—Простите и пощадите меня... Мы съ вами очень, очень дорого другъ другу стоили въ жизни, чтобы между нами могло быть все кончено... Не съ враждой я къ вамъ прихожу... нѣтъ! Молить о благѣ примиренія съ вами, о счастьи раздѣлить съ вами и вашими дѣтьми мой кровъ, мой кусокъ являюсь я сюда...

— Я васъ не понимаю!—удивилась она.—Послѣ всего, что было, развѣ это возможно?..

— Не только возможно, но нужно какъ для меня, такъ и для васъ... Все недоброе прошло, миновалось... Теперь-то и быть миру и любви, безъ искушенія... Я отъ васъ ничего не требую, никакихъ условій не предъявляю, я умоляю васъ объ одномъ, какъ о милости: возвратиться въ домъ мой полной хозяйкой, и чтобы дѣти ваши стали моими дѣтьми... Не откажите мнѣ въ этомъ! Никогда ни упрека, ни намека на прошлое вы отъ меня не услышите... клянусь вамъ!

Она пристально посмотрѣла ему въ глаза и, опустивъ голову, закрыла лицо руками.

— Бога ради, встаньте!—промолвила она, и въ ея голосѣ задрожали слезы.

Евгеній Петровичъ всталъ, подошелъ къ ней, отнялъ руки отъ ея заплаканнаго лица и поцѣловалъ ихъ. Она какъ-то вся встрепенулась, зарыдала и безсильно упала къ нему на руки... Онъ бережно довелъ ее до кровати и посадилъ. Дѣти одичалыми глазенками смотрѣли на него, а дѣвочка, глядя на мать, даже расплакалась...

— Довольно страданій, довольно ненависти и слезъ, Лена!—сказалъ онъ, нѣжно заглядывая ей въ лицо.

— Боже мой! да неужели это не сонъ? И это ты...

ты... такой недобрый... ты говоришь мнѣ это? Не вѣрю!— говорила она, смотря на него блестѣвшими отъ слезъ глазами.

— А чтобъ ты повѣрила, сейчасъ-же бери дѣтей и ѣдемъ ко мнѣ на елку... Для твоихъ, а отселѣ для нашихъ малютокъ она горитъ готовая у меня дома... Ѣдемъ, Лена!

— Милый!—уронила она невольно.—Но, вѣдь, ты, можетъ, не знаешь, какая я... какая пропащая, опозоренная, гадкая...

Онъ зажалъ ея ротъ рукою.

— Ни слова объ этомъ! Я все знаю и, можетъ быть, потому именно такъ счастливъ теперь, что могу вывести тебя на чистую, свѣтлую дорогу добра... Да сгинетъ прошлое, бросимъ его здѣсь, въ этой трущобѣ, и—станемъ «жить въ Богѣ»! Ѣдемъ, Лена, скорѣй! скорѣй!

Черезъ четверть часа квартирка въ мезонинѣ домика на Пескахъ опустѣла, а въ тотъ-же вечеръ, въ домѣ Евгенія Петровича устроилась экстренная семейная елка, на рѣдкость радостная и блаженная.

Супружескій подарокъ на елку.

IV.

Супружескій подарокъ на елку.

I.

Павелъ Сергѣевичъ и Марья Григорьевна Сивцовы или, просто, Поль и Маня, считали-бы себя счастливѣйшими на свѣтѣ супругами, если-бы въ ихъ семейной жизни не было одного маленькаго пробѣла, который, однако, такъ легко не замѣчаютъ нынче многія другія супружескія пары.

Вотъ уже три года, какъ Поль и Маня, послѣ долгаго и занимательнаго романа съ препятствіями, сочетались законнымъ бракомъ и—что всего удивительнѣе—*романъ* ихъ до сихъ поръ все еще не кончился.

Оба они молоды, полны силъ, красивы, матеріально обезпечены, любятъ другъ друга страстно и вполнѣ наслаждаются жизнью: плотно и сытно кушаютъ, гуляютъ, веселятся, сладко спятъ и почти все, остающееся за такими полезными занятіями, время наполняютъ поцѣлуями, столь долгими, что втеченіе каждаго изъ нихъ иной супругъ, напримѣръ, менѣе влюбленный, успѣлъ-бы выкурить самую огнеупорную «гаванскую» сигару.

Чего-же имъ недоставало для полнаго счастья?

Недоставало, говоря философскимъ стилемъ Шопенгауэра, живаго отождествленія ихъ двухъ «я» въ третьемъ «я», какъ настоятельнаго и необходимаго результата супружескаго сожительства, а тѣмъ болѣе — сожительства, скрѣпленнаго такой пламенной любовью. Говоря проще, у нихъ не было потомства, и, хотя съ такимъ лишеніемъ болѣе, чѣмъ охотно мирятся многіе экономные супруги, но для нашихъ героевъ оно было истиннымъ несчастьемъ и они употребляли всѣ зависѣвшія отъ нихъ средства помочь бѣдѣ.

Маня вынесла изъ института о продолженіи рода человѣческаго весьма поэтическое представленіе. Она думала, что, обыкновенно, ребятъ находятъ въ лѣсу, какъ грибы, а не то — въ огородѣ подъ капустнымъ листомъ. Потомъ, завязавъ свой романъ съ Полемъ, она кореннымъ образомъ измѣнила свое воззрѣніе на этотъ предметъ и стала воображать, что дѣти происходятъ какимъ-то волшебнымъ способомъ отъ поцѣлуевъ и—ни отъ чего болѣе...

Выйдя замужъ и почувствовавъ себя полной жизни и своего органическаго призванія женщиной, Маня естественнымъ порядкомъ стала жаждать сдѣлаться матерью. Вслѣдствіе этого, она душила мужа поцѣлуями, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, но, увы! — вожделѣнныхъ результатовъ не получалось.

— Боже мой, Поль!—исповѣдывалась она ему въ своей печали.—Я слыхала, что маленькіе выходятъ изъ поцѣлуевъ... Мы съ тобой, кажется, цѣлуемся, цѣлуемся, и—ничего... Что-жь это такое?

У Поля, вѣроятно, были нѣсколько иныя воззрѣнія на

этотъ патетическаго свойства предметъ и, вѣроятно, онъ съумѣлъ внушить ихъ Манѣ, потому что послѣ этого, она, неизвѣстно по какимъ причинамъ, сдѣлала визиты достославнымъ дщерямъ Гиппократа—Сусловой и Кашеваровой. Въ то-же время самъ Поль сталъ въ часы досуга прочитывать занимательныя и вдохновительныя сочиненія ученаго доктора Дебэ, а какъ-то, однажды, заблагоразсудилъ раздѣлить это полезное чтеніе съ Маней, но она съ первой-же страницы зардѣлась, какъ вишня, заткнула пальчиками свои розовыя ушки и, брезгливо крикнувъ: «ахъ какая гадость!», не захотѣла дальше слушать... Видно, ужь очень краснорѣчивая страница попалась (Добросовѣстность лѣтописца заставляетъ, впрочемъ, насъ сказать, что въ отсутствіе мужа и въ тайнѣ отъ него Маня довольно основательно познакомилась съ откровеннымъ докторомъ Дебэ. Женское любопытство взяло свое).

Не смотря, однако, на основательное знакомство съ литературой вопроса, живо занимавшаго молодыхъ супруговъ, на врачебные совѣты и на то, что Маня вполнѣ освободилась въ своихъ взглядахъ на дѣло отъ институтскихъ наивностей, матримоніальное желаніе ихъ не осуществлялось. Оно ихъ—и въ особенности Марью Григорьевну—постоянно озабочивало, мучило и служило источникомъ множества забавно-грустныхъ приключеній и сценокъ интимно-семейнаго характера, которыя — пусть уже представитъ себѣ живое воображеніе читателей и прекрасныхъ читательницъ.

II.

— Поль, что-же дѣлать?

— Маня, не знаю... Кажется, мы все передѣлали.

— Придумай! Ты непремѣнно долженъ придумать вѣрное средство, потому что ты виноватъ...

— Я?—Не ожидалъ! Кажется, я съ своей стороны...

— Нѣтъ, нѣтъ! Ты всему виною; я это теперь ясно вижу...

— Но въ чемъ-же я виноватъ?

— Ты меня мало любишь и даже, можетъ быть, не любишь ни крошечки!

— Я тебя не люблю?! Грѣшно тебѣ говорить это, Маня!

— Нисколько не грѣшно, потому что это правда... Ахъ, какая я несчастная, самая несчастная на свѣтѣ женщина!

И, по обыкновенію, слезы—тѣмъ болѣе горькія и обильныя, что безпричинныя, а извѣстно, что никакая печаль не дѣлаетъ женщину такой слезоточивой, какъ то прихотливое душевное настроеніе, когда ей просто хочется поплакать.

Подобныя сцены съ теченіемъ времени все чаще и чаще стали отравлять счастье молодой парочки. У Мани въ такихъ случаяхъ всегда Поль былъ во всемъ виноватъ и, хотя, обыкновенно, послѣ обвинительнаго приговора принимались во вниманіе смягчающія вину обстоятельства, но эта вѣчная подсудность начинала его нѣсколько тяготить.

Разъ, послѣ одной изъ такихъ семейныхъ сценокъ, Павелъ Сергѣевичъ, краснѣя и путаясь, съ смущеніемъ заявилъ, что онъ нашелъ «средство».

Моментально, горько плакавшая до этого заявленія, Марья Григорьевна просіяла и кинулась на шею милому супругу.

— Нашелъ?... Наконецъ то! Милый, хорошій, очарова-

тельный душончикъ мой! Какое-же средство? Говори, говори скорѣе, а то я умру отъ нетерпѣнія! — волновалась она, нѣжно ласкаясь къ мужу.

Поль колебался.

— Видишь-ли, Маня,—началъ онъ нерѣшительно: — я вполнѣ понимаю твое страстное желаніе стать матерью... Для женщины это такъ естественно и, можно сказать, даже необходимо; но что же дѣлать, если Богъ намъ не даетъ дѣтей и, можетъ быть, никогда не дастъ?

— Никогда не дастъ?! И слышать этого не хочу!

— Погоди... Допустимъ, что, дѣйствительно, не дастъ... Я это для примѣра только... Въ такомъ случаѣ, все-же отчаяваться еще не слѣдуетъ. Есть вѣрное средство инымъ путемъ удовлетворить потребность материнства, любви, — словомъ, ту потребность, которою такъ полно твое сердечко.

— Но какое средство?—Говори же, несносный!

Поль окончательно смѣшался и сталъ жадно и усиленно сосать находившійся у него въ рукахъ мундштукъ, хотя въ немъ вовсе и папиросы не было.

— Видишь-ли, милочка,—замямлялъ онъ, наконецъ:—я думалъ, что мы могли-бы, напримѣръ, усыновить какого-нибудь пріемыша.

Яркіе голубые глазки Мани сдѣлались вдругъ такими страшно большими, какъ если-бы хотѣли сразу проглотить всего Поля безъ остатка.

— Пріемыша?—съ мелодраматической разстановкой воскликнула она, и уже въ интонаціи ея голоса бѣдный Поль прочиталъ смертный приговоръ своей несчастной мысли.

— Пріемыша?!—повторила она еще съ большей амфазой.—Да вы, сударь никакъ съ ума сошли?

— Но отчего-же, мой другъ?—совсѣмъ убитымъ голосомъ спросилъ Поль, внутренно проклиная себя, что началъ объ этомъ предметѣ разговоръ.

— Онъ еще спрашиваетъ!—кипятилась Маня.—Ты думаешь, я не знаю, что значитъ взять пріемыша?—съ вызывающей минкой промолвила она.

Поль весь похолодѣлъ.—«Неужели она, точно, знаетъ?»—мелькнула у него въ головѣ ужасная мысль.

— Я очень хорошо знаю, что это такое!—продолжала Маня.—Это значитъ, что я украду или возьму напрокатъ материнскія права и, потомъ, подлинные родители будутъ постоянно наскучать мнѣ и напоминать, что я не настоящая мать, что ребенокъ для меня чужой...

У Поля отлегло отъ сердца.

— Въ такомъ случаѣ, Маня, сказалъ онъ, мы могли-бы взять сиротку...

— Ахъ, отстань, пожалуйста! Развѣ я могу любить чужаго, неизвѣстно чьего ребенка, который къ тому-жь, можетъ оказаться какимъ-нибудь гадкимъ?.. Наконецъ, я хочу быть матерью вполнѣ... Понимаете, милостивый государь,—вполнѣ! Напримѣръ, я желаю непремѣнно кормить дитя своей грудью...

— Что-жь?—сказалъ Поль, подумавши. — Тогда, для твоего удовольствія, Маня, мы можемъ взять груднаго ребенка...

— О, глупый, глупый!—воскликнула Маня, зажимая своими пальчиками ротъ Полю, и разразилась звонкимъ хохотомъ.

Она настолько ознакомилась съ интересовавшимъ ее вопросомъ, что тутъ-же указала всю несообразность послѣдней комбинаціи «глупаго» Поля.

— Послушайте, однако, Павелъ Сергѣевичъ!—строго и дѣловымъ тономъ заговорила она потомъ. — Съ какой это стати вы такъ, вдругъ, захлопотали о пріемышѣ? Ужь не имѣется-ли онъ у васъ въ виду и не сродни-ли онъ вамъ... а?

— Что ты, Господь съ тобою! — испуганно возразилъ Поль.—Откуда, вдругъ, такая дикая идея?

— Смотрите!.. Во всякомъ случаѣ, я не удивилась-бы теперь, еслибъ въ одно прекрасное утро позвонили къ намъ и прислуга, выйдя на звонокъ, нашла-бы на лѣстницѣ адресованную на ваше имя корзину съ какимъ нибудь эдакимъ препротивнымъ карапузикомъ... бррр! Предупреждаю, что, съ появленіемъ такого милаго сюрприза, я вамъ, Павелъ Сергѣевичъ, больше не жена!

На этомъ и кончился этотъ непріятный разговоръ.

III.

Разговоръ кончился и больше не возобновлялся. Супруги зажили попрежнему, и Маня, казалось, еще нѣжнѣе стала къ своему «глупому» Полю. Поль тоже неизмѣнно оставался любящимъ супругомъ; только по временамъ онъ сталъ задумываться, и можно было внимательному глазу подмѣтить, что его удручаетъ какая-то затаенная печаль и забота. Маня, повидимому, ничего этого не замѣчала; но отъ ея острыхъ глазъ не могли укрыться нѣкоторыя весьма странныя случайности, въ обнаруженіи которыхъ она — напротивъ — показала замѣчательный сыщицкій инстинктъ.

Какъ-то разъ она, съ самымъ наивнымъ личикомъ, отдала Полю, небольшой свертокъ, найденный у него въ пальто.

— Ты, милочка, должно быть забылъ это... возьми!— сказала она, подавъ свертокъ и остановясь передъ нимъ съ опущенными смиренно глазками.

Поль развернулъ свертокъ, и его точно громомъ поразило. Въ сверткѣ была пара прехорошенькихъ новенькихъ дѣтскихъ башмачковъ отъ Королева.

— Откуда это?—спросилъ онъ, самъ не свой отъ смущенія.

— Я сама, голубчикъ, хотѣла тебя объ этомъ спросить? — кротко возразила Маня. — Горничная, чистя твое пальто, нашла эту миленькую покупку въ его карманѣ и принесла ко мнѣ. Какъ могли дѣтскіе башмачки очутиться у тебя въ карманѣ—замѣчательно!

— Не понимаю! — сказалъ Поль, прійдя въ себя. — Вѣроятно, по ошибкѣ... Сегодня, я былъ у Королева и купилъ себѣ у него сакъ-вояжъ. Надо полагать, что прикащикъ смѣшалъ свертки и вмѣсто сакъ-вояжа сунулъ мнѣ эти, вотъ, неизвѣстно чьи башмачки... Нужно будетъ съѣздить обмѣнить.

— Съѣзди, миленькій, и будь впередъ осторожнѣе... Вѣдь, иныя ошибки бываютъ такія, что ихъ во всю жизнь не поправишь... Не правда-ли?

Послѣдняя фраза была сказана Маней значительно; но дальше ея ревнивая подозрительность на этотъ разъ не пошла, и Поль успокоился, какъ, вдругъ, немного спустя— новая случайность, и столь-же неожиданная и странная!

— Поль, поди сюда!—позвала, однажды, мужа Маня.— Посмотри, какая прелесть!—и съ этими словами она показала ему фотографическую карточку прехорошенькаго мальчика лѣтъ пяти. Поль взглянулъ и — послѣдняя кровинка сбѣжала съ его лица.

— Тебѣ не знакомъ этотъ прелестный плутишка?— спросила она.

— Нѣтъ, въ первый разъ его вижу... клянусь тебѣ!— рѣшительно и горячо возразилъ Поль.

— Вѣрю; но странно—отчего-же эта карточка очутилась у тебя въ портфелѣ?

— Ахъ, припоминаю! — ударилъ себя Поль по лбу, стараясь улыбнуться. — Очень простая штука! Знаешь, на улицахъ продаютъ такъ называемое «счастье» въ конвертикахъ. Я какъ-то купилъ одно такое «счастье» и нашелъ въ конвертѣ портретъ вотъ этого мальчишки.

— Да, это очень правдоподобно! — спокойно согласилась Маня и—опять ни слова больше!

Было еще нѣсколько подобныхъ-же непостижимыхъ случайностей, но самой удивительной изъ нихъ была слѣдующая.

Возвратившись откуда-то въ веселомъ настроеніи, Поль, не заходя къ себѣ, прошелъ прямо къ женѣ въ будуаръ и, усѣвшись возлѣ нея на кушеткѣ, сталъ разсказывать ей о томъ, гдѣ онъ былъ и какъ провелъ время. Въ патетическій моментъ разсказа ему понадобился носовой платокъ, но едва онъ вытащилъ его изъ кармана, какъ Маня залилась, вдругъ, смѣхомъ. Поль, сморкаясь, недоумѣвающими глазами смотрѣлъ на жену и не зналъ, чѣмъ объяснить ея веселость.

— Дай-ка мнѣ сюда твой носовой платокъ!—сказала, наконецъ, она, удерживаясь отъ смѣха.

Поль подалъ. Маня развернула платокъ и, взявъ его за два уголка, приподняла съ громкимъ хохотомъ.

— Смотри, обратилась она къ Полю, какой у тебя уморительный носовой платокъ! Гдѣ ты его добылъ?

Совершенно растерянный, Поль таращилъ глаза и самъ имъ не вѣрилъ: вмѣсто платка, у него непонятнымъ образомъ оказался дѣтскій холщевый передничекъ, какой, обыкновенно, надѣваютъ на ребятъ, чтобъ они не пачкали свое платье.

Хотя превращеніе это было слишкомъ ужъ странное и скандалезное, но и на этотъ разъ Маня довольно скоро согласилась съ нѣсколько фантастическими объясненіями мужа.

Вообще, во всѣхъ такого рода фатальныхъ приключеніяхъ Поль совершенно терялся въ разъясненіи поведенія жены. Всегда ревнивая и страстная тамъ, гдѣ дѣло малѣйшимъ образомъ касалось ея супружескихъ правъ, Маня въ данныхъ случаяхъ не обнаруживала ни тѣни подозрительности и безъ всякаго почти спора соглашалась съ натянутыми объясненіями смущеннаго мужа.

Полю было очевидно, что она лукавитъ и прикидывается, тая въ своей хорошенькой головкѣ какой-то замыселъ, но— какой? Поль не зналъ, но съ сердечной тоскою ждалъ какой нибудь бурной семейной драмы.

IV.

Приближались рождественскіе праздники. Незадолго до нихъ, Маня обратилась къ Полю съ оригинальной просьбой:

— Милый Поль, знаешь ли о чемъ я тебя хочу просить? — сказала она, ласкаясь къ нему, по обыкновенію, какъ кошечка.

— Нѣтъ, не знаю,—отвѣчалъ Поль.

— Обѣщай, что не откажешь.

— У меня для тебя, моя крошка, отказовъ нѣтъ...

— Позволь мнѣ нынче, въ сочельникъ, устроить у насъ дѣтскую елку!

— Сдѣлай одолженіе; но... но... мм...

— Ты хочешь сказать, что — какая-же дѣтская елка безъ дѣтей?.. да?.. Ахъ! видно мы съ тобой, милочка, носимъ на совѣсти какой нибудь ужасно тяжкій грѣхъ, что Богъ не хочетъ дать намъ ни одного, хотя-бы самаго, самаго крошечнаго ребеночка... Ты за собой такого грѣха не знаешь, мой другъ?

— Кажется... То есть, какъ тебѣ сказать?.. Конечно, я не святой, но, во всякомъ случаѣ... разумѣется...

— Не въ этомъ, впрочемъ, дѣло, дружочекъ. Поговоримъ о елкѣ... Я хочу устроить настоящую дѣтскую елку и позвать на нее бѣдныхъ дѣтей, у которыхъ не будетъ своей елки. Такихъ, я думаю, найдется не мало и въ нашемъ домѣ... Наконецъ, можно будетъ просто позвать съ улицы и чѣмъ бѣднѣе, тѣмъ лучше... Хорошо?

— Чудо какъ хорошо и мило! Прекрасная идея!

— Такъ ты, значитъ, позволяешь?

Вмѣсто отвѣта, Поль нѣжно разцѣловалъ пухленькія ладошки своей доброй «филантропки», какъ онъ ее назвалъ.

Маня принялась за устройство елки съ необыкновеннымъ одушевленіемъ, и, дѣйствительно, елка вышла у нея на славу, но отъ мужа она настоятельно потребовала, чтобы онъ не смѣлъ заглядывать въ ту комнату, гдѣ устроивалась елка, раньше, чѣмъ его позовутъ.

— Я хочу, чтобы и для тебя получилось тутъ вполнѣ эффектное впечатлѣніе,—пояснила Маня.

Въ сочельникъ, съ ранняго вечера, квартирка Сивцовыхъ жужжала, какъ улей, отъ дѣтскаго говора. Маня на-

звала десятка два ребятъ на свою елку и возилась съ ними съ чисто материнской нѣжностью, хотя между ними, дѣйствительно, находилось нѣсколько уличныхъ замарашекъ, неопрятныхъ и дикихъ, съ боязнью и недовѣріемъ озиравшихся на окружавшія ихъ дива, среди которыхъ они очутились такимъ чудодѣйственнымъ для нихъ образомъ. Маня и этихъ звѣренышей съумѣла сдѣлать ручными своей добротой и лаской.

Наконецъ, зажгли елку, размѣстили дѣтей и, когда веселое зрѣлище это приняло надлежащій эффектъ, Маня вызвала сидѣвшаго въ своемъ кабинетѣ Поля. Поль вошелъ и остановился въ очарованіи... Зрѣлище, дѣйствительно, было эффектное и трогательное.

Вдругъ, какой-то маленькій бутузъ самымъ неожиданнымъ образомъ нарушилъ этотъ торжественный моментъ. Съ громкимъ радостнымъ крикомъ: «Папа! папа!», онъ бросился подъ ноги Полю и привелъ его въ величайшее смущеніе. Это былъ прехорошенькій мальчишка, лѣтъ пяти, въ красивомъ костюмчикѣ, и онъ съ такой увѣренностью называлъ Поля своимъ «папой», такъ крѣпко вцѣпился въ его колѣни и весь рвался къ нему въ объятья, что разительный фактъ этотъ очень трудно было объяснить уже однимъ простымъ недоразумѣніемъ. Сознавая это, Поль почувствовалъ, какъ у него на головѣ встаютъ дыбомъ волосы и самая голова идетъ кругомъ отъ смущенія. Нѣсколько мгновеній онъ простоялъ въ остолбенѣніи, не смѣя поднять глазъ...

Передъ нимъ стояла Маня, и онъ чувствовалъ, что она смотритъ на него во всѣ глаза; но — какъ смотритъ? Что говоритъ ея взглядъ — смертный приговоръ или помилованіе?—онъ не зналъ и боялся узнать.

Но, вотъ, она сдѣлала движеніе, раздался ея голосокъ... она говоритъ ему, и — какъ мирно, какъ любовно... Боже! неужели это правда?

Поль поднялъ глаза. Передъ нимъ стояла Маня, вся свѣтлая и любящая, держа на рукахъ дерзкаго мальчишку, осмѣлившагося нарушить общій эффектъ праздника и привести въ велій конфузъ бѣднаго Поля.

— Милый мужъ, это тебѣ мой подарокъ на елку... Ты доволенъ? — сказала Маня, протягивая къ нему свою ношу.

Поль восторженно упалъ къ ея ногамъ и обнялъ ея колѣни.

— Маня! дивная моя! — воскликнулъ онъ, съ засверкавшими въ глазахъ слезами. — До сихъ поръ я тебя горячо любилъ, но съ этой минуты я тебя боготворю... Какое у тебя чудное, ангельское сердце!

— Ну, полно! — возразила растроганная Маня. — Для меня, вѣдь это тоже дорогой подарокъ... Теперь у насъ есть сынъ, твой сынъ, и ты увидишь, какъ я буду его любить! — и она горячо прижала къ своей груди малютку.

Патетическая сцена длилась долго и освѣтила собой елку нашихъ героевъ ярче всякихъ огней. Вѣроятно, въ этотъ сочельникъ въ Петербургѣ у немногихъ семей елка прошла такъ радостно и весело. Но всему бываетъ конецъ — кончился счастливый день и у Сивцовыхъ, а на немъ кончается и нашъ разсказъ. Въ заключеніе — пара необходимыхъ пояснительныхъ словъ.

V.

Проницательный читатель давно, конечно, догадался, что у Поля былъ грѣхъ молодости.

Года за три до своей женитьбы на Манѣ, тогда еще свѣжій, неопытный юноша, онъ сердечно увлекся однимъ милымъ, но погибшимъ созданіемъ и успѣлъ, на нѣкоторое время, силою своего молодаго искренняго чувства заставить это созданіе навратиться на путь истины. Мѣсяца три они прожили вмѣстѣ, какъ голуби, и результатомъ этой связи явился впослѣдствіи ребенокъ; но у подруги Поля оказалась волчья натура, которую, сколько не корми, она все въ лѣсъ тянетъ. Ей скоро наскучила чистая любовь юноши, наскучила мирная, тихая семейная жизнь, и она снова бросилась въ омутъ разврата и гульбы. Поль старался остановить ее, но, когда это ни къ чему не повело, бросилъ ее съ проклятіями. Долго они не встрѣчались; наконецъ, однажды, она позвала его къ себѣ, вскорѣ послѣ родовъ, и, указавъ на лежавшаго у ея ногъ на постели ребенка, сказала:

— Это твое отродье! Возьми его себѣ — оно мнѣ не нужно, а, если не возьмешь, я его придушу... Слышишь?

Поль не заставилъ себя уговаривать и, такимъ образомъ, сталъ отцомъ малютки, которому потомъ не пришлось ни разу увидѣть своей матери. Она вскорѣ заболѣла отъ разгульной жизни и отправилась на тотъ свѣтъ.

Когда Поль теперь только исповѣдался Манѣ въ своемъ грѣхѣ, она съ укоромъ ему сказала:

— Не стыдно-ли тебѣ было скрывать отъ меня до сихъ поръ эту исторію и то, что у тебя есть сынъ?

— Маня милая,—извинялся онъ, — я не зналъ, какъ

ты на это посмотришь? А послѣ разговора нашего о пріемышѣ—помнишь—боялся объ этомъ даже заикнуться... Жены, обыкновенно, такъ строги и взыскательны въ этомъ пунктѣ.

— Плохо-же ты меня знаешь, Поль! — съ ласковой укоризной сказала Маня. — Развѣ, любя тебя, я могу не любить твоего сына, а въ особенности такого прехорошенькаго?

Въ отвѣтъ на это Полю ничего не оставалось, какъ разцѣловать ручки умной, доброй жены.

— Но скажи, Маня, — сталъ распрашивать Поль въ свою очередь: какъ ты могла развѣдать мою тайну и отыскать моего сына?

— А ужь это мой секретъ!—лукаво возразила Маня.— Скажу тебѣ только, что съ твоимъ сыномъ я познакомилась лично еще за два мѣсяца до нашей елки. Признаюсь, мнѣ стоило много труда добыть адресъ того семейства, въ которомъ ты его помѣстилъ на воспитаніе. Я знала дни, когда ты его навѣщаешь и, однажды, мы чуть было не столкнулись тамъ носомъ къ носу... Боже, какъ я тогда перепугалась!

— О, женщины, какими ангелами вы можете быть, если захотите!—съ восторгомъ заключилъ этотъ разговоръ Поль, обнимая Маню.

ДВА

ЮМОРИСТИЧЕСКИХЪ РОМАНА.

I.

Супруги-любовники.

I.

Пуговка.

Какъ-то въ одно, отнюдь не прекрасное утро *онъ*, надѣвая сорочку, замѣтилъ, что у ея воротничка нѣтъ пуговки. Это его взорвало—тѣмъ сильнѣе, что до этого случая онъ уже три раза указывалъ женѣ на замѣченный изъянъ въ этой самой сорочкѣ, а пуговка все-таки еще не пришивалась.

— Маша! Ма-а-аша! закричалъ онъ не своимъ голосомъ, неистово срывая съ себя сорочку.

— Чего тамъ? отозвалась *она* изъ спальни самымъ обидно-равнодушнымъ тономъ.

— Ступай сюда!

— Некогда: я чешусь...

— Ступай сюда, я тебѣ говорю! затопалъ онъ ногами.

Она показалась въ дверяхъ, продолжая на ходу расплетать свои папильотки.

— Ну, что тутъ?

— Скажи пожалуйста, до какихъ же поръ я буду все это терпѣть?

— Что такое терпѣть?

— Это... это... это!

Онъ нервно комкалъ ни въ чемъ неповинную сорочку и тыкалъ ею женѣ въ глаза.

— Ничего не понимаю!

— Не понимаете? не видите? не знаете?—Святоша!.. Вѣдь, три раза,—цѣлыхъ три раза я молилъ васъ, упрашивалъ, убѣждалъ... камень, и тотъ бы почувствовалъ, а вы... вѣдь, вы женой мнѣ называетесь?

— Да что такое, наконецъ, Господи!

— Почему у меня нѣтъ пуговки у воротничка, а? перемѣнилъ онъ тонъ съ язвительнаго на грозный.

— Пуговки... И вотъ, изъ-за этакаго пустяка, вы поднимаете исторію? Тьфу! — и она съ видомъ полнѣйшаго презрѣнія повернулась, чтобъ идти къ себѣ.

Онъ грубо схватилъ ее за руку и втащилъ въ комнату.

— Нѣтъ, нѣтъ! Вы погодите... Я долго терпѣлъ... всему есть границы,—задыхаясь отъ гнѣва, говорилъ онъ. Такъ, сударыня, нельзя... Довольно я терпѣлъ...

— Что жь это, драться вы вздумали? Безобразникъ! захныкала она, дуя на отпечатокъ супружескихъ пальцевъ на своей пухленькой ручкѣ.

— Вы меня доведете до всего... Я довольно терпѣлъ... Чтобы сейчасъ, сію минуту, сію секунду пуговка была пришита!

— Х-ха... Какже, ждите! Стану я такому уроду прислуживаться!?

— А-га! Такъ вы не пришьете? Говорите: не пришьете?

— И не думаю, и не воображаю... Провалитесь вы съ вашими пуговками!

— Прекрасно, великолѣпно!.. Вамъ, вотъ, только эти дурацкія папильотки на умѣ... я знаю! указалъ онъ съ отвращеніемъ на шевелюру жены, утыканную бумажными трубочками. Но позвольте вамъ сказать, что я не для того женился на васъ, чтобы вы только и дѣлали, что папильотки свои по цѣлымъ днямъ расплетали... д-да!

— А я не для того замужъ за васъ шла, чтобы сидѣть надъ вашими пуговками и чинить вашу рвань!

— Рвань?!.. А кто меня довелъ до рвани, до раззоренія — вы не знаете? Ну-ка!

— И съ чего было васъ раззорять, — удивительно! Какъ были вы голышемъ, такъ голышемъ и остаетесь...

— Зачѣмъ же вы за меня замужъ пошли?

— Дура была, — больше ничего...

— Похвальная откровенность! Признайтесь еще, что — если вы прежде были дурой, то теперь стали дурой въ превосходной степени, и не только дурой, но еще и рохлей...

— А вы были и есть дуракъ и негодяй!

— Что-о-о? Что вы сказали?

— Я сказала, что вы были и есть дурр...

— Молчать!

— Такъ сейчасъ и замолчу...

— Мо-о-олчать... я говорю!

Спустя минуту, супружеская размолвка, естественнымъ порядкомъ, превратилась въ настоящій адскій шабашъ, въ которомъ ничего уже нельзя было разобрать, среди оглушительнаго крику, зыку и визгу. Еще черезъ минуту, неизвѣстно по какой причинѣ, грохнулась объ полъ столовая лампа, нѣсколько стульевъ оказались опрокинутыми, дремавшая подъ однимъ изъ нихъ кошка выскочила, съ за-

драннымъ хвостомъ, какъ ошпаренная, изъ комнаты и вся квартира явила, въ миніатюрѣ, видъ мамаева погрома.

Кухарка, выглянувшая было изъ кухни, съ минуту прислушалась къ супружескому содому и промолвила:

— Ишь, аспиды, прокламацыю какую подняли, а еще «господа» называются! Съ этими словами она немедленно выскользнула на лѣстницу, чтобъ, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ, подѣлиться интереснымъ «происшествіемъ» съ сосѣдками.

II.

Разъѣхались!

Они «разъѣхались»... Неужели изъ-за пуговки? — Да, изъ-за пуговки!

По нынѣшнимъ вольнымъ правамъ, это дѣлается удивительно легко и просто. Семейный очагъ повседневно разрушается: то изъ-за непришитой пуговки, то изъ-за свареннаго «въ крутую» яйца, когда супругъ любитъ яйца «въ смятку», то изъ-за модной шляпки, которую «варваръ»-мужъ не хочетъ или не можетъ купить своей несчастной прекрасной половинѣ... Да мало ли, при нынѣшнемъ развитіи галантерейности, врагъ человѣчества натворилъ всевозможныхъ соблазновъ, чтобы сѣять повсюду раздоръ и ополчать брата на брата, мужа на жену, и обратно!?

Всѣ эти «разрывы», «разъѣзды» и имъ подобные эпилоги семейныхъ «драмъ» мотивируются, обыкновенно, на языкѣ «соломенныхъ» вдовцевъ и вдовъ, многозначительнымъ и всеизвиняющимъ предлогомъ: «не сошлись характеромъ» и—баста!

Ваня и Маша—наши герои—тоже объясняли свой разводъ тѣмъ, что они «не сошлись характеромъ», а о фатальной пуговкѣ какъ-то оба умалчивали — точно сговорились. Въ самомъ дѣлѣ, очень ужъ пошлый и неправдоподобный, какъ подумаешь, предлогъ!

Въ сущности, ни Ваня, ни Маша — сами не знали хорошенько изъ-за чего они разошлись, какъ равнымъ образомъ не могли бы они объяснить и того, чего ради толкнула ихъ нелегкая сойтись и обвѣнчаться?

— Дуракъ былъ! говорилъ о себѣ Ваня.

— Дура была! говорила о себѣ Маша.

Было и еще одно, не менѣе солидное основаніе для ихъ «семейнаго счастья»: оба они были молоды и правоспособны... къ дѣторожденію, но—и только!

Ваня служилъ чиновникомъ и ничего не имѣлъ, кромѣ незначительнаго оклада; Маша, кромѣ неизбѣжнаго лисьяго салопа и столь же неизбѣжной двухспальной кровати съ периной—предмета, несомнѣнно, необходимаго для «семейнаго счастья», не принесла мужу никакого, болѣе или менѣе упрочивающаго брачныя узы, приданнаго.

Въ какой бы сверхъестественной степени ни были Ваня—«дуракомъ», а Маша—«дурой», сколь ни пламенно было бы ихъ взаимное влеченіе къ размноженію народонаселенія и сколь ни способствовала бы сему своими удобствами двухспальная перина, однакожь, эта вѣчная проголодь, эти вѣчно обрывающіяся пуговки, дырья, заплаты, эти надоѣдливые и нескончаемые «счеты» изъ мясной, изъ зеленной,—словомъ, весь этотъ «лирическій безпорядокъ» и антуражъ «счастья съ милымъ въ шалашѣ» неминуемо должны были испортить самый счастливый романъ.

Такъ или иначе, а наши супруги, послѣ достодолжнаго числа драматическихъ семейныхъ сценъ, въ родѣ вышеописанной, сочли за благо «разъѣхаться».

Маша, захвативъ свой лисій салопъ и другія, болѣе подвижныя цѣнности своего приданнаго, переѣхала подъ родительскій кровъ. Въ тотъ же день она послала было Ванѣ требованіе возвратить и двухспальную кровать—залогъ «семейнаго счастья», но присланные за нею носильщики имѣли малодушіе снести ее, вмѣсто адреса приславшей,—прямо на толкучій рынокъ. На то была непреклонная воля Вани!

Эмансипированный отъ супружескихъ узъ, Ваня счелъ первымъ долгомъ ликвидировать всѣ вещественныя принадлежности разрушеннаго семейнаго очага и началъ онъ ликвидацію, именно, съ кровати. Не далѣе, какъ черезъ часъ послѣ отъѣзда Маши къ родителю, онъ, при посредствѣ маклаковъ, съ полнымъ успѣхомъ окончилъ эту коммерческую операцію и, съ облегченнымъ сердцемъ, тоже отрясъ съ ногъ прахъ постылаго «шалаша» для дешеваго холостецкаго житья въ комнатахъ «съ небелью» отъ жильцовъ... Въ тотъ же день, вечеромъ, онъ шумно отпраздновалъ съ пріятелями въ «Демидронѣ» свое освобожденіе отъ супружескаго плѣненія.

А между тѣмъ, родитель Маши, крутой старый вдовецъ благочестивыхъ купеческихъ нравовъ (матери у Маши не было), крайне огорченный возвращеніемъ милой дщери въ родительское лоно, на родительскіе хлѣба, читалъ ей такую нотацію.

— Ну, коли ежели такой грѣхъ вышелъ—по собачьи, значитъ, законъ нарушили и покаяться не хотите,—неча

дѣлать: живи, отъѣдай у родителя послѣдній кусокъ, трескай на здоровье (по первоначалу онъ вовсе не хотѣлъ было пускать дочку къ себѣ въ домъ)! Только слушай, Машка,—у меня, чтобъ не баловаться, нишкни! Стала ты вдовою, такъ ужь и живи по вдовьи—честно и сѣдинъ моихъ не позорь... убью, а не то—вышвырну на улицу мигомъ...

— А ты, сестра, — обратился онъ къ проживавшей у него, въ качествѣ хозяйки дома, сестрѣ старой-дѣвѣ, — ты смотри за ней въ оба и потачки не давай... Баба еще молодая, дури въ головѣ много, — того и гляди шурымуры заведетъ съ какими ни на есть стрекулистами... Такъ у меня—чтобъ строго... Слышите?

III.

На вдовьемъ положеніи.

Прошло около двухъ мѣсяцевъ съ той поры, какъ Маша зажила въ домѣ родительскомъ «на вдовьемъ положеніи».

Житье было, конечно, не сладкое, какъ всегда тѣмъ дѣтямъ у родителей, которыхъ послѣдніе считаютъ выдѣленными, отрѣзанными ломтями. Особенно тяжело было Машѣ соблюдать «вдовье положеніе», по программѣ обозленнаго родителя и его приспѣшницы-тетушки. Точно въ монастырѣ: сиди въ четырехъ стѣнахъ, не смѣй безъ спросу никуда выйти, даже въ окно на улицу поглядѣть—грѣхъ, за совершеніе котораго сыпался цѣлый градъ попрековъ и наставленій... Тоска!

Тетушка, по обычаю старыхъ цѣломудренныхъ дѣвъ, оказалась неумолимымъ и неусыпнымъ аргусомъ въ охра-

неніи легкомысленной племянницы отъ малѣйшихъ поползновеній и соблазновъ амурнаго свойства. Она постоянно подозрѣвала ее въ тайныхъ любовныхъ «интригахъ» и ревновала положительно ко всякому индивидууму, который имѣлъ хотя бы самое отдаленное подобіе мужчины. Домовый дворникъ, чумазый трубочистъ, городовой, занимавшій постъ, по долгу службы, противъ оконъ Маши,—словомъ, каждое встрѣчное двуногое существо, облеченное въ панталоны, было непремѣнно, въ воображеніи тетушки, тайнымъ «воздахтаромъ» племянницы.

Маша—женщина не особенно пылкаго темперамента и не особенно развращенная, волей-неволей должна была, благодаря этому безпрерывному зондированію ея сердца мнительной тетушкою, сосредоточивать свои помыслы на тѣхъ же романическихъ вопросахъ нарушенія вдовьяго обѣта. А тутъ безъисходная скука, одиночество и бездѣлье—какъ не поддаться соблазну, особенно, когда въ жилахъ течетъ молодая кровь, кормъ сытный, здоровья—хоть на три вѣка!

— Братецъ, а вѣдь у насъ Маша *того*, — неопредѣленно и таинственно шепнула какъ-то тетушка суровому родителю.

— Чего «того»? мрачно освѣдомился онъ.

— Балуется, братецъ... Имѣю подозрѣніе...

— На кого?

— Такъ полагаю, что безпремѣнно съ письмоносцемъ снюхалась...

— Съ какимъ еще письмоносцемъ?

— Который, значитъ, газеты и письма подаетъ — почтальонъ.

— Вѣрно-ли?

— Ужь такъ вѣрно, братецъ, какъ нельзя быть вѣрнѣе! Давеча пришелъ, подалъ газету и—стоитъ... ждетъ... Кухарка спрашиваетъ: «что надо»? А онъ: «вызови, говоритъ, Марью Андревну». Та вызвала. Маша вышла, а онъ сейчасъ письмецо ей — «въ собственныя, говоритъ, руки», и этакъ, вотъ, еще подъ козырекъ сдѣлалъ, какъ офицеръ. Я потомъ спрашиваю, что за письмо? — «Такъ, говоритъ, отъ подруги»... А какое отъ подруги—какъ прочла, ровно какъ полымемъ загорѣлась и письма не кажетъ: «затеряла», говоритъ... И послѣ того—чуть письмоносецъ позвонитъ—она сама не своя: бѣжитъ въ переднюю, будто газету принять... Я не сплетница, братецъ, а только что очень ужъ подозрительно...

— Выслѣди, накрой, тогда я посвойски поговорю! рѣшилъ родитель.

— Я, братецъ, всей душою...

— Дѣйствуй!

Мнительная весталка довела свою бдительность до кошачьей чуткости. Разъ обнаруживъ, что у Маши завелась тайная переписка, она пустила въ ходъ всѣ средства и орудія шпіонства, чтобы перехватить эту переписку. Она подобрала ключи ко всѣмъ ящикамъ и шкафамъ въ комнатѣ Маши и каждый день секретно рылась въ нихъ, какъ въ своихъ собственныхъ: ревизовала ея платья, обувь, книги — все, что только могло служить вмѣстилищемъ подозрительныхъ писемъ. По слову «ищите и обрящите»,—тетушка, въ концѣ концовъ, достигла таки задушевной цѣли.

IV.

Въ западнѣ.

Стояло лѣто. Дѣйствующія лица сей правдивой повѣсти жили на дачѣ.

Съ Машей, дѣйствительно, происходило что-то необыкновенное. Отъ дачнаго ли воздуха, отъ большей ли свободы, обусловливаемой дачной прохладной жизнью, или отъ другихъ какихъ животворящихъ причинъ, только она замѣтно посвѣжѣла и какъ бы помолодѣла: на ея расцвѣтшемъ личикѣ лежалъ мягкій отпечатокъ удовлетворенной нѣги— почти счастья... Даже тетушка не въ состояніи была «сглазить» ея счастливое настроеніе своими зловѣщими взорами. Но чѣмъ ярче цвѣла Маша, тѣмъ подозрительнѣе становился ея неусыпный аргусъ.

Однажды Маша, возвратясь съ прогулки, съ ужасомъ увидѣла, что изъ подъ ея кровати торчатъ чьи-то барахтающіяся ноги.

— Ахъ! вскрикнула она. Кто это здѣсь?

— Не ори: это—я, послышался успокоивающій отвѣтъ изъ-подъ кровати.

— Боже мой, тетушка!.. Что вы тамъ дѣлаете?

— Я ловлю твою противную кошку... чтобъ ей пусто было, пакостницѣ!

И съ этими словами, тетушка, вся растрепанная и запыхавшаяся, выползла изъ-подъ кровати, держа въ рукѣ пищавшаго котенка.

— Я хочу ее высѣчь, потому что она сливки изъ молочника лакаетъ, пояснила тетушка.

На самомъ дѣлѣ, сливки тутъ были нипричемъ. Войдя, въ отсутствіе Маши, въ ея комнату для обычныхъ изысканій, тетушка замѣтила, что котенокъ, любимецъ племянницы, играетъ съ какой-то бумажкой. Всякая бумажка, въ глазахъ тетушки, возбуждала, при данныхъ обстоятельствахъ, сильнѣйшее подозрѣніе. Она кинулась къ котенку, а тотъ—не будь дуракъ—шмыгнулъ подъ кровать, съ своей игрушкою въ зубахъ. Тетушка полѣзла за нимъ и добыла-таки заинтересовавшую ее бумажку.

Сверхъ чаянія, бумажонка оказалась—кладомъ. Въ ней значились слѣдующія предательскія строки:

«Милая Мэри!

«Сегодня, въ 2 часа пополуночи, я буду ждать тебя въ вашей бесѣдкѣ. Выходи къ страстно любящему тебя другу, И. П.»

Какъ Маша выронила эту записку и какъ попала она въ когти игриваго котенка—разсказывать не станемъ: дѣло обыкновенное...

Нельзя представить себѣ то злорадное торжество, которое овладѣло тетушкой, когда она прочла содержаніе записки.

— Я вѣдь вамъ говорила, братецъ, а вы не вѣрили. Вотъ—полюбуйтесь теперь! съ побѣдоноснымъ видомъ представила она роковую улику родителю.

Родитель, насупивъ брови, долго читалъ и комкалъ въ рукахъ предательскій документъ.

— Срамница, погоди-жь ты у меня! выругался онъ, наконецъ. И ты сказываешь, всему причина—письмоносецъ?

— Письмоносецъ, это—само собою, а, можетъ, и еще другой какой-нибудь кавалеръ... Я, братецъ, не люблю

сплетенъ; но только какъ, по нынѣшнимъ временамъ, сами знаете, молодыя женщины страсть какъ развратны... У иной столько любовниковъ, сколько дней въ году...

— Ладно! накроемъ,—тамъ разберемъ...

Травля устроилась по всѣмъ правиламъ искусства. Неусыпная тетушка еще задолго до полуночи заняла свой наблюдательный постъ на чердакѣ, откуда, чрезъ слуховое окно, открывался великолѣпный видъ на бесѣдку. Родитель, запасшись толстой палкой, показалъ видъ, что уѣзжаетъ на ночь въ городъ и сторожилъ добычу съ сосѣдняго огорода, граничившаго съ садомъ ихъ дачи. Онъ дождался той поры, когда таинственный гость перелѣзъ черезъ заборъ въ садъ. Ровно въ половинѣ третьяго, по сигналу тетушки съ чердака, бесѣдка была стремительно атакована родителемъ и привлеченнымъ къ союзу дворникомъ. Тетушка, спѣшившая на мѣсто дѣйствія съ чердака, должна была дѣйствовать, въ качествѣ резерва.

На шумъ аттакующихъ, изъ бесѣдки скользнула какая-то пугливая тѣнь.

— Ловите! держите! завопила не своимъ голосомъ тетушка, освѣщая мѣсто «происшествія», предусмотрительно захваченнымъ изъ дому, фонаремъ.

Разсвирѣпѣвшій родитель загородилъ дорогу тѣни и схватилъ ее за руку. Это оказалась Маша, вся трепетавшая отъ смертельнаго перепуга.

— Ага! Такъ ты домъ мой безчестить... Погоди жь, безстыжая! сжимая ея руки, какъ въ клещахъ, лютовалъ родитель.

— Я, папаша... заикнулась молодая женщина.

— Ты что здѣсь дѣлала, а? Говорри!

— Я, папаша, ничего... Я гуляла...

— Гуляла?.. Съ кѣмъ? Кто у тебя въ бесѣдкѣ былъ?

— Никого... я была одна...

— Не ври! Сейчасъ признавайся... Все равно — поймаемъ..

— Это, папаша, Ваня... Онъ по пути шелъ и... и зашелъ, по нѣкоторомъ колебаніи, созналась Маша.

— Какой Ваня?

— Мужъ мой.

— Мужъ?!

«Папаша» широко разинулъ ротъ и выронилъ изъ рукъ палку: онъ никакъ не ожидалъ такого удивительнаго извѣстія.

— И что она сочиняетъ, срамница!.. Мы, вотъ, сейчасъ, братецъ, посмотримъ, какой это у нея мужъ? нашлась тетушка и храбро устремилась въ бесѣдку, съ высоко поднятымъ надъ головою фонаремъ.

— Напрасно безпокоитесь! вышелъ ей на встрѣчу изъ бесѣдки искомый кавалеръ. Я самъ выйду. Прятаться мнѣ нечего, потому я—въ своемъ правѣ...

Тутъ ужь и тетушкой овладѣла оторопь: передъ ней стоялъ, точно, Ваня—подлинный и законный супругъ Маши.

— Оказія! весело замѣтилъ присутствовавшій при этой сценѣ дворникъ, выразительно почесывая затылокъ.

— Что жь это вы, анаѳемы, смѣяться надо мной вздумали? разразился родитель.

— Боже, какой срамъ! какой срамъ! вопіяла обезкураженная тетушка.

— Никакого тутъ нѣтъ ни смѣху, ни сраму, потому какъ мужъ и жена всегда и вездѣ могутъ, по закону,

имѣть между собою... разговоръ, резонерствовалъ Ваня, равнодушно похлопывая свои брючки тросточкой.

— Да, вы, вѣдь, перегрызлись и развелись?

— Никакого промежь насъ разводу не было, а только что маленькое недоразумѣніе вышло, которое мы теперь предали забвенію и сошлись на прежнемъ основаніи...

— Тьфу, окаянные! Ты-то зачѣмъ же молчала, что у васъ, съ твоимъ шалаберникомъ, эта самая канитель опять завелась? набросился родитель на дочь.

— Я, папаша, боялась, что вы разсердитесь,—оправдывалась та.

— Еще-бы! Интригу завели, будто любовники изъ романа! Смѣхъ людямъ сказать! язвительно отозвалась тетушка.

— Такъ я вотъ что скажу тебѣ, дочка: либо ты ступай къ нему—твоему безпутному муженьку — цѣлуйся съ нимъ, и я тебя больше знать не хочу; либо оставайся въ родительскомъ домѣ, но чтобъ у меня этой пакости больше не было... Вольному—воля, спасенному—рай!

Маша взглянула на Ваню; Ваня взглянулъ на Машу, и—оба потупились. Такой крутой оборотъ дѣла, очевидно, вовсе не входилъ въ ихъ разсчеты...

— Папаша, позвольте намъ подумать, — робко промолвила Маша.

— Думайте... Даю сутки сроку.

На этомъ и покончилась ночная сцена. Назавтра Ваня долженъ былъ явиться, чтобъ уже открыто объясниться и условиться съ женою.

V.

Милые бранятся—только тѣшатся.

Долгъ бытописателя обязываетъ насъ вернуться нѣсколько назадъ — къ обстоятельствамъ, предшествовавшимъ описаннымъ событіямъ.

Какимъ образомъ случилось то, что Ваня и Маша, послѣ разрыва, нашли удобнымъ и пріятнымъ сойтись снова на прежнюю матримоніально-интимную ногу?

Какъ-то мѣсяца черезъ полтора послѣ разлуки, Маша, возвращаясь изъ церкви, неожиданно повстрѣчалась съ Ваней. Это была ихъ первая встрѣча послѣ того, какъ они взаимно эмансипировались отъ супружескихъ правъ и обязанностей. Оба они сгорѣли отъ конфуза и отвернулись, показывая видъ, что не узнали другъ друга; но, пройдя нѣсколько шаговъ, инстинктивно оглянулись и... судьбѣ было угодно, чтобъ они оглянулись одновременно. Глаза ихъ встрѣтились, сердца забились однимъ и тѣмъ же чувствомъ любопытства и тревоги. Мгновенно вспомнилась обоимъ ихъ еще недавняя близость и—все, что было въ ней и сладкаго, и горькаго...

Встрѣтившись глазами съ Машей, Ваня, самъ не зная—зачѣмъ, круто повернулъ и пошелъ вслѣдъ за нею. Въ первую минуту это ее страшно испугало и она ускорила шаги. Когда онъ нагонялъ ее и она уже слышала за спиной его торопливую походку, ей представилось, что онъ непремѣнно скажетъ ей какую-нибудь дерзость, оскорбитъ ее...

— Маша, зачѣмъ же ты бѣжишь отъ меня?

Онъ сказалъ это такимъ нѣжнымъ, молящимъ тономъ, что сразу обезоружилъ ее.

— Ты потеряла перчатку... Возьми!

Она взяла. Нѣсколько мгновеній они шли, молча и не глядя другъ на друга... Оба запыхались—и отъ волненія, и отъ скорой ходьбы.

— Ты устала... Пойдемъ тише...

— Я не знаю, что́ вамъ отъ меня нужно? сдѣлала она послѣднюю попытку соблюсти строгій тонъ оскорбленной невинности. Идите своей дорогой, а меня оставьте...

— Маша, вѣдь я мужъ тебѣ, чтобы тамъ между нами ни случилось...

— Хорошъ мужъ! Развѣ порядочные мужья обращаются такъ съ женами, какъ вы со мной обращались?.. Вдругъ, изъ-за какой-то противной пуговки такой скандалъ поднять... Я этого вамъ никогда, никогда не прощу!

— Ужь будто-бы?

— Можете быть увѣрены... И напрасны всѣ эти разговоры... Одна непріятность!

— Значитъ, ты такъ-таки ни капельки меня не любишь?

— Не вамъ-бы объ этомъ спрашивать!.. Сами-то вы любили-ли меня когда-нибудь?

— Будь я анаѳема — любилъ и теперь люблю... еще пуще прежняго!

Довольно было вступить въ пререканія по этому щекотливому и скользкому вопросу, чтобы договориться до соглашенія и примиренія. Ванѣ было тѣмъ легче убѣдить Машу въ своей неостывшей любви и вѣрности, что она сама внутренно очень желала въ этомъ убѣдиться... Онъ такъ горячо и искренно раскаявался въ своей грубости и несправедливости, такъ нѣжно молилъ ее о прощеніи, что въ концѣ ихъ прогулки она снизошла до того, что дала ему

поцѣловать свою лапку и согласилась выйти на новое свиданіе.

Такимъ-то образомъ началась ихъ супружеская любовь— «по возобновленіи», возбужденная конфертативнымъ дѣйствіемъ разлуки. Особенно завлекающей прелестью ея были тайна и романичность всѣхъ этихъ свиданій, поцѣлуевъ украдкой, секретныхъ записочекъ и т. под. любовнаго вздора, имѣющаго высокую цѣну въ глазахъ истинныхъ аматеровъ куртизантства. Словно они вновь начинали свой романъ, вновь праздновали свой медовый мѣсяцъ... Милѣе всего было для нихъ то, что они, оставаясь супругами, какъ-бы вкушали запретный и сладкій плодъ адюльтера.

Мужъ-любовникъ, жена-любовница — что́ можетъ быть очаровательнѣе? Плутоватый божокъ любви не изобрѣталъ ничего болѣе страннаго и, въ то-же время, болѣе обольстительнаго... Пусть же будетъ извѣстно читателю, если онъ этого не знаетъ, что наши любовники-супруги далеко не единственные въ своемъ родѣ въ наше утилитарное время! Нынѣ очень многіе просвѣщенные мужья и жены устраиваютъ свое «семейное счастье» подобнымъ комфортабельнымъ, а главное — дешево стоющимъ манеромъ. Мужъ живетъ холостымъ человѣкомъ, жена пользуется иждивеніемъ родныхъ: никакихъ издержекъ, хлопотъ и дрязгъ по созиданію «семейнаго очага» они не знаютъ, и только снимаютъ, такъ сказать, однѣ сливки брачнаго сожительства. Дѣти... но, вопервыхъ, современныя «умныя» женщины какъ-то такъ экономно устроены, что дѣтей у нихъ или вовсе не бываетъ, или, если они и бываютъ, то — «очень, очень маленькія», и при томъ въ весьма ограниченномъ количествѣ... Наконецъ, для чего-нибудь существуютъ-же воспитательные дома и разныя вольнопрактикующія воспитатель-

ницы, выкармливающія, а еще чаще замаривающія всѣхъ этихъ надоѣдливыхъ пискуновъ—по весьма сходной цѣнѣ, на радость и утѣшеніе родителей?! Словомъ, всѣ хлопоты и неудобства, вытекающія изъ брачной жизни, отлично предусмотрѣны современной филантроніей и индустріей... Супругамъ остается только кушать клубничку и наслаждаться!

Эти-то удобства супружескаго адюльтера на законномъ основаніи особенно и плѣняли нашихъ героевъ. Они видѣли, что пока они жили вмѣстѣ и собственнымъ коштомъ свивали себѣ гнѣздо—не было конца ихъ раздорамъ и попрекамъ, теперь-же, живя порознь, каждый независимо отъ средствъ другаго, они не имѣли никакихъ поводовъ грызться и—безмятежно наслаждались дружбой и любовью... Чего лучше?!

Невольно наткнувшись на это счастливое открытіе, Ваня и Маша, не сговариваясь, рѣшили воспользоваться имъ вполнѣ... И пользовались! Въ этомъ вся разгадка той тайны, какою оба они, въ особенности-же Маша, окружили свои интимныя сношенія «по возобновленіи»...

Тайна ихъ была открыта и—что хуже всего—пуристъ-родитель поставилъ очень круто ультиматумъ... Какъ тутъ быть?

Неизвѣстно, о чемъ толковали съ глазу на глазъ Ваня и Маша, на другой день послѣ сцены у бесѣдки. Для насъ довольно знать только, что потомъ онъ ушелъ *одинъ*, а она осталась въ родительскомъ домѣ, согласно родительской волѣ—на «вдовьемъ положеніи»...

Вы вольны думать, что Маша только наружно подчинилась родительской волѣ и что романъ ея съ Ваней имѣлъ продолженіе... Ни оспоривать, ни подтверждать этого—я не стану, такъ какъ это къ предмету моей повѣсти уже не относится.

II.

Романъ въ нѣсколькихъ звукахъ.

(Изъ воспоминаній глухаго).

I.

Помню, у меня былъ очень вѣрный, тонкій и необыкновенно воспріимчивый слухъ... Сколько эта способность доставляла мнѣ невыразимыхъ мученій! Сколько разъ я отъ всего сердца желалъ оглохнуть, чтобы не слышать плотоядныхъ воплей сильныхъ и раздирающихъ душу стоновъ слабыхъ, чтобы не слышать, наконецъ, фальшивыхъ нотъ, которыми такъ полна человѣческая жизнь и которыми такъ страшно изобиловала моя собственная несчастная жизнь!

Глупецъ! я не понималъ тогда весь ужасъ положенія глухаго, я не зналъ, что оглохнуть, значитъ, на половину умереть — даже хуже, чѣмъ умереть.

Что такое для васъ вся природа и вѣнецъ ея, когда вы лишены способности внимать сладкому голосу любви, серебристымъ трелямъ соловья, чудной мелодіи вдохновенной пѣсни, меланхолическому журчанью ручья, тихому говору вѣтерка въ тѣнистой рощѣ? — Ничто или почти ничто!

Съ той минуты, какъ я оглохъ—міръ сталъ для меня не то пустыней, не то какимъ-то музеемъ автоматовъ, въ которомъ есть образы, есть краски, есть движеніе, но нѣтъ души и ея выразителя — слова, значитъ, нѣтъ жизни... Люди—нѣмыя маріонетки, природа — картонная декорація!

Вообразите себѣ хоть на минуту, что кругомъ васъ мертвая тишина, до того мертвая, что вы не слышите даже собственнаго дыханія и біенія своего сердца, — васъ охватитъ тотъ леденящій ужасъ, который человѣкъ долженъ испытывать, пробудившись отъ летаргіи въ могильномъ склепѣ... Но, нѣтъ, вы этого вообразить себѣ не въ состояніи!

Въ моемъ положеніи человѣкъ весь уходитъ въ свои воспоминанія, въ свое прошлое, полное для него то чарующихъ, то мучительныхъ звуковъ и словъ... Нельзя оторваться отъ нихъ! Вспоминая событія—вспоминаешь прежде всего, какъ они звучали... точно, фантазія ваша претворила ихъ въ гармонизированные образы, а ваша память стала какъ-бы клавіатурой, прикосновеніемъ къ которой то или другое событіе возстановляется предъ вами въ характеристическихъ нотахъ.

Я коснусь теперь тѣхъ клавишей въ моей волшебной клавіатурѣ, которыя имѣли особенно роковое значеніе въ моей жизни.

II.

Тссс!.. Я опять слышу эту восхитительную пѣсенку; опять чувствую, какъ въ очарованной груди моей замерло дыханіе, какъ эта пѣсня окрыляетъ все существо мое и, мнѣ чудится, что я лечу все выше и выше — въ глубь

сверкающаго неба, въ лазури котораго плавно движутся и тонутъ эти легкія, причудливыя, какъ сонъ поэта, золотисто-дымчатыя облака... Незабвенная и невозвратимая минута!

Какъ теперь помню, это былъ чудесный іюньскій вечеръ. Дѣло происходило на дачѣ — въ Лѣсномъ. Я сидѣлъ въ своей комнатѣ за рабочимъ столомъ и писалъ. Окна были отворены настежь. Вдругъ, какъ-то внезапно и, какъ мнѣ показалось тогда, очень близко, почти надъ ухомъ, я услышалъ эту удивительную пѣсенку и — застылъ отъ восторга.

Она пѣла... Вы засмѣетесь, что подобный вздоръ могъ такъ глубоко меня тронуть... Она пѣла о какой-то «чудесной незнакомкѣ», которую знаютъ «небеса», да еще—

„Вѣтеръ знаетъ—кто она,
Облака ее видали,
Какъ надъ ней издалека
Легкой тѣнью пробѣгали...“

Совсѣмъ пустой и даже не очень грамотный романсикъ, и пѣла она его, вовсе не стараясь «плѣнять», пѣла вполголоса, очевидно, не думая о томъ, какъ и что она поетъ... Такъ поютъ птицы и дѣти; но эта-то непосредственность и обворожила меня!

Не зная и не видя пѣвуньи, я, по ея голоску, заключилъ, что она должна быть еще очень молода, добра и чиста, какъ ангелъ, немножко мечтательна и непремѣнно граціозна... Словомъ, «чудесная незнакомка» стояла передо мной, какъ живая; мало этого—пока она пѣла, я уже любилъ ее, любилъ со всѣмъ пыломъ юношескаго сердца.

Притаивъ дыханіе, на цыпочкахъ, подошелъ я къ окну и украдкой заглянулъ на пѣвунью. Она сидѣла на балконѣ сосѣдней дачи — сидѣла одна и... штопала чулокъ... Я не могу вамъ разсказать, какой поэтической показалась мнѣ тогда вся эта обыкновеннѣйшая картинка: этотъ неизбѣжный новодеревенскаго стиля дачный балкончикъ съ неизбѣжной парусинной маркизой, тощая осина, трепетавшая надъ ея головкой своими блѣдными и жидкими листьями, и этотъ, наконецъ, чулокъ—какъ теперь помню—съ огромной дырой на пяткѣ... Она сама... была-ли она хороша на самомъ дѣлѣ?.. Потомъ, много дней спустя, она казалась мнѣ иногда безобразной; но въ ту минуту для меня не существовало прелестнѣе женщины на свѣтѣ.

Такъ начался мой романъ — начался онъ *звукомъ* — звукомъ ея пѣсенки и, въ дальнѣйшемъ своемъ теченіи, памятенъ для меня только сопровождавшими его звуками.

III.

Вотъ я въ паркѣ Лѣснаго... въ уединенной аллеѣ... Ночь—прекрасная августовская ночь, съ золотистой луною и со всѣми ночными чарами. Я сижу на скамейкѣ и слышу, какъ у меня страшно бьется сердце...

Я жду ее: у насъ сегодня—*первое* rendez-vous...

Боже мой, какъ ужасно долго тянется время! Но вотъ стрѣлка на моихъ часахъ приближается къ условленному часу... Я замеръ и весь превратился въ слухъ... Какъ теперь слышу, по пролегающей вблизи дорогѣ проѣзжалъ шагомъ чей-то экипажъ порожнемъ и кучеръ его тончайшей фистулой вытягивалъ:

„Что съ дѣвицей сдѣлалось,
Что съ красной случилося?
Охъ-охъ-охъ!
Что съ красной случилося?..

Спустя немного это раздражавшее меня пѣніе смолкнуло... Опять наступила вокругъ меня мертвая тишина... Я напрягалъ мой слухъ и—ни звука. Вдругъ, на поворотѣ аллеи, раздались легкіе, торопливые шаги... Еще мгновенье, я различилъ невыразимо обольстительный въ подобныя минуты и при подобныхъ условіяхъ шелестъ женскаго платья... Еслибъ все небо раскрылось для меня тогда, я не былъ бы болѣе счастливъ и упоенъ! Черезъ минуту *она* лежала въ моихъ объятіяхъ и въ полузабытьи шептала: «люблю... люблю!». Финаломъ нашего дивнаго ноктурно былъ—долгій, жгучій поцѣлуй, музыку котораго я никогда не забуду... Что такое передъ гармоніей *перваго* поцѣлуя всѣ аріи и дуэты вашихъ геніевъ-композиторовъ!

Далѣе, въ моей памяти отчетливо встаетъ, ширится и торжественно паритъ въ пропитанную благовоннымъ ладономъ высь ярко освѣщеннаго храма стройный звукъ «Исайе ликуй»... Грузный протодіаконъ ужасающимъ басомъ возвѣщаетъ: «и жена да боится своего мужа-а-а-а»... Она улыбнулась и, украдкой, сквозь фату, сверкнула на меня лукавыми глазками... Какъ она была въ эту минуту прелестна!

Одновременно воскресаетъ передо мной цѣлый ураганъ счастливыхъ упоительныхъ звуковъ медовыхъ дней медоваго мѣсяца.

— Фанни, ты спишь? — прерывающимся отъ сладкаго волненія голосомъ спрашиваю я среди ночной тиши, и—звукъ моего шопота смущаетъ и пугаетъ меня, какъ еслибъ

я былъ воръ, забравшійся въ богатый чертогъ, съ цѣлью украсть неоцѣнимое сокровище... И я дрожу, какъ преступникъ, ожидая ея отвѣта.

— Сплю!—чуть слышно произноситъ она и чуть слышно смѣется, плутовка, шаловливо звенящимъ смѣхомъ, уткнувъ свою кудрявую головку въ подушку...

Сколько такихъ сладкихъ гармоническихъ мгновеній проносится передо мной — проносится и, вдругъ, обрывается оглушительной фанфарой звонкой пощечины... Да, пощечины, которую я слышу, какъ теперь, въ моихъ ушахъ и чувствую на моей щекѣ, и — кровь бросается мнѣ въ голову отъ этого ужаснаго воспоминанія...

IV.

Чтобы однимъ словомъ выразить всю громадность несчастья, постигшаго меня въ женитьбѣ, довольно сказать вамъ, что моя жена была музыкантша... Му-зы-кантша!.. Понимаете-ли вы все разрушительное, антисемейное значеніе этого слова?!

Музыкантша она была неистовая и, къ довершенію моего злополучія, талантливая, несомнѣнная артистка и, за всѣмъ тѣмъ, послѣдовательница «музыки будущаго»...

Конечно, я зналъ еще до свадьбы порокъ моей жены, но... я любилъ мою Фанни, любилъ настолько сильно, что, не взирая на мое отвращеніе къ музыкѣ «будущаго», рискнулъ соединиться съ нею на вѣки. Я надѣялся, что моя горячая любовь, семейныя заботы, наконецъ, дѣти (я еще наивно вѣрилъ тогда, что музыкантши-артистки способны къ дѣторожденію) излечатъ мою жену мало по-малу отъ

умопомѣшательства на генералъ-басѣ и контра—пунктѣ... Нелѣпое самообольщеніе!

Съ первыхъ почти дней нашей семейной жизни у насъ завелся «другъ дома», одинъ видъ котораго впослѣдствіи повергалъ меня въ бѣшенство. Другъ этотъ былъ композиторъ, капельмейстеръ и пѣвецъ—товарищъ моей жены по консерваторіи, тоже артистъ и тоже талантъ. Она предъ нимъ преклонялась, какъ предъ геніемъ — избранникомъ небесъ и терпѣть не могла, если я ей въ этомъ противорѣчилъ. Въ моихъ глазахъ, геній этотъ, кромѣ лошадиной гривы на головѣ и изумительнаго аппетита, рѣшительно не имѣлъ въ себѣ ничего необыкновеннаго... Что онъ былъ мѣднолобъ и дураковатъ—это я находилъ вполнѣ обыкновеннымъ и натуральнымъ въ человѣкѣ его профессіи. За то ѣлъ онъ за четверыхъ и могъ ѣсть во всякое время дня и ночи. Казалось, вся его жизнь складывалась только изъ двухъ потребностей: питанія и вытья. Если онъ не игралъ и не оралъ своихъ убійственныхъ «романсовъ» и «рапсодій», то непремѣнно что нибудь жралъ и—наоборотъ... Это чудовище положительно объѣдало меня, не говоря уже о томъ, что оно съѣло безъ остатка все мое семейное счастье. Звали его Флейдузинымъ. Былъ ли онъ молодъ, красивъ, добръ—я не знаю: для меня онъ былъ отвратителенъ.

Флейдузинъ аккуратно являлся въ нашъ домъ почти каждый день и, съ его появленіемъ тотчасъ-же на кухнѣ начиналась стряпня, а въ залѣ поднималась вокально-музыкальная вакханалія.

— А-а-а-а-а!—тянулъ и ржалъ на всевозможные лады свои рулады и речитативы этотъ ужасный человѣкъ.

— Тра-та-та! тра-ра-ра!—вторила ему моя жена бряцаньемъ на фортепьяно.

Въ этихъ постылыхъ, всю душу выматывающихъ звукахъ какъ бы кристаллизовался въ моей памяти весь мой тогдашній семейный бытъ... Больше я ничего не помню.

Флейдузинъ, съ помощью моей жены, компоновалъ свои геніальныя творенія, и они безпрерывно ихъ правили, передѣлывали, дополняли и разучивали. Можете судить, что это была за адская кузница для посторонняго уха!

V.

Вначалѣ, я пробовалъ подѣйствовать на мою жену мѣрами кротости: я ее умолялъ со слезами на глазахъ, валялся у ногъ ея, чтобъ она сжалилась надо мной и меньше «посвящала» себя Флейдузину и ненавистнымъ съ нимъ экзерсисамъ. Надо замѣтить, что кромѣ отвращенія къ этимъ экзерсисамъ, я еще ревновалъ Фанни. Ревность моя, помню, страшно ее изумила и разсмѣшила... Какъ теперь слышу ея бездушный, презрительный хохотъ.

— Вы глупецъ!—сказала она мнѣ, сквозь смѣхъ. — Я люблю только искусство, я преклоняюсь только передъ геніемъ... Довольствуйтесь тѣмъ, что мое тѣло принадлежитъ однимъ вамъ и — оставьте мою душу въ покоѣ, еслибъ даже я и отдала ее Флейдузину...

Я потомъ убѣдился, что подозрѣнія мои были неосновательны, какъ убѣдился и въ томъ, что я для моей жены не болѣе, какъ только мужъ... Я не хочу употребить терминъ болѣе выразительный... Безсердечныя твари! Говорите, что это нелѣпо и несправедливо, но я непоколебимо убѣж-

денъ, что музыканты также способны къ любви, какъ и ихъ инструменты... ни болѣе!

Впрочемъ, со стороны Флейдузина симпатіи къ моей женѣ значительно подкрѣплялись еще хорошимъ аппетитомъ, такъ какъ Фанни кормила его, какъ говорится, на убой.

Когда мѣры кротости не привели ни къ чему, а, напротивъ, еще взаимно охладили насъ, я сталъ дѣйствовать болѣе рѣшительно... Долженъ-же я былъ имѣть хоть какой нибудь покой у себя дома!

Я нѣсколько разъ, по звонку Флейдузина, самъ выходилъ въ переднюю и грубо говорилъ ему черезъ дверь, такъ чтобъ онъ различилъ мой голосъ, что *никого* нѣтъ дома... Фанни, конечно, скоро узнала объ этомъ, сдѣлала мнѣ страшную сцену и—Флейдузинъ опять сталъ у насъ ежедневнымъ гостемъ. Потомъ, я старался нѣсколько разъ вызвать его на серьезную ссору, говорилъ ему кучу дерзостей и—что-же?—Это животное или нелѣпѣйшимъ образомъ притворялось, что меня не понимаетъ, или глупо улыбалось своей бездонной пастью и обращало все въ шутку... Вообще я замѣтилъ, что музыканты поразительно тупы и безчувственны ко всему, что не касается музыки.

Мною, наконецъ, овладѣла злость—злость затаенная, но тѣмъ болѣе острая и непримиримая. Я началъ изподтишка мстить моимъ мучителямъ и—это доставляло мнѣ невыразимое наслажденіе, особенно, когда мнѣ удавалась какая нибудь пакость.

Смѣшно и грустно вспомнить, до какихъ ребяческихъ и просто гадкихъ штукъ унижался я.

То я нанималъ подъ рукою шарманщика, чтобъ онъ вертѣлъ свой нестерпимо-визгливый инструментъ у насъ

подъ окномъ въ то время, когда моя жена и Флейдузинъ занимались своими «экзерсисами». То я, какъ воръ, о босу ногу, пробирался въ глубокую полночь въ свою собственную залу и старательно разстроивалъ фортепьяно Фанни, и потомъ отъ души смѣялся, когда они оба бывали крайне озадачены этимъ непостижимымъ сюрпризомъ и когда Флейдузинъ, съ кислой миной, напяливъ на себя свое старенькое пальтишко, шелъ искать настройщика, между тѣмъ, какъ соблазнительный запахъ кушанья, доходившій изъ нашей кухни, неотразимо тянулъ его въ столовую. То я усылалъ куда нибудь кухарку и, въ ея отсутствіе, заманивалъ въ кухню дворняжекъ и отдавалъ имъ на съѣденіе всю изобильную снѣдь, заготовленную для моего врага, а потомъ самъ, съ сердитымъ видомъ, выговаривалъ кухаркѣ, какъ она-де смѣла оставить дверь на лѣстницу незапертой... Обезкураженная, голодная физіономія Флейдузина и конфузъ моей жены, при этомъ, служили неоцѣнимой наградой моей изобрѣтательности... А сколько я имъ разновременно уничтожилъ и перепортилъ нотъ—такъ это и описать трудно. Замѣчательно, однако, что они никакъ не могли догадаться, кто это имъ постоянно гадитъ... Казалось, догадаться было такъ нетрудно... Правда, я велъ свою подпольную войну съ артистическимъ ехидствомъ и тонкостью... О, меня никогда-бы не поймали!..

Подъ конецъ, эти странныя, враждебныя дѣйствія обратились у меня просто въ какую-то болѣзненную страсть. Я по цѣлымъ часамъ изобрѣталъ и обдумывалъ до мельчайшихъ подробностей все новыя и новыя каверзы... Разскажу еще объ одной изъ нихъ.

Мы жили въ деревянномъ домѣ; надъ нами въ мезонинѣ,

была крошечная квартирка. Повѣрите-ли—я снялъ ее нарочно и уступилъ даромъ одному, обремененному большимъ семействомъ, сапожнику, съ тѣмъ единственнымъ условіемъ, чтобы онъ, чуть только заслышитъ въ моей квартирѣ музыку, тотчасъ-же начиналъ-бы, въ составѣ всѣхъ своихъ чадъ и домочадцевъ, стучать и колотить въ полъ изо всей мочи и чѣмъ ни попало.

Сапожникъ оказался очень добросовѣстнымъ человѣкомъ и выполнялъ взятое на себя обязательство какъ нельзя лучше—даже до роскоши: въ тѣ моменты, когда Флейдузинъ впадалъ въ пафосъ и выводилъ наиболѣе трудные и патетическіе пассажи своихъ композицій, мои заговорщики поднимали такой оглушительный грохотъ, что, казалось, вотъ-вотъ весь домъ развалится... Я сидѣлъ смиренько въ моемъ кабинетѣ и потиралъ отъ удовольствія руки. Взбѣшенная Фанни (странно, въ это время мнѣ она особенно стала нравиться въ состояніи, именно, бѣшенства, хотя тогда я еще любилъ ее во всякомъ состояніи) влетала ко мнѣ, съ сверкающими глазками и сжатыми кулачками.

— Вы не слышите? спрашивала она, гнѣвно кусая губки.

— Что такое? наивнѣйшимъ образомъ освѣдомлялся я.

— Оглохли!.. Эти негодяи, говорила она, тыкая пальчикомъ въ потолокъ, не даютъ намъ заниматься музыкой; они шумятъ тамъ, какъ дьяволы...

— Ахъ, они разбойники! прикидывался я необыкновенно удивленнымъ и разсерженнымъ, хваталъ въ руки палку и бѣжалъ въ мезонинъ. Тамъ я, разумѣется, гнѣвъ прелагалъ на милость и поощрялъ честнаго сапожника на дальнѣйшіе подвиги приличнымъ гонораромъ.

Мѣра эта оказалась, впрочемъ, настолько сильной, что, по настоянію Фанни, мы должны были перемѣнить квартиру.

Трудно разсказать, сколько натворилъ я въ то время подобныхъ гадкихъ и дикихъ вещей. Не помню даже, какъ долго тянулась эта подземная война, пока, наконецъ, мои мучители не узнали, кто именно съ ними воюетъ...

Минутами мнѣ казалось, что я сошелъ съума и я, дѣйствительно, былъ очень близокъ отъ этого... Музыка «будущаго» въ такихъ усиленныхъ пріемахъ доведетъ до всего! Безуміе мое выразилось въ слѣдующемъ случаѣ.

Флейдузинъ написалъ какую-то громоподобную симфонію, которую Фанни считала верхомъ совершенства. Симфонію эту они готовили для концерта. Въ ней приняло участіе нѣсколько другихъ музыкантовъ. Концертъ долженъ былъ состояться въ залѣ одного богатаго мецената, въ присутствіи избранной публики. Я рѣшился воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы нанести окончательный ударъ моимъ врагамъ и блистательно закончить кампанію. Этимъ ударомъ я рѣшился — или совершенно разорвать съ моею женою, или оказать на нее исцѣляющее дѣйствіе... Долѣе тянуть мои муки я былъ не въ состояніи.

VI.

И вотъ въ назначенный день и часъ собрались любители слушать новое «геніальное твореніе»... Наступила торжественная минута. Музыканты, подъ управленіемъ сіяющаго бѣлоснѣжной манишкой Флейдузина, заняли свои мѣста. Моя жена въ бальномъ костюмѣ сѣла къ роялю... Она была восхитительна.

царила мертвая тишина... Я сталъ звать кого нибудь и— вообразите мой ужасъ: я не слышалъ моего голоса... Меня окружили какіе-то незнакомые мнѣ люди; я видѣлъ по ихъ мимикѣ, что они что-то говорятъ мнѣ и—ни одинъ звукъ изъ ихъ рѣчи не доходилъ до моего слуха... Не сразу я понялъ, что я оглохъ—оглохъ навѣки.

Потомъ мнѣ объяснили, что послѣ моего дикаго фарса на концертѣ, я двѣ недѣли находился въ безпамятствѣ, терзаемый страшной нервной горячкой... Объяснили мнѣ также, что я лежалъ въ больницѣ, совершенно забытый и оставленный на произволъ судьбы моей женою.. Я понялъ, что она мнѣ никогда не проститъ и что, слѣдовательно, между нами все разорвано... Это такъ случилось и на самомъ дѣлѣ... Мы даже съ ней не объяснились объ этомъ.

Разрывъ совершился какъ-то самъ собою и вполнѣ естественно, да и могло-ли это кончиться иначе, судите сами! Потомъ я стороною слышалъ, что моя жена отправилась съ Флейдузинымъ въ артистическое путешествіе куда-то въ Сибирь или на Кавказъ, не помню... Меня это нисколько не интересовало, и съ той поры я ихъ совершенно потерялъ изъ виду.

Вотъ и весь мой романъ!

КОНЕЦЪ.

«Происшествіе» объясняется чрезвычайно просто... Инструменты этихъ господъ оказались негодны къ употребленію... Что жъ для васъ въ этомъ удивительнаго? Развѣ скрипка можетъ не развалиться на куски, если она старательно подпилена по своимъ составнымъ частямъ? развѣ cornet-à-piston и флейта могутъ играть, если они законопачены хорошимъ клейстеромъ, и развѣ, наконецъ, изъ самаго лучшаго концертнаго рояля можно извлечь хоть одинъ звукъ, если всѣ струны на немъ оборваны?.. Ничего тутъ страннаго нѣтъ; нужно было только, чтобы нашелся шутникъ, который-бы за часъ до начала концерта прокрался незамѣтно въ залу, когда въ ней еще никого не было, и искусно воспроизвелъ этотъ маленькій экспериментъ... Согласитесь, милостивыя государыни и милостивые государи, что онъ сдѣлалъ свою работу чисто и отдайте справедливость его остроумію и искусству! Браво!..

Предоставляю вамъ самимъ судить, какой эффектъ произвелъ этотъ спичъ на концертантовъ и на ихъ слушателей...

Я хорошенько этого не помню: помню только взглядъ моей жены—взглядъ, который я никогда не зубуду: столько было въ немъ гнѣва, ужаса и ненависти! Помню, какъ она, бѣдненькая, склонилась на пюпитръ и, закрывъ руками лицо, разрыдалась. Помню еще ужасно глупое и въ тоже время осатанѣлое лице Флейдузина... Какъ звѣрь, бросился онъ ко мнѣ и бѣшено ударилъ меня по щекѣ остававшейся у него въ рукахъ скрипичной шейкой...

Ударъ былъ страшный, я упалъ замертво и — ужъ не знаю, какъ очнулся въ какомъ-то сумрачномъ покоѣ, на постели, въ состояніи страшнаго разслабленія. Кругомъ меня

царила мертвая тишина... Я сталъ звать кого нибудь и— вообразите мой ужасъ: я не слышалъ моего голоса... Меня окружили какіе-то незнакомые мнѣ люди; я видѣлъ по ихъ мимикѣ, что они что-то говорятъ мнѣ и—ни одинъ звукъ изъ ихъ рѣчи не доходилъ до моего слуха... Не сразу я понялъ, что я оглохъ—оглохъ навѣки.

Потомъ мнѣ объяснили, что послѣ моего дикаго фарса на концертѣ, я двѣ недѣли находился въ безпамятствѣ, терзаемый страшной нервной горячкой... Объяснили мнѣ также, что я лежалъ въ больницѣ, совершенно забытый и оставленный на произволъ судьбы моей женою.. Я понялъ, что она мнѣ никогда не проститъ и что, слѣдовательно, между нами все разорвано... Это такъ случилось и на самомъ дѣлѣ... Мы даже съ ней не объяснились объ этомъ.

Разрывъ совершился какъ-то самъ собою и вполнѣ естественно, да и могло-ли это кончиться иначе, судите сами! Потомъ я стороною слышалъ, что моя жена отправилась съ Флейдузинымъ въ артистическое путешествіе куда-то въ Сибирь или на Кавказъ, не помню... Меня это нисколько не интересовало, и съ той поры я ихъ совершенно потерялъ изъ виду.

Вотъ и весь мой романъ!

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

БРОДЯЧІЙ ПЕТЕРБУРГЪ.

Сановникъ не у дѣлъ 7
Всеобщій «папочка» 25
Клубскій «дядя» 47
«Нашъ извѣстный любимецъ публики» 63
«Всемірный путешественникъ» 99
Журнальный верблюдъ 117
Газетный парія. 137
Дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей 151
Мать—камелія 165
Текстъ къ картинкѣ 211
Не бывать-бы счастью, да несчастье помогло 223
Захудалый 237

СВЯТОЧНЫЕ РАЗСКАЗЫ.

Дѣтская логика 263
Филантропическая елка 275
Святочная мелодія 303
Супружескій подарокъ на елку 319

ДВА ЮМОРИСТИЧЕСКИХЪ РОМАНА.

Супруги—любовники 339
Романъ въ нѣсколькихъ звукахъ 359